

Сергей Абрамов ВЬШЕ РАДУГИ

Сергей  
Абрамов

# ВЬШЕ РАДУГИ



Издательство  
„Детская  
литература“



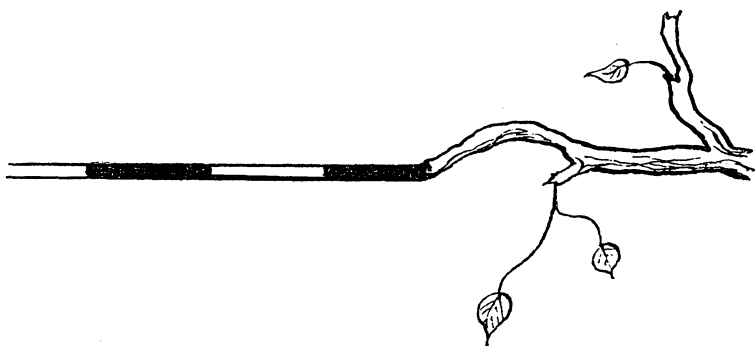




*Сергей Абрамов*

# ВЫШЕ РАДУГИ

ПОВЕСТИ



*Москва, „Детская литература“ 1983*

В этой книге три фантастико-приключенческих повести С. Абрамова. «Выше Радуги» рассказывает о том, как юный герой повести получил волшебный дар — некий талант, сделавший его сразу выше окружающих сверстников, однако дар этот был дан с условием (как и бывает в сказках), которое герой нарушает. Но зато... возникает желание самому работать, преодолевать трудности, одерживать победы. Повести «В лесу прифронтовом» и «Время его учеников», в отличие от первой, обращены к читателю более старшего возраста. В них рассказывается о работах ученых над возможностью перенесения человека не только в пространстве, но и во времени. Таким образом, герои могут перенестись в прошлое.

Художник В. БРАГИНСКИЙ





## В Ы Ш Е      Р А Д У Г И

### 1

А началось все с неудачи.

Бим, злой физкультурник, выставил Алика из спортивного зала и еще пустил вдогонку:

— Считай, что я освободил тебя от уроков физкультуры навечно. Спорт тебе, Радуга, противопоказан, как яд растения кураре...

И весь класс захихикал, будто Бим сказал невесть что остроумное. Но если уж проводить дальше аналогию между спортом и ядом кураре, то вряд ли найдешь отраву лучше. Прыгнул с шестом и — к Склифосовскому. Поиграл в футбол и — в крематорий. Отличная перспективка...

Мог бы Алик ответить так Биму, но не стал унижаться. Пошлепал кедами в раздевалку, у двери обернулся, прощедил сквозь зубы — не без обиды:

— Я ухожу. Но я еще вернусь.

— Это вряд ли,— парировал Бим, и класс опять засмеялся — двадцать пять лбов в тренировочных костюмах. И даже девочки не посочувствовали Алику.

Он вошел в пустую раздевалку, сел на низкую скамеечку, задумался. Зачем ему понадобилась прощальная реплика? Дурной провинциальный театр: «Я еще вернусь». Куда, милый Алик, ты вернешься? В спортзал, на посмешище публике во главе с Бимом? «А ну-ка, Радуга, прыгай, твоя очередь... Куда ты, Радуга? Надо через планку, а не под ней... Радуга, на перекладине работают, а висят на веревке... Радуга, играть в это — тебе не стихи складывать...»

Интеллектуал: «стихи складывать»... Нет, к черту, назад пути нет. Уж лучше «стихи складывать», это вроде у Алика получается.

Но как же месть? Оставить Бима безнаказанным, торжествующим, победившим? Никогда!

«Убей его рифмой»,— скажет Фокин, лучший друг.

Как вариант, годится. Но поймет ли Бим, что его убили? Сомнительно...

Нет, месть должна быть изощренной и страшной, как... как яд растения кураре, если хотите. Она должна быть также предельно понятной, доходчивой, чтобы ни у кого и сомнений не осталось: Радуга со щитом, а подлый Бим, соответственно, на щите.

Алик снял тренировочный костюм, встал в одних трусах перед зеркалом: парень как парень, не урод, рост метр семьдесят восемь, размер пиджака — сорок восемь, брюк — сорок четыре, обуви — сорок один, головы — пятьдесят восемь, в голове кое-что содержится, и это — главное. А бицепсы, трицепсы и квадрицепсы — дело нехитрое, наживное.

А почему не нажил, коли дело нехитрое?

Папа с мамой не настаивали, сам не рвался. Просуществовал на свете пятнадцать годков и даже плавать не научился. Плохо.

Натянул брюки, свитер, подхватил портфель, пошел прочь из школы. Урок физкультуры — последний, шестой, пора и домой. Во дворе дома номер двадцать два малышня играла в футбол. Суетились, толкались, подымали пыль,



орали бессмысленное. Мяч скакал, как живой, в ужасе спасаясь от ударов «щечкой», «шведкой» и «пыром». Подкатился под ноги Алику, тот его поддел легонько, тюкнул носком кеды. Мяч неожиданно описал в воздухе красивую артиллерийскую траекторию и приземлился в центре площадки. «Вот это да-а-а!..» — протянул кто-то из юных Пеле, и опять загалдела, покатилась, запыхала мала куча.

«Как это так у меня вышло? — горделиво подумал Алик. — Значит, могу?» Нестерпимо захотелось выбежать на площадку, снова подхватить мяч, показать класс оторопевшим от восторга малышам. Сдержался: чудо могло и не повториться, не стоило искушать судьбу, тем более что сегодня и так «нанискушал» ее чрезмерно.

А что было?

Прыгали в высоту по очереди. Выстраивались в затылок друг другу — наискосок от планки, разбегались, перебрасывались через легкую (дунь только — слетит!) алюминиевую трубку, тяжело плюхались на жесткие пыльные маты. Простейшее упражнение — отработка техники прыжка «перекидным» способом. Высота — мизерная.

Алик легко — так ему казалось — разбежался, оттолкнулся от пола и... ударился грудью о планку, сбил ее, так что зазвенела она жалобно, хорошо — не сломалась.

— Еще раз, — сказал Бим.

Алик вернулся к началу разбега, несколько раз глубоко вдохнул, покачался с носка на пятку, побежал, толкнулся и... упал на маты вместе с планкой.

— Фокин, покажи, — сказал Бим.

— Счас, Борис Иванович, за милую душу, — ответил Фокин, лучший друг, подмигнул Алику: мол, учись, пока я жив.

Взлетел над планкой — все по правилам: правая нога согнута, левая выпрямлена, перекатился, упал на спину — не шелохнулась планка над чемпионом школы Фокиным, лучшим другом. А чего бы ей шелохнуться, если высота эта для него — пустяк.

— Понял, Радуга? — спросил Бим.

Алик пожал плечами.

— Тогда валяй.

Повалил. Разбежался — как Фокин — оттолкнулся, взлетел и... лег с планкой.

— Па-автарить! — В голосе Бима звучали фельдфельские торжествующие нотки.

Па-автарил. Разбежался, оттолкнулся, взлетел, сбил.

— Последний раз.

Разбежался, оттолкнулся, взлетел, сбил.

Больше повторять не имело смысла. Бим это тоже понимал.

— Я лучше перешагну через планку: невысоко.— Алик нашел в себе силы пошутить над собой, но Бим почему-то рассердился.

— Дома перешагивай,— с нелепой злостью сказал он.— Через тарелку с кашей...— впрочем, мгновенно остыл, спросил сочувственно: — Слушай, Радуга, а зачем ты вообще ходишь ко мне на занятия?

Резонный вопрос. Ответить надо столь же резонно.

— Кто мне позволит прогуливать уроки?

— Я позволю,— сказал Бим.— Прогуливай.

— А отметка?

— Отметка ему нужна! Нет, вы посмотрите: он об отметке беспокоится. Будет тебе отметка, Радуга, четверка за год. Заранее ставлю. Устраивает?

Отметка устраивала. Тут бы согласиться с радостью, не лезть на рожон, не подставлять голову под холодный душ. Ан нет, не утерпел.

— Вы, Борис Иванович, обязаны воспитать из меня гармонически развитого человека. А у вас не получается, так вы и руки опустили.

— Опустил, Радуга. По швам держу. Не выйдет из тебя гармонически развитого, сильно запоздал ты в развитии. Делай по утрам зарядку, обтирайся холодной водой, бегай кроссы на Москве-реке. Самостоятельно. Факультативно. И не ходи в зал. Перед девочками не позорься, поэт...

И так далее, и тому подобное.

Поступок, конечно, непедагогичный, но достаточно понятный. Два года учится Алик Радуга в этой школе, два года Борис Иванович Мухин бьется с ним по четыре часа в неделю, отведенные районо на физвоспитание старшеклассников. Но то ли времени недостаточно, то ли педагогического таланта у Бима недостает, а только результат, вернее, его отсутствие — налицо.

А с другой стороны, почему бы не порадоваться экстремальному решению Бима? Четверка по физо обеспечена, а в среду и в пятницу по два часика — в подарок. Чем плохо? И может, не стоило опрометчиво обещать: «Я еще вернусь»? Зачем такие страсти?

Может, и не стоило. Но слово, как известно, не воробей. Завтра начнут подходить «доброжелатели»: «Когда вер-



нешься, Радуга? Ждем не дождемся». Пожалуй, не дождутся...

Стоило порассуждать логически. Чемпиона из Алика не получится. И удачно пущенный футбольный мяч тому порукой: исключение из правила, говорят, подтверждает само правило. Он не поразит Бима успехами в легкой атлетике, гимнастике, волейболе, плавании, пятиборье и т. д. и т. п. Он может пустить по школе лихую частушку, что-нибудь типа: «Кто сказал, что кумпол Бима для идей непроходимый? Каждый день — сто идей. Но, увы, насквозь и мимо». Подхватят, повторят: народ благосклонен к своим пинтам. Но еще более народ любит своих героев. А Бим — герой. Он — чемпион страны в стрельбе по «бегущему кабану». Экс-чемпион, разумеется, но презрительная, на взгляд Алика, приставка «экс» ничуть не умаляет достоинств Бима в глазах учеников.

Печально, если мускульная сила ценится выше поэтического дара. Но — факт. Итак, рифмы — в сторону.

Что будем делать, любезный Алик?

«Вот моя деревня, вот мой дом родной...» — вспоминал классика Алика. — Вот подъезд, вот лифт, вот дверь квартиры. Где ключ?.. Ага, и ключ есть. Родители на работе, суп в холодильнике, уроки — еще в учебниках, а фильм — уже в телевизоре. Что дают? Древний, как мир, «Старик Хоттабыч». Не беда, сгодится под суп...»

Кстати, вот — выход. Найти на дне Москвы-реки замшелый кувшин, выпустить из него джинна и пожелать, не мелочась, спортивных успехов назло врагу. Однако загвоздка: нырнуть-то можно, а вынырнуть — не обучен. Значит, лежать кувшину на дне, а все наземные кувшины давным-давно откупорены строителями дорог, новых микрорайонов, линий метрополитена, заводов и стадионов.

Старик Хоттабыч на телеэкране включал и выключал настольную лампу, восторгаясь неизвестным ему чудом, а глупая мыслишка не отпускала Алика, точила помаленьку. Творческая натура, он развивал сюжет, чье начало покоилось на дне реки, а конец пропадал в олимпийских высях. Придумывалось легко, и приятно было придумывать, низать в уме событие на событие, но творческому процессу помешал телефон.

Звонил Фокин, лучший друг.

— Чего делаешь? — спросил он дипломатично.

— Смотрю телевизор, — полуправдой ответил Алик.

— Ты не обиделся?

Вот зачем он позвонил, понятненько...

— На что?

— На Бима.

— Он прав.

— Отчасти — да.

— Да какое там «отчасти» — на все сто. В спорте я — бездарь. Бим еще гуманен: освободил от физо и оценкой пожаловал. А мог бы и не.

— Слушай, может, я с тобой потренируюсь, а?

Ах, Фокин, добрая душа, хороший человек.

— Ты что, Сашка, с ума сошел? На кой мне твоя благотворительность? Я на коне, если завуч не заставит Бима переменить решение.

— Завуч не дурак.

— Толковое наблюдение.

Завуч и вправду дураком не был, к тому же он вел в старших классах литературу, и Алик ходил у него в фаворитах.

— Вечером погуляем? — Фокин счел свою гуманистическую миссию законченной и перешел к конкретным делам.

— Не исключено. Созвонимся часиков в семь.

Хоп. Положил трубку на рычаг, откинулся в кресле. Что-то странное с ним творилось, странное и страшноватое. Уже не до понравившегося сюжета было: в голове звенело, и тяжелой она казалась, а руки-ноги будто и не шевелились. Попробовал Алик встать с кресла — не получилось, не смог. «Заболеет, кажется», — подумал он. Закрыв глаза, расслабился, посидел так секундочку — вроде полегче стало. Смог подняться, добрести до кровати.

«Ах ты, черт, вот незадача... Маме позвонить надо бы... Ну, да ладно, не умру до вечера...»

Не раздеваясь, лег, накрылся пледом и, уже проваливаясь в липкое, тяжелое забытие, успел счастливо подумать: а ведь в школу-то завтра идти не придется, а до полного выздоровления сегодняшний позор забудется, что-нибудь новое появится в школьной жизни — поактуальнее...

Он не слышал, как пришла с работы мама, как она бегала к соседке этажом выше — врачу из районной поликлиники. Даже не почувствовал, как та выслушала его холодным фонендоскопом, померила температуру.

— Тридцать восемь и шесть, — сказала она матери. —



Типичная простуда. Аспирин — три раза в день, этазол — четыре раза, и питье, питье, питье... Одно странновато: температура не смертельная, а парень даже не аукнется. Спит, как Илья Муромец на печи.

— Может, устал? — предположила мама, далекая от медицины.

— Может, и устал. Да пусть спит. Сон, дорогая, — панацея от всех болезней.

В семь вечера позвонил Фокин, лучший друг.

— Заболел Алик, — сказала ему мать.

— Да он же днем здоровым, как бык, выглядел.

— И быки хворают.

— Надо же! — деланно изумился Фокин откровению о быках. — Тогда я найду, проведу?

— Завтра, завтра. Сейчас он спит — Царь-пушкой не разбудить. Вы что сегодня — камни ворочали?

— Это как посмотреть. По литературе — классное сочинение писали, по физо — «перекидной» способ прыжков в высоту. Что считать камнями...

— Как ты сочинение осилил?

— Трудно сказать... — Фокин не шибко любил составлять на бумаге слова во фразы, предпочитал точные науки. — Время покажет... До завтра?

— До завтра.

Мать подошла к Алику, потрогала лоб: вроде не очень горячий. Поправила одеяло, задернула оконную штору. Алик не просыпался. Он смотрел сны.

## 2

Первый сон был таков.

Будто бы Алик выходит из подъезда — эдак часиков в семь утра, когда во дворе никого: на работу или в школу — рановато, владельцы собак только-только готовятся вывести своих «братьев меньших» по большим и малым делам, а молодые дворники и дворничихи уже отмели свое, отполивали, разошлись по казенным квартирам — штудировать учебники для заочного обучения в институтах и техникумах.

И вот выходит Алик в пустынный двор, идет вдоль газона, мимо зеленого могучего стола для игры в домино, мимо школьного забора, мимо стоянки частных автомобилей, выбирается на набережную Москвы-реки, топает по зарос-

шим травой шпалам заброшенной железнодорожной ветки, которая когда-то вела к карандашной фабричке, держась за пыльные кусты, спускается по откосу к воде.

Жара.

Он сбрасывает джинсы, сандалеты, стаскивает футболочку с красным гоночной марки «феррари» на груди, остается в пестрых сатиновых трусах, сшитых мамой. Осторожно, по-курортному, пробует ногой воду, вздрагивает от внезапно пронзившего тело холода, обхватывает себя длинными тощими руками, входит в реку, оскользаясь на зализанных волнами камнях.

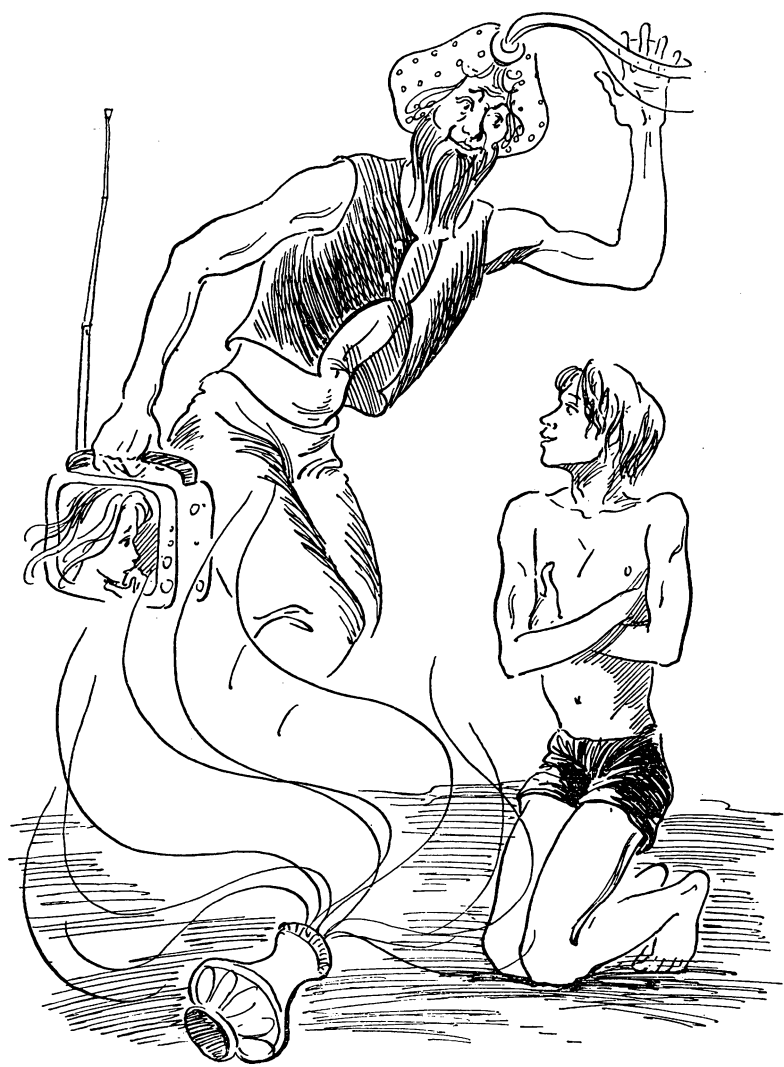
Будто бы это — каждодневная, почти привычная «водная процедура». Так, по крайней мере, диктует фабула сна. А сон — абсолютно реален, и, соответственно, он — цветной, широкоформатный, стереоскопический, а эффект присутствия не вызывает и тени здорового научного сомнения.

Алик останавливается, когда вода доходит ему до пояса, до резиночки от трусов, которые цветным парусом вздулись на бедрах, зачерпывает ладонями воду, смачивает себя под мышками. Потом по-пороссячи взвизгивает и ныряет — только пятки мелькают в воздухе, выныривает, отфыркивается, вытирает рукой лицо, плывет подальше от берега — не по-собачьи, с шумом и брызгами, а ровным кролем, безупречным стилем.

Напомним: во сне бывает и не такое, незачем удивляться и путать сон с жестокой действительностью...

Поплавая так минут десять, Алик возвращается к берегу и несколько раз ныряет, пытаясь достать пальцами дно. Это ему, естественно, удается, а в последний раз он даже нащупывает что-то большое и тяжелое, подхватывает это «что-то», выбирается на белый свет, на солнышко. «Что-то» оказывается пузатым узкогорлым кувшином с тонкой ручкой, древним сосудом, заросшим тиной, черной грязью, хрупкими речными ракушками. Алик скребет грязь ногтем и видит позеленевшую от времени поверхность — то ли из меди-купрум, то ли из золота-аурум, покрытую прихотливой чеканной вязью. Если быть честным, то кувшин сильно смахивает на тот, что стоит у отца в кабинете, — из дагестанского аула Гицатль, где спокон веку живут прекрасные чеканщики и поэты.

Однако Алика сие сходство не смущает. Он твердой походкой рулит к берегу, и в груди его что-то сладко сжимается, а в животе холодно и пусто — как в предчувствии



небывалого чуда. «Чувство чуда — седьмое чувство!» — сказал поэт.

И чудо не медлит. Оно бурлит в псевдогицатлинском кувшине, который, как живой, вздрагивает в чутких и ждущих руках Алика. Острым камнем он сбивает сургучную пробку и зачарованно смотрит на сизый дым, вырывающийся из горла, атомным грибом встающий над уроненным на песок кувшином. Дым этот клубится, меняет очертания и цвет, а внутри его возникают некие занятные турбулентности, которые постепенно приобретают строгие формы весьма пожилого гражданина в грязном тюрбане, в розовых — тоже грязных — шароварах, в короткой, похожей на джинсовую, жилеточке на голом теле и в золотых шлепанцах без задников — явно из магазина «Армения» с улицы Горького.

Словом, все, как положено в классике, — без навеянных современностью отклонений.

Гражданин некоторое время легкомысленно качается в воздухе над кувшином, машет руками, разгоняя дым, потом вдруг тяжело плюхается на землю, задрав ноги в шлепанцах. Остолбеневший Алик все же отмечает машинально, что пятки гражданина — под стать тюрбану с шароварами: да-алеко не первой свежести. Но — вежливый отрок! — он ждет, пока гражданин отлежится на песке, сядет, скрестив по-турецки ноги, огладит длинную седую бороду, откашляется.

Тогда Алик без долгих вступлений спрашивает:

— Джинн?

— Так точно! — по-солдатски гаркает гражданин, на проверку оказавшийся джинном из многотомных сказок «Тысячи и одной ночи».

А могло быть иначе, как вы думаете?..

— Меня зовут Алик Радуга, — вежливо кланяется Алик, переступая на песке босыми ногами. Ноги мокрые, и песок кучками налип на них. — Извините меня за мой вид, но я, право, не ждал встречи...

— И зря, — лениво говорит джинн. — Мог бы и предумать, ничего в том трудного нет.

Говорит он на хорошем русском языке, и это не должно вызывать удивления, во-первых, потому, что дело происходит во сне, а во-вторых, потому, что джинну безразлично, на каком наречии вести товарный диалог с благодетелем-освободителем.

— А вас как зовут? — спрашивает Алик, втайне и не-



лепо надеясь, что джинн назовет с детства знакомое имя — Хоттабыч.

Не тут-то было.

— Зови меня дядя Ибрагим, — отвечает джинн, и Алик понимает, что напоролся на вполне оригинального, неизвестного мировой литературе джинна. И то правда: Хоттабыч — всего лишь один из многочисленного племени, исстари рассеянного по свету в кувшинах, бутылках, банках, графинах и прочих тюремных емкостях, и он уже давно обжился на грешной земле, поступил на службу, выработал себе пенсион и теперь нянчит внуков небезызвестного Вольки ибн Алеши.

Дядя Ибрагим — из того же племени, ясное дело.

— И давно вы в кувшине, дядя Ибрагим? — интересуется Алик, лихорадочно прикидывая: как мог кувшин попасть в Москву-реку? В самом деле: швырнули его в воду, вероятно, где-то в Аравии, либо в Красное море, либо чуть подале, в Черное. Или в Индийский океан. Или, на худой конец, в полноводную реку Нил, которая вынесла его в Средиземное море. А Москва-река берет свое начало из среднерусских безымянных речушек, а те — из топей да болот... Впрочем, стоит предположить, что сосуды с джиннами по приказу великого и могучего Иблиса (или кого там еще?) специально рассеивали по миру, чтобы впоследствии каждая страна имела хотя бы по несколько экземпляров.

— Давно, отрок, — хлюпая простуженным носом, говорит джинн, сморкается в два пальца, вытирая их о шаровары. Алик внутренне передернулся, но виду не подал. — Так давно, что сам толком не помню. Ты сделал доброе дело, отыскав меня в этой аллахом проклятой речке. Полагается приз — по твоему выбору. Подумай как следует и сообщи. За мной не заржавеет. А я пока покочумаю чуток. — Тут он сворачивается калачиком на песке, сдвигает тюрбан на ухо и начинает храпеть.

Лексикон его мало чем отличается от того, каким щеголяют юные короли дворов. И Алику не чужд был такой лексикон, слыхивал он подобные выражения неоднократно, посему перевода ему не потребовалось. Раз джинн сказал: «не заржавеет», значит, выполнит он любое желание — как и положено джиннам! — не обманет, отвесит сполна.

«Что бы пожелать?» — думает Алик, хотя думать-то незачем — все давно продумано, и сон этот творился как раз ради соответствующего желания, и джинн для того из

кувшина вылупился — вполне доступный джинн, без всякой аравийско-сказочной терминологии, незнакомой, впрочем, Алику, так как сказок «Тысячи и одной ночи» он еще всерьез не читал. А исподтишка, в тайне от родителей — так терминологию не запомнишь, так только бы сюжет уловить...

«Что бы пожелать?» — для приличия думает Алик, а на самом деле точно формулирует давно созревшее пожелание. И как только сформулировал, без застенчивости растолкал спящего джинна.

— Я готов!

— А? Чего? — спросонья не понимает джинн, протирает глаза, вертит головой. — Ну, говори-говори.

— Я хочу уметь прыгать в высоту как минимум по первому разряду, — сказал и замер от собственной наглости. Впрочем, добавляет для ясности: — По первому взрослому.

— Ого! — восклицает джинн. — Ну и аппетит... — садится поудобнее, начинает цену набивать: — Трудное дело. Не знаю, справлюсь ли: стар стал, растерял умение.

— Ну уж и растерял, — лстит ему Алик. — И потом, я у вас не три желания прошу исполнить — как положено, а всего одно махонькое-премахонькое. — Тут он даже голос до писка доводит и показывает пальцами, какое оно «премахонькое» — его желаньице заветное.

— Иблис с тобой, — грубо заявляет джинн, потирает руки, явно радуясь, что не три желания исполнять-мучиться, — покладистый клиент попался. — А за благородство тебе премию отвалю. Будешь, брат, прыгать не по первому разряду, а по «мастерам». Годится?

— Годится, — говорит Алик, немея от восторга и слушая, как сердце проваливается в желудок и возвращается на место: еще бы — пульс у него сейчас порядка пятисот ударов в минуту, хотя так и не бывает. (Сон это, сон, сколько раз повторять можно...)

— Ну, поехали.

Джинн выдирает из бороды три волоса, рвет их на мелкие части, приговаривая про себя длинное арабское заклинание, непонятное и неведомое Алику, почему он его и не запомнил, прошло оно мимо сна. Бросает волосинки по ветру, дует, плюет опять-таки трижды, хлопает в ладоши.

— Готово. Только... — тут он вроде бы смущается, не хочет договаривать.

— Что только? — Алик строг, как покупатель, которому всучили товар второго сорта.

— Да так, ерундистика...

— Короче, папаша!

— Условие одно тебе положу.

— Какое условие?

— Да ты не сомневайся, желание я исполнил — будь здоров, никто не придерется. Только по инструкции такого типа желания исполняются с условием. И дар существует лишь до тех пор, пока его хозяин условие блюдет.

— Да не тяните вы, в самом деле! — срывается на крик Алик.

— Не кричи. Ты не в степи, а я не глухой. Условие таково: будешь прыгать выше всех, пока не солжешь — намеренно ли, нечаянно ли, по злобе или по глупости, из жалости или из вредности, и прочая и прочая.

— Как так не солжешь?

— А вот так. Никогда и никому ни в чем не ври. Даже в мелочах. А соврешь — дар мгновенно исчезнет, как не было. И плакали тогда твои прыжки «по мастерам».

«Плохо дело, — думает Алик. — Совсем не врать — это ж надо! А если никак нельзя не соврать — что тогда?»

— А если никак нельзя не соврать — что тогда? — спрашивает он с надеждой.

— Либо ври, либо рекорды ставь. Альтернатива ясна?

— Куда яснее, — горестно вздыхает Алик.

— А чего ты мучаешься? Я тебе еще легкое условие поставил, бывают посложнее. Дерзай, юноша. Вперед и выше. «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» Так, что ли, в песне?

— Так.

— А раз так, я пошел.

— Куда?

— Документы себе выправлю, на службу пристроюсь. Где тут у вас цирк помещается?

— Есть на Цветном бульваре, — машинально, еще не придя в себя, отвечает Алик, — есть на проспекте Вернадского — совсем новый.

— Я на Цветной пойду, — решает джинн. — Старое — доброе, надежное, по опыту сужу. Буду иллюзионистом...

И уходит.

И Алик уходит. Одевается, влезает по откосу, идет во двор: пора завтракать и — в школу. И сон заканчивается,

растекается, уплывает в какие-то черные глубины, вспыхивает вдалеке яркой точкой, как выключенная картинка на экране цветного «Рубина».

И ничего нет. Темнота и жар.

### 3

А потом начинается второй сон.

Будто бы идет Алик в лес. А дело происходит в Подмосковье, на сорок шестом километре Щелковского шоссе, в деревне Трубино, где родители Алика третий год подряд снимают дачу. Леса там, надо сказать, сказочные. Былин-ные леса. Как такие в Подмосковье сохранились — чудеса!

И вот идет Алик в лес по грибы — любит он грибы искать, не возвращается домой без полного ведра — и знает, как отличить волнушку от масленка, а груздь от опенка, что для хилого и загазованного горожанина достаточно почетно. Долго ли, коротко ли, а только забредает Алик невесть куда, в чащу темную, непролазную. Думает: пора и честь знать, оглобли поворачивать. Повернул. Идет, идет — вроде не туда. Неужто заблудился?

Прошел еще с полкилометра. Глядь — избушка. Похоже, лесник живет. Продирается Алик сквозь кусты орешника, цепляется ковбойкой за шипы-колючки на ди-ких розах, выбирается на тропинку, аккуратно посыпанную песком и огороженную по бокам крест-накрест короткими прутиками. Топают по ней, подходит к избушке — свят-свят, что же такое он зрит?

Стоит посередь участка малый домик, песчаная тропка в крыльцо упирается, окно раскрыто, на подоконнике — горшок с геранью, ситцевая занавеска на ветру полощется. Изба как изба — на первый взгляд. А на второй: вместо фундамента у нее — куриные ноги. Не натуральные, ко-нечно, а, видно, из дерева резанные, стилизованные, да так умело, что не отличить от натуральных, только в сто раз увеличенных.

«Мастер делал, умелец», — решает про себя Алик и, не сомневаясь, подымается по лестнице, стучит в дверь.

А оттуда голос — старуший, сварливый:

— Кого еще черт принес?

— Откройте, пожалуйста, — жалобно молит Алик.

Дверь распахивается. На пороге стоит довольно мерз-кого вида старушенция — в ватнике не по-летнему, в чер-



ной суконной юбке, в коротких валенках с галошами, в шерстяном платке с рыночными розами. «Движенья быстры, лик ужасен» — как поэт сказал.

— Чего надо? — спрашивает.

— Извините, бабушка, — вежливо говорит Алик — умеет он быть предельно вежливым, галантным, знает, как действует такое обращение на старших. — Прискорбно беспокоить вас, сознаю, однако, заблудился я в вашем лесу. Не подскажете ли любезно, как мне выбраться на дорогу к деревне Трубино?

Факт, подействовало на грозную бабку. Явно смягчилась она, даже морщин на лице вроде меньше стало.

— Откуда ты такой вальяжный да куртуазный? — интересуется.

«Ну и бабулечка, — удивляется Алик, — лепит фразу с применением редкого ныне материала».

— Школьник я, бабушка.

Она с сомнением оглядывает его, бормочет:

— «Ноги босы, грязно тело, да едва прикрыта грудь...»  
Не похоже что-то...

— Некрасов в другое время жил, — терпеливо разъясняет Алик, не переставая изумляться бабкиной могучей эрудиции. — Нынче школьники вполне прилично выглядят.

— Да знаю... Это я по инерции... Проклятое наследие... А учишься-то как?

— На «хорошо» и «отлично».

— Нешто без двоек обходится?

— Пока без них.

— Тогда заходи.

В горнице чисто, полы выскоблены, пахнет геранью, корицей и еще чем-то, что неуловимо знакомо, а не поймать, не догадаться, что за аромат. Стол, четыре стула, лавка, крытая одеялом, скроенным из пестрых лоскутов. Комод. Кружевные белые салфетки. Кошка-копилка. Цветная фотография кошки с бантиком, прикреплённая к стене. На комод — желтая суперобложка польского фотоальбома «Кошки перед объективом». На одеяле — живая черная кошка. Смотрит на Алика, глаза горят, один — зеленый, другой — красный.

У стены — русская печь.

— Холодно, — неожиданно говорит бабка.

— Что вы, бабушка, — удивляется Алик. — Жарко. Обещали, что еще жарче будет: циклон с Атлантики движется.

— С Атлантики движется, за Гольфстрим цепляется,— частит бабка. И неожиданно яростно:— А мы его антициклоном покроем, чтоб не рыпался.

«Сумасшедшая старуха»,— решает Алик, но вежливости не теряет:

— Ваше право.

— То-то и оно, что мое. Ты, внучек, подсоби старой женщине, напили да наколи дровишек, протопи печку, а я тебя на верную дорогу наставлю: всю жизнь идти по ней будешь, коли не свернешь.

— Мне не надо на всю жизнь. Мне бы в Трубино.

— Трубино — мелочь. В Трубино ты мигом окажешься, вопроса нет. Сходи, внучек, во двор, наддай чурочек.

Алик пожимает плечами — вот уж сон чудной! — спрашивает коротко:

— Пила? Топор?

— Все там, внучек, все справное, из легированной стали, высокоуглеродистой, коррозии не подверженной. Коли — не хочу.

«Ох, не хочу»,— с тоской думает Алик, однако идет во двор, где и вправду стоят аккуратные козлы, сложены отрезки бревен, которые и пилить-то не надо: расколи и — в печь. И топор рядом. Обыкновенный топор, какой в любом сельпо имеется; врет бабулька, что из легированной стали.

Поставил полешко, взял топор, размахнулся, тюкнул по срезу — напололам разлетелось. Снова поставил, снова тюкнул — опять напололам. Любо-дорого смотреть такой распрекрасный сон, тем более что в реальной действительности Алик топора и в руках не держал. В самом деле: зачем топор в московской квартире с центральным отоплением? Вздор, чушь, чепуха...

Нарубил охапку, сложил на левую руку, правой прихватил, пошел в горницу.

— Ах, и молодец! — радуется бабка.— Теперь топи.

Свалил у печки дрова, открыл заслонку. Взял нож, нарезал лучины, постелил в печь клочок газеты, уложил лучину, сверху полешек подкинул. Чиркнул спичкой — занялось пламя, прихватило дерево, затрещало, заметалось в тесной печи. Алик еще полешек доложил, закрыл заслонку.

— Готово.

А бабка уже котел здоровенный на печь прилаживает.

— Варить что будете, бабушка?



— Тебя, внучек, и поварю. Согласен?

«Ну, вляпался,— думает Алик,— эту бабку в психбольницу на четвертой скорости отволочь надо». Но отвечает:

— Боюсь, невкусным я вам покажусь. Сухощав да ненаварист. В Трубино в продмаге говядина неплохая...

— Ох, уморил! — мелко-мелко хохочет бабка, глаза совсем в щелки превратились, лицо, как чернослив, морщинистое. А зубы у нее — ровно у молодой: крепкие, мелкие, чуть желтоватые.— Да какая ж говядина с человеческой сравнится?

— Вот что, бабушка.— Алик сух и непреклонен.— Дрова я вам наколол, разговаривать с вами некогда. Показывайте дорогу. Обещали.

Бабка перестает смеяться, утирает рот ладошкой, платок с розами поправляет. Говорит неожиданно деловым тоном:

— Верно. Обещала. И от обещаний своих не отказываюсь. Будет тебе дорога, только сперва отгадай три загадки. Отгадаешь — выведу на путь истинный. Не сумеешь — сварю и съем, не обессудь, внучек.

— Это даже очень мило,— весело соглашается Алик.—  
Валяйте, загадывайте.

Бабка опять хихикает, ладони потирает.

— Ох, трудны загадки, не один отрок из-за них в щи попал. Первая такая: без окон, без дверей — полна горница людей. Каково, а?

— Так себе,— отвечает Алик.— Огурец это.

— Тю, догадался...— бабка ошеломлена.— Как же ты?

— Сызмальства смышлен был,— скромничает Алик.

— Тогда вторая. Потруднее. Два конца, два кольца, в середине — гвоздик.

— Ножницы.

— Ну, парень, да ты и впрямь без двоек учишься.— У нее уж и азарт появился.— Бери третью: стоит корова, мычать здорова, трахнешь по зубам — заревет. Что?

— Рояль.

— А вот и не рояль. А вот и пианино,— пробует сквалыжничать бабка.

— А хоть бы и фисгармония.— Алик тверд и невозмутим.— Однотипные музыкальные инструменты. Где до-рога?

Бабка тяжело вздыхает, идет к двери, шлепая галошами. Алик за ней. Вышли на крыльцо. Бабка спрашивает:

— Есть у тебя желание заветное, неисполнимое, чтобы, как червь, тебя точило?

— Есть,— почему-то шепотом отвечает Алик, и сердце, как и в первом сне, начинает биться со скоростью хорошей турбины.— Хочу уметь прыгать в высоту по первому разряду.

Бабка презрительно смотрит на него.

— Давай уж лучше «по мастерам», чего мелочиться-то?

— Можно и «по мастерам»,— постепенно приходит в себя Алик, нагличает.

— Плевое дело.— Бабка вздымает руки горé, и лицо ее будто разглаживается. Начинает с заываньем:— На дворе трава, на траве дрова, под дровами мужичок с ноготок, у него в руках платок — эх, платок, ты накинь тот платок на шесток, чтобы был наш отрок в воздухе легóк...

— Что за бредятина? — невежливо спрашивает Алик.

— Заклинанье это,— обижается бабка.— Древнее. Будешь ты теперь, внучек, сигать в свою высоту, как кузнечик, только соблюди условие непреложное



— Что за условие?  
— Не солги никому никогда ни в чем...  
— Ни намеренно, ни нечаянно, ни по злобе, ни по глупости?..

— Ни из жалости, ни из вредности,— подхватывает бабка и спрашивает подозрительно: — Откуда знаешь?

— Слыхал...— туманно говорит Алик.

— Соблудешь?

— Придется. А вы, никак, баба-яга?

— Она самая, внучек. Иди, внучек, указанной дорогой, не сворачивай, не лги ни ближнему, ни дальнему, ни соседу, ни прохожему, ни матери, ни жене.

— Не женат я пока, бабушка,— смущается Алик.

— Ну-у, эта глупость тебя не минует. Хорошо — не скоро. А в Турбино свое по той тропке пойдешь. Бывай, внучек, не поминай лихом.

И Алик уходит. Скрывается в лесу. И сон заканчивается, растекается, уплывает в какие-то черные глубины, вспыхивает вдалеке яркой точкой, как выключенная картинка на экране цветного «Рубина».

И ничего нет. Темнота и жар.

#### 4

И тогда начинается сон третий.

Будто бы пришел Алик в мамин институт. Мама — биолог, занимается исследованием человеческого мозга. «Мозг — это черный ящик,— говорит ей отец.— Изучай не изучай, а до результатов далеко». «Согласна,— отвечает ему мама.— Только с поправкой. Черный ящик — это когда мы не ведаем принципа работы прибора, в нашем случае — мозга, а данные на входе и выходе знаем. Что же до мозга, то его выход мы только предполагать можем: сила человеческого мозга темна, мы ее лишь на малый процент используем...»

«А коли так, где пределы человеческих возможностей? — думает Алик.— И кто их знает? Уж, конечно, не ученые мужи из маминого института...»

А мамин коллега, профессор Брыкин Никодим Серафимович, хитрый мужичок с ноготок, аккуратист и зануда, бывая в гостях у родителей Алика и слушая их споры, таинственно посмеивается, будто известно ему про мозг



нечто такое, что поставит всю современную науку с ног на голову да еще развернет на сто восемьдесят градусов: не в ту сторону смотрите, уважаемые ученые.

Вот сейчас, во сне, Никодим Брыкин встречается Алика у массивных дверей института, берет за локоток, спрашивает шепотом:

— Хвоста не было?

Вопрос из детективов. Означает: не заметил ли Алик за собой слежки.

— Не было, — тоже шепотом отвечает Алик.

И они идут по пустым коридорам, и шаги их гулко гремят в тишине — так, что даже разговаривать не хо-

чется, а хочется слушать эти шаги и проникаться высоким значением всего происходящего во сне.

— А почему никого нет? — опять-таки шепотом интересуется Алик.

— Воскресенье, — лаконично отвечает Брыкин, — выходной день у трудящихся, — а сам локоть Алика не отпускает, открывает одну из дверей в коридоре, подталкивает гостя. — Прошу вас, молодой человек.

Алик видит небольшой зал, уставленный непонятными приборами, на коих — индикаторные лампочки, верньеры, тумблеры, кнопки и рубильники, циферблаты, шкалы, стрелки. И все они опутаны сетью цветных проводов в хлорвиниловой изоляции, которые соединяют приборы между собой, уходят куда-то в пол и потолок, переплетаются, расплетаются и заканчиваются у некоего шлема, подвешенного над креслом и похожего на парикмахерский фен-стационар. Кресло, в свою очередь, вызывает у Алика малоприятные аналогии с зубоврачебным эшафотом.

— Что здесь изучают? — вежливо спрашивает Алик.

— Здесь изучают трасцедентные инверсии мозговых синапсов в конвергенционно-инвариантном пространстве четырех измерений, — взволнованно говорит Брыкин.

— Понятно,— осторожно врет Алик.— А кто изучает?  
— Я.  
— И как далеко продвинулись, профессор?  
— Я у цели, молодой человек! — Брыкин торжествен и даже не кажется коротышкой — метр с кепкой — титан, исполин научной мысли.

— Поздравляю вас.

— Рррано,— рычит Брыкин,— рррано поздррравлять, молодой человек. В цепи моих экспериментов не хватает одного, заключительного, наиглавнейшего, от которого будет зависеть мое эпохальное открытие.

«Хвастун,— думает Алик,— Наполеон из местных». Но вслух этого не говорит. А, напротив, задает вопрос:

— Скоро ли состоится заключительный эксперимент?

— Сегодня. Сейчас. Сию минуту. И вы, мой юный друг и коллега, будете в нем участвовать.

Алик, конечно же, ничего не имеет против того, чтобы называться коллегой профессора Никодима Брыкина, однако легкие мурашки, побежавшие по спине, заставляют его быть реалистом.

— А это не опасно? — спрашивает Алик.

— Вы трусите! — восклицает Брыкин и закрывает лицо руками.— Какой стыд!

Алику стыдно, хотя мурашки не прекратили свой бег.

— Я не трушу. Я спрашиваю. Спросить, что ли, нельзя?

— Ах, спрашиваете... Это меняет дело. Нет, коллега, эксперимент не опасен. В худшем случае вы встанете с кресла тем же человеком, что и до включения моего инверсионного конвергатора.

— А в лучшем?

— В лучшем случае мой уникальный конвергационный инверсор перестроит ваше модуляционное биопсиполе в комутационной фазе «Омега» по четвертому измерению, не поддающемуся логарифмированию.

— А это как? — Алик крайне осторожен в выражениях, ибо не желает новых упреков в трусости.

— А это очень просто. Скажем, вы были абсолютно неспособны к литературе. Включаем поле и — вы встаете с кресла гениальным поэтом. Или так. Вы не могли правильно спеть даже «Чижика-пыжика». Включаем поле и — вы встаете с кресла великим певцом. Устраивает?

И снова — то ли от предчувствия необычного, то ли от страха, то ли от обещанных перспектив — сердце Алика начинает исполнять цикл колебаний с амплитудой, значи-

тельно превышающей человеческие возможности. Не четвертое ли измерение тут причиной?

— А можно не поэтом? — робко спрашивает Алик.

— Певцом?

— И не певцом.

— Кем же, кем?

— Спортсменом.

— Прекрасный выбор! Вы станете вторым Пеле, вторым Яшиным, вторым Галимзяном Хусаиновым.

— Не футболистом...

— Пусть так. Ваш выбор, юноша.

— Я хотел бы стать... вторым Брумелем.

— Это который в высоту? Игра сделана, ставок больше нет, возьмите ваши фишки, господа.

Профессор Брыкин подпрыгивает, всплескивает ручками, бежит к креслу, отряхивает с него невидимые миру пылинки.

— Прошу занять места согласно купленным билетам. Шутка.

Алик не удивляется поведению Брыкина. Алик прекрасно знает о чудачествах ученых, знает и о том, что накануне решающих опытов, накануне триумфа ученый человек ведет себя, мягко говоря, странновато. Кто поет, кто свистит соловьем, кто стоит на голове, а Брыкин шутит. Пусть его.

Алик садится в кресло, ерзает, поудобнее устраиваясь на холодящем дермати́не, кладет руки на подлокотники. Брыкин нажимает какую-то кнопку на пульте, и стальные, затянутые белыми тряпицами обручи обхватывают голову, руки и лодыжки. Алик невольно дергается, но обручи не отпускают.

— Не волнуйтесь, все будет тип-топ, как вы говорите в часы школьных занятий. Минуточку... — Брыкин щелкает тумблерами, крутит верньеры, нажимает кнопки. Вспыхивают индикаторные лампочки, дрожат стрелки датчиков, освещаются шкалы приборов, стучат часы.

Алик начинает ощущать, как сквозь тело проходит некое странное излучение, но не противное, а, скорее, приятное.

— Температура — тридцать шесть и шесть по шкале Цельсия, пульс — восемьдесят два, кровяное давление — сто двадцать на семьдесят. — Брыкин что-то пишет в журнале испытаний, следит за приборами. — Разброс точек дает экстремальную экспоненту. Внимание: выходим в



четвертое измерение... Что за черт?! — Он даже встает, вглядываясь в экран над пультом.

Там что-то мигает, светится, расплывается.

Алик чувствует зуд в кончиках пальцев, ступни ног деревенеют, а икры, наоборот, напрягаются, как будто он идет в гору или держит на плечах штангу весом в двести килограммов.

— Что случилось, профессор?

— Ничего особенного, коллега, ничего страшного, — бормочет Брыкин, лихорадочно вращая все верньеры сразу: маленькие руки его так и порхают над пультом.

— А все-таки?

— Сейчас, сейчас...

Брыкин неожиданно дергает на себя рубильник. Гаснет экран, гаснут лампы. Алик легко шевелит пальцами, да и ноги отпустило. Обручи расходятся, и Алик встает, подбегает к Брыкину.

— Неужели не получилось?

— Кто сказал: не получилось? — удивляется Брыкин. — Эксперимент дал потрясающие результаты. Немедленно по выходе из здания института вы должны проверить свои вновь обретенные способности. Проверить и убедиться — насколько велик Никодим Брыкин. — Он хлопает ладонью по серому матовому боку пульта. — Нобелевская премия у меня в кармане, — и сует руку в карман — проверить: там премия или еще нет.

— Так чего же вы чертыхались?

— Пустяк, — Брыкин даже рукой машет. — В четвертом измерении на пятнадцатой стадии эксперимента возник непредусмотренный эффект.

— Какой эффект?

— Пограничные условия от производной функции. Раньше такого не было. Придется ввести коррективы в конечное уравнение процесса.

— И что они значат — пограничные условия? — волнуется Алик.

— А то значат, — Брыкин ласково обнимает длинного Алика за талию, как будто хочет утешить его, — что приобретенные вами спортивные качества, к сожалению, не вечны.

— Почему? — кричит Алик.

— Таковы особенности мозга.

— Не вечны...

— Да вы не расстраивайтесь. Берегите себя, свой

мозг, свои благоприобретенные качества, и все будет тип-топ.

— Но что, что может лишить меня этих качеств?

Брыкин делается строгим и суровым.

— Не знаю, юноша. Я вам не гадалка, не баба-яга какая-нибудь. И не джинн из бутылки. Наука имеет много гитик — верно, но много — это еще не все. Заходите через пару лет, посмотрим, что я еще наизобретаю. — И он вежливо, но целенаправленно провожает Алика к дверям.

И Алик уходит. Идет по коридору, спускается по широкой мраморной лестнице, крытой ковровой дорожкой. И сон заканчивается, растекается, уплывает в какие-то черные глубины, вспыхивает вдалеке яркой точкой, как выключенная картинка на экране цветного «Рубина».

И ничего нет. Темнота и жар.

## 5

А наутро Алик просыпается здоровым и свежим, будто и не было температуры, слабости, тяжелого забытья. Некоторое время он лежит в постели, с удовольствием вспоминая виденные ночью сны, взвешивает, анализирует. Удивительное однообразие вывода: будешь прыгать, если не соврешь. Правда, в последнем сне, с Брыкиным, вывод затушеван. Но ясно: под пограничными условиями имеется в виду как раз заповедь «не обмани».

Странная штука — человеческий мозг. Думал о способах потрясти мир спортивными успехами, даже джинна из бутылки вспомнил и — на тебе: мозг трансформировал все в четкие сновидения, сюжетные законченные куски — хоть записывай и неси в журнал. Сны суть продолжение яви. Слепые от рождения не видят снов. Что ж, вчерашняя явь дала неплохой толчок для снотворчества. Каков термин — снотворчество? А что, придумает, скажем, тот же Брыкин какой-нибудь самописец-энцефалограф для записи снов на видеопленку, прибор сей освоит промышленность, и появится новый вид массового творчества, свои бездарности и гении, свои новаторы и традиционалисты. Понастроят общественных снотеатров, где восторженная публика станет лицезреть творения профессионалов-сновидцев, а специальные приставки к телевизорам позволят высококачественным талантливым сновидениям прийти прямо в квартиры. Фантастика! Однако сны Алика вполне,

как говорится, смотрибельны. Надо будет их лучшему другу Фокину пересказать, то-то посмеется, повосторгается...

Алик встал и на тумбочке у кровати обнаружил мамину записку. Она гласила: «Лекарства в шкафу. До моего прихода примешь этазол — дважды, аспирин — один раз. В школу не ходи, по квартире не шляйся, позавтракай и жди меня».

Стиль вполне лапидарен, указания — яснее ясного. Из всех перечисленных Алику наиболее по душе пришлось это: «в школу не ходи». Что говорится в расписании? Химия, история, две литературы, то есть два урока подряд. Не беда, позволим себе передохнуть, впоследствии наверстаем. Лекарства, естественно, побоку, постельный режим — тоже. По квартире шляться (ох, и выраженьице!..) не станем, а вот не пойти ли подышать свежим воздухом? Пойти.

Наскоро позавтракал, сунул в карман блокнот и шариковую ручку — на всякий случай, вдруг да и появится вдохновение, — вышел во двор. Ах, беда какая: на скамейке у подъезда восседала Анна Николаевна, Дашкина мать. Вспомнил, да поздновато: Дашка Строганова, белокурый голубоглазый ангел, юная королева класса, в школьной форме и абсолютно внешкольных туфельках на тонких каблучках, мечта и страсть мужских сердец, говорила, что ее матери врач прописал больше бывать на воздухе. Что-то там у нее с сердцем, ему не хочется покоя.

— Доброе утро, Анна Николаевна. Как здоровье? Сейчас последуют вопросы.

— Спасибо, Алик, получше. А вот почему ты не в школе, интересуюсь?

В самую точку. Отвечаем:

— Похудело у меня здоровье, Анна Николаевна. Вчера весь вечер в температурном бреде пролежал, сегодня еле ноги волоку.

С сомнением посмотрела на ноги. Алик для убедительности совсем их расслабил, бессильно повесил руки вдоль тела, голову склонил.

— Врач был?

Стереотипное мышление. Если есть справка, значит, болен. Нет спасительного листка — здоров, как стадо быков. Внешний вид и внутреннее состояние в расчет не принимаются.

— Был врач, был — как же иначе. Не прогульщик же я, в самом деле?

— А кто вас, молодых, теперь поймет? Дашка из школы придет — жалуется: ах, мигрень! В ее-то годы...

Выдана небольшая медицинская семейная тайна. Спокойнее, Радуга, умерь сердцебиение.

— Акселерация, Анна Николаевна, бич времени. Раньше взрослеем, раньше хвораем, раньше страдаем.

Вроде пошутил, а Дашкиной матери не понравилось.

— Ты, я гляжу, исстрадался весь.

Попадание в десятку. Знала бы она о вчерашнем...

— Не без того, Анна Николаевна, не без того.

Теперь прилично и покинуть ее, двинуться к намеченной цели.

— Всего хорошего, Анна Николаевна.

А есть ли цель? Ох, не криви душой сам с собой, дорогой Алик. Есть цель, есть, и ты дуешь напрямик к ней, хотя — разумом — понимаешь всю бессмысленность и цели и желания поспешно проверить то, что никакой проверки не требует. А почему, собственно, не требует? Ведь не всерьез же, так, от нечего делать...

А утро-то какое — любо посмотреть! На небе ни облачка, ветра нет, тишина, тепло. Время отдыха и рекордов.

Вот и цель. Сад, зажатый с двух сторон серыми стенами домов, с третьей — чугунной решеткой, отгородившей от него гомон и жар проспекта, с четвертой — тихая и пустынная набережная, откуда легко спуститься к Москве-реке, чтобы, нырнув, обнаружить на дне гицатлинской работы кувшин с усталым джином внутри. Но кувшины с джином — продукт хитрых сновидений, далеких от суровой действительности. А действительность — здесь она: спортивный комплекс в саду. Хоккейная коробка, превращенная на лето в баскетбольную площадку; шведская стенка, врытая в песок; яма для прыжков в длину и рядом — две стойки с кронштейнами. А планка где? Ага, вот она: на песке валяется...

Положим блокнотик с ручкой на лавочку — чтоб не мешал. Закрепим кронштейны на некой высоте — скажем, метр. Где у нас метр? Вот у нас метр. Приладим планочку. Кто нас видит? Вроде никто не видит. От проспекта древо-насаждения скрывают, детсадовская малышня гуляет нынче в другом месте — везение. Ра-азбегаемся. Толчок...

Алик лежал в яме с песком и смотрел в небо. Между небом и землей застыла деревянная, плохо струганная планка, застыла — не покачнулась.

«Вроде взял», — подумал Алик и тут же устыдился: высота — метр, сам устанавливал, чем тут гордиться?

Да дело не в высоте, дело в факте: взял! Ан нет, не обманывайся: в первую очередь, в высоте. Метр любой дурак возьмет, тут и техники никакой не требуется. А с ростом под сто восемьдесят можно и для первого раза планку повыше установить.

Установим. Допустим, метр сорок. Как раз такую высоту Алик и сбивал на уроке у Бима. Под дружный смех публики.

Ра-азбегаемся. Толчок...

Планка, не колыхнувшись, застыла над ним — гораздо ближе к небу, чем в прошлый раз.

«Что же получается?» — думал Алик. Выходит, он умеет прыгать, умеет, если очень хочет, и только страх полам со стыдом (вдруг не получится?..) мешал ему убедиться в этом в спортзале. Он вскочил, побежал к началу разбега, вновь помчался к планке и вновь легко перелетел через нее, да еще с солидным запасом — сантиметров, эдак, в двадцать — тридцать.

Он не удивился. Видно, время еще не пришло для охов и ахов. Он лежал на песке, глядел в небо, перечеркнутое планкой надвое. В одной половине стояло солнце, слепило глаза. Алик невольно шурился, и корявая планка казалась тонкой ниткой: не задеть бы, порвется.

«Могу, могу, могу...» — билось в голове. Резко сел, стряхивая с себя оцепенение. Чему радоваться?

«Ты же физически здоровый парень», — говорил ему отец неоднократно. — Тебе стоит только захотеть, и получишься все, что положено твоему возрасту и здоровью. Но захотеть ты не в силах. Ты ленив, и проклятая инерция сильнее твоих благих намерений».

«Я — интелле<sup>ту</sup>ал», — говорил Алик.

«Ты только притворяешься интелле<sup>ту</sup>алом», — говорил отец. — Ленивый интеллект — это катахреза, то есть совмещение несовместимых понятий. А потом: писать средние стихи не значит быть интелле<sup>ту</sup>алом».

Алик молча глотал «средние стихи», терпел, не возражал. Он мог бы сказать отцу, что тот тоже никогда не был спортсменом, а долгие велосипедные походы, о которых он с удовольствием вспоминал, еще не спорт, а так... физическая нагрузка. Он мог бы напомнить отцу, что тот сам лет шесть назад не пустил его в хоккейную школу. Не будучи болельщиком, отец не понимал прелести заморской

игры, ее таинственного флера, которым окутана она для любого пацана от семи до семидесяти лет.

«Все великие поэты прошлого были далеки от спорта», — говорил Алик.

«Недоказательно, — говорил отец. — Время было против спорта. Он, как явление массовое, родился в двадцатом веке».

Отец злился, понимая, что сам виноват: что-то упустил, недопонял, учил не тому. Перебрать бы в памяти годы, да разве вспомнишь все...

«И потом, мне надоело писать завучу объясниловки, почему ты прогулял физкультуру», — говорил отец.

Пожалуй, в том и заключалась причина душевспасительных разговоров. Алик переставал прогуливать, ходил в спортзал, пытался честно работать, но... Вчера Бим поставил точку, не так ли?

Точку? Ну нет, в пунктуации Алик был, пожалуй, сильнее Бима-физкультурника. Он хорошо знал, когда поставить запятую, тире или многоточие. И если уж вести разговор на языке знаков препинания, то сегодняшняя ситуация властно диктовала поставить двоеточие: что будет завтра? послезавтра? через месяц?

Алик встал, поднял кронштейны на стойках еще на деление. Высота — сто пятьдесят. Ерунда для тренированного подростка. Алику она виделась рекордом, а по сути и была рекордной — для него. Еще вчера он бы рассмеялся, предположи кто-нибудь — скажем, Фокин, лучший друг, — что полтора метра для Радуги — разминка. Сейчас он отошел, покачался с носка на пятку (видел: так делают мастера перед прыжком), легко побежал к планке, взлетел, приземлился и... охнул от боли. Не сообразил: упал на руку.

Несколько раз согнул-разогнул: боль уходила. Он думал: есть желание, есть возможности, не хватает умения, техники не хватает. Надо бы просто посмотреть, как прыгают мастера, как несут тело, как ноги сгибают, куда бросают руки, как приземляются. А то и поломаться недолго, до собственного триумфа не дотянуть.

В том, что триумф неизбежен, Алик не сомневался, даже не очень-то размышлял о том. И что странно: триумф этот виделся ему не на Олимпийском стадионе под вспышками «леек» и «никонов», а в полутемном спортзале родной школы — на глазах у тех, кто вчера мерзко хихикал над неудачником. На глазах у липового воспитателя Бима,



который предпочел отделаться от неудобного и бездарного ученика, вместо того чтобы дотянуть его хотя бы до среднего уровня. На глазах у лучшего друга Фокина, который сначала демонстрирует свое превосходство, а потом лицемерно звонит и здоровьем интересуется. На глазах у Дашки Строгановой, наконец...

— Здоровье поправляешь?

Резко обернулся, поднял голову. Дашкина мать возвышалась над ним этакой постаревшей Фемидой, только без повязки на глазах. Солнце ореолом стояло над ее головой, и Алик аж зажмурился: казалось, ослепительное сияние исходило от этой дворовой богини правосудия, которое она собиралась вершить над малолетним симулянтом и прогульщиком.

— Что шуришься, будто кот? Попался?

— Куда? — спросил Алик.

— Не куда, а кому, — разъяснила Анна Николаевна. — Мне попался, голубчик. Руки не действуют, ноги не ходят, в глазах тоска... А прыгаешь, как здоровый. Родители знают?

— Что именно?

— Что прогуливаешь?

— Я, любезная Анна Николаевна, не прогуливаю,— начал Алик строить правдивую защитную версию. Не то чтобы он боялся Дашкину маман — что она могла сотворить, в конце концов? Ну, матери сообщить. Так мама и оставила Алика дома — факт. В школу наклепать? Алик так редко вызывает нарекания педагогов, что им, педагогам, будет приятно узнать о его небезгрешности: люди не очень ценят святых. Но Анна Николаевна любила гласность. Она просто жить не могла, не поделившись с окружающими всем, что знала, видела или слышала. А гласность Алику пока была ни к чему.— Как вы можете заметить, уважаемая мама Даши Строгановой, я прыгаю в высоту.

— Могу заметить.

— И сделать вывод, что я не случайно освобожден от занятий. Я готовлюсь к соревнованиям,— и это не было ложью: Алик твердо верил, что все соревнования у него впереди.

Тут Дашкина мать не удержалась, хмыкнула.

— Ты? — однако вспомнила, что над подростком — в самом раннем возрасте — смеяться никак нельзя, не педагогично, о чем сообщает телепередача «Для вас, родители», спросила строго: — К каким соревнованиям?

— Пока к школьным.

— Да ты же сроду физкультурой не занимался, чего ты мне врешь?

— Ребенку надо говорить «обманиваешь», — не преминул язвительно вставить Алик, но продолжил мирно и вежливо: — Приходите завтра на урок — сами убедитесь.

— А что ты думаешь, и приду.— Она сочла разговор оконченным, пошла прочь, а Алик пустил ей в спину:

— Вам-то зачем утруждаться? Дашенька все расскажет...

Анна Николаевна не ответила — не снизошла, а может, и не услышала, скрылась в арке ворот. Алик подумал, что он не так уж и несправедлив к белокурому ангелочку: ябеда она. И все это при такой ангельской внешности! Стыдно...

Больше прыгать не стал: в сад потянулись малыши, ведомые толстухой в белом халате. Сейчас они оккупируют яму для прыжков, раскидают в ней свои ведерки, лопатки, формочки. Попрыгаешь тут, как же... Такова спортивная жизнь...



Стоило пойти домой и подготовиться к завтрашней контрольной по алгебре: сердце Алика чуяло, что мама не расщедрится еще на один вольный день.

Так он и поступил.

И вот что странно: больше ни разу не вспомнил о своих снах, не связал их с внезапно появившимся умением «сигать, как кузнецик». А может, и правильно, что не связал? При чем здесь, скажите, мистика? Надо быть реалистом. Все дело в силе воли, в желании, в целеустремленности, в характере.

## 6

Контрольную он написал. Несложная оказалась контрольная. Дождался последнего урока, вместе со всеми пошел в спортзал.

— А ты куда? — спросил Фокин, лучший друг. — Тебя же освободили.

— А я не освободился, — сказал Алик.

— Ну и дуб. — Лучший друг был бесцеремонен. — Человеку идут навстречу, а он платит черной неблагодарностью.

— В чем неблагодарность?

— Заставляешь Бима страдать. Его трепетное сердце сжимается, когда он видит тебя в тренировочном костюме.

— Да, еще позавчера это было катахрезой, — щегольнул Алик ученым словом, услышанным от отца.

— Чего? — спросил Фокин.

— Тебе не понять.

— Твое дело, — обиделся Фокин и отошел.

И зря обиделся. Алик имел в виду то, что Фокину — и не только Фокину — будет трудно понять и правильно оценить метаморфозу, происшедшую с Аликом. Да что там Фокину: Алик сам недоумевал. Как так: вчера не мог, сегодня — запросто. Бывает ли?..

Выходило, что бывает. После вчерашней разминки-тренировки Алик больше не искал судьбу и сейчас, сидя в раздевалке, побаивался: а вдруг он не сумеет прыгнуть? Вдруг вчерашняя удача обернется позором? Придется из школы уходить...

Вышел в зал, занял свое место в строю. Вопреки ожиданиям, никто не вспоминал прошлый урок и слова Бима.



Считали, что сказаны они были просто так, не всерьез. Да и кто из учеников всерьез проверит, что преподаватель разрешает не посещать кому-то своих уроков? А что дирекция скажет? А что районо решит? Все время вдалбливают: в школу вы ходите не ради оценок, а ради знаний, умения и прочее. А отметки — так, для контроля... Правда, хвалят все же за отметки, а не за знания, но это уже другой вопрос...

Бим поглядел на Алика, покачал головой, но ничего не сказал. Видно, сам понял, что переборщил накануне. В таких случаях лучше не вспоминать об ошибках, если тебе о них не напомнят. Но Алик как раз собирался напомнить.

Побежали по залу, повисели на шведской стенке — для разминки, сели на лавочки.

— Объявляю план занятий, — сказал Бим. — Брусья, опорный прыжок, баскетбол. Идею уяснили?

— Уяснили, — нестройно, вразнобой ответили.

Строганова руку вытянула.

— Чего тебе, Строганова?

— Борис Иванович, а что девочкам делать?

— Все наоборот. Сначала опорный прыжок, потом брусья. Естественно, разновысокие. Еще вопросы есть?

— Есть, — сказал Алик.

Класс затих. Что-то назревало. Бим тоже насторожился, построил кислую физиономию.

— Слушаю тебя, Радуга.

— У меня к вам личная просьба, Борис Иванович. Измените план. Давайте попрыгаем в высоту.

Захихикали, но, скорее, по инерции. Вряд ли Радуга станет так примитивно подставляться. Ясно: что-то задумал. Но что? Надо подождать конца.

— А не все ли тебе равно, Радуга, когда свой талант демонстрировать? — не утерпел Бим, уязвил парня.

— Не все равно. — Алик решил не молчать, действо-

вать тем же оружием.— Да и вам — из педагогических соображений — надо бы пойти мне навстречу.

Поймал округлившийся взгляд Фокина: ты что, мол, с катушек совсем слез? Не слез, лучший друг, качусь — не останавливаясь, следи за движением.

Бим играет в демократа:

— Как, ребята, пойдем навстречу?

А ребят хлебом не корми, дай что-нибудь, что отвлечет от обычной рутины урока. Орут:

— Пойдем... Удовлетворим просьбу... Дерзай, Радуга...

Бим вроде доволен:

— Стойки, маты, планку. Живо!

Все скопом помчались в подсобку, потолкались в дверях, потащили в зал тяжеленные маты, сложили в два слоя в центре зала, стойки крестовинами под края матов засунули — для устойчивости.

— Какую высоту ставить? — спросил староста класса Борька Савин, хоть и отличник, но парень свой. К нему даже двоечники с любовью относились: и списать даст, и понять поможет — кому что требуется.

— Заказывай, Радуга.

Алик подумал секунду, прикинул, решил:

— Начнем с полутора.

— Может, не сразу? — усомнился Бим.

— А чего мучиться? — демонстративно махнул рукой Алик.— Помирать — так с музыкой.

— Помирать решил?

— Поживу еще.

Сам подошел, проверил: точно — метр пятьдесят.

— Начинай, Радуга.

— Пусть сначала Фокин прыгнет. Присмотреться хочу.

— Присматривайся. Пойдешь последним.

Отлично. Посидим, поглядим, ума-разума наберемся. Ага, при взлете правую ногу чуть-чуть согнуть... Левая прямая... идет вверх... Переворачиваемся... Руки — чуть в стороны, в локтях согнуты... Падаем точно на спину... Кажется: проще простого. Кажется — крестись... Джинн с бабой-ягой и Брыкиным сказали: прыгать будешь. А как прыгать — не объяснили. Халтурщики...

Он даже вздрогнул от этой мысли: значит, все-таки — джинн, баба-яга, Брыкин? Вещий сон?

— Радуга, твоя очередь.

Потом, потом додумать. Пора...

Побежал — как вчера, в саду — оттолкнулся, легко взлетел, планку даже не задел, высоко прошел, лег на спину. Вроде все верно сделал, как Фокин.

В зале тишина. Только Фокин, лучший друг, не сдержался — зааплодировал. И ведь поддержали его, хлопали, кто-то даже свистнул восторженно, девчонки загалдели. А Алик лежал на матах, слушал с радостью этот веселый гам, потом вскочил, понесся в строй, крикнув на бегу:

— Ошибки были?

— Для первого раза неплохо, — сказал Бим, явно забыв, что прыгает Алик не первый раз. Другое дело, что все прошлые попытки и прыжками-то не назвать...

— Поднимем планку?

— Не торопись, Радуга, освойся на этой высоте.

— Я вас прошу.

— Ну, если просишь...

Поставили метр шестьдесят. Все уже не прыгали. Девчонки устроились у стены на лавках, к ним присоединились ребята — из тех, кто послабее или прыжков в высоту не любит. Были и такие. Скажем, Гулевых. Один из лучших футболистов школы, как стопперу — цены нет, а прыгать не может. И, заметим, Бим к нему не пристаёт с глупостями: не можешь — не прыгай, играй себе в защите на правом краю, приноси славу родному коллективу. Славка Торчинский на вело педали крутит. За «Спартак». Ему тоже не до высоты. Лучше не ломаться зря, поглядеть спокойно, тем более что урок явно закончился, да и вообще не получился: шло представление с двумя актерами — Бимом и Радугой, «злодеем» и «героем», да еще Фокин где-то сбоку на ампула «друга героя» подвизается.

Не только Фокин. Еще человек пять прыгало. По той же театральной терминологии — статисты. Метр шестьдесят взяли все. Двое — со второй попытки. У Бима азарт появился.

— Ставь следующую! — кричит.

Метр семьдесят. Немыслимая для Алика высота. Фокин взял, остальные не стали пробовать. Алик пошел на планку, как на врага, взмыл над ней — готово!

— Ты что, притворился до сих пор? — вид у Бима, надо сказать, ошарашенный.

А вопрос нелепый. С какой стати Алику притворяться, когда гораздо спокойнее таланты демонстрировать.

— Не умел я до сих пор прыгать, Борис Иванович.

— А сейчас?

— А сейчас научился, — потом объяснения, успеется. — Ставим следующую?

Метр семьдесят пять. Фокин не бросает товарища. Ну, он эту высоту и раньше брал, и сейчас не отступил. Ну-ка, Алик... Разбег. Толчок. Хо-ро-шо!

— Хорошо! — Бим даже руки от возбуждения трет. О том, что Радуга «запоздал в развитии» не вспоминает. Да и зачем вспоминать о какой-то ерундовой оговорке, реплике, в сердцах сказанной, если неожиданно-негаданно в классе объявился хороший легкоатлет, будет кого на районные соревнования выставить.

— Ставим метр восемьдесят, — решил Фокин.

Он не ведает, что у него роль «друга героя», а «герой» о такой высоте никогда в жизни не мечтал — смысла не было, мечты тоже реальными быть должны. Фокин, как и Бим, завёлся. Не было в классе соперника — появился, так надо же выяснить: кто кого.

— Хватит, Фокин. — Бим уже отошел от «завода», не хочет превращать тренировку в игру.

— Последняя, Борис Иванович, — взмолился Фокин.

И Алик поддержал его:

— Последняя, — и для верности добавил: — Чтоб мне ни в жисть метр двадцать не взять...

Почему-то никто не засмеялся. Шутка не понравилась? Или то, что казалось веселым и бездумным в начале урока, сейчас стало странным и даже страшноватым? В самом деле, не мог Радуга за такое короткое время превратиться из бездара в чемпиона, не бывает такого, есть предел и человеческим возможностям и человеческому воображению.

И Алик понял это. И когда лучший друг Фокин с первой попытки взял свою рекордную высоту, Алик так же легко разбежался, взлетел и... лег грудью на планку. Она отлетела, со звоном покатилась по полу.

Было или почудилось: Алик услышал вздох облегчения. Скорее, почудилось: ребята далеко, сам Алик пыхтел как паровоз — попрыгай без привычки.

А может, и было...

— Дать вторую попытку? — спросил Бим.

— Не стоит, — сказал Алик. — Не возьму я ее.

— Что, чувствуешь?

— Чувствую. Вот потренируюсь и...

Победивший и оттого успокоившийся Фокин обнял Алика за плечи.

— Ну, ты дал, старик, ну, отколол... Борис Иванович, думаю — в секцию его записать надо. Какая прыгучесть! — и, помолчав секунду, признался, добрая душа: — Он же меня перепрыгает в два счета, только потренируется.

Бим нашел, что в словах Фокина есть резон — и в том, что тренироваться Радуге стоит, и что перепрыгнет он Фокина, если дело так и дальше пойдет, — но вслух высказываться не стал, осторожничал.

— Поживем — увидим, — сказал он. — А что, Радуга, ты всерьез решил прыжками заняться?

— Почему бы и нет? — Алик стоял — сама скромность, даже взор долу опустил. — Может, у меня и вправду кое-какие способности проклюнулись...

— Может, и проклюнулись, — задумчиво протянул Бим.

Что-то ему все-таки не нравилось в сегодняшней истории, не слыхал он никогда про спортивные таланты, возникшие вдруг, да еще из ничего. А Радуга был ничем, это Бим, Борис Иванович Мухин, съевший в спорте даже не собаку, а целый собачий питомник, знал точно. Но факт налицо? Налицо. Считаться с ним надо? Надо, как ни крути.

— Если хочешь, придешь завтра в пять в спортзал, — сказал он. — Посмотрим, попрыгаем... — не удержался, добавил: — Самородок...

И Алик простил ему «самородка», и тон недоверчивый простил, потому что был упоен своей победой над физкультурником, да что там над физкультурником — над всем классом, над чемпионом Фокиным, над суперзвездами Гулевых и Торчинским, кто остальных в классе и за людей-то не считал, над ехидным ангелом Дашкой, которая сегодня же сообщит своей маман о невероятных спортивных успехах Алика, а та не преминет вспомнить, как вышеупомянутый лодырь и прогульщик тренировался в саду во время уроков.

— Приду, — согласно кивнул он Биму, а тот свистнул в свой свисточек, висевший на шнурке, махнул: конец урока.

И все потянулись в раздевалку, хлопали Алика по спине, отпускали веселые реплики — к случаю. А он шел гордый собой, счастливый: впервые в жизни его поздравляли не за стихи, написанные «к дате» или без оной, не за удачное выступление на школьном вечере отдыха, даже не за победу на районной олимпиаде по литературе. Нет — за



спортивный успех, а он в юности ценится поболее успехов, так сказать, гуманитарных.

Сила есть, ума не надо — гласит поговорка. А тут и сила есть, и умом бог не обидел, не так ли? Алик твердо считал, что именно так оно и есть. Теперь — так.

Одно мешало триумфу: воспоминание о снах. Ведь были же сны — чересчур реальные, чересчур правдивые. Все сбылось, что обещано. Только, помнится, условие поставлено...

## 7

После уроков подошла Дарья свет Андреевна.

— Ты домой?

Ах, мирская слава, gloria мунди, сколь легки твои сладкие победы!..

— Домой. А что?

— Нам по пути.

Странный человек Дашка... Будто Алик не знает, что им по пути, так как живут они в одном подъезде: он — на шестом этаже, она — на четвертом. Но самая наибанальнейшая фраза в устах женщины звучит откровением. Кто сказал? Извольте: Александр Радуга сказал. Вынес из личного опыта.

— Пошли, если тебе так хочется.

Даша посмотрела на него с укоризной, похлопала крыльями-ресницами: груб, груб, неделикатен. Промолчала.

— Что ты будешь делать вечером?

Хотел было заявить: мол, намечается дружеская встреча в одном милом доме. Но вспомнил о «пограничных условиях» из сна, и что-то удержало, словно выключатель какой-то сработал: чирк и — рот на замке.

Сказал честно:

— Не знаю, Даш. Скорей всего, дома останусь.

— Дела?

— Сегодня отец из командировки прилетает.

— Ну и что?

Вот непонятливая! Человек отца две недели не видел, а она: ну и что?

— Ну и ничего.

— Алик, а почему ты мне все время грубишь?

— С чего ты взяла?

— Слышу. Ты меня стесняешься?



— С чего ты взяла?

— Ну, заладил... Надо чувствовать себя легко, раскрепощенно и, главное, уважать женщину.

Алик и сам не понимал, почему с Дашкой он не чувствует себя «легко, раскрепощенно». Он — говорун и остроумец, не теряющийся даже в сугубо «взрослой» компании, оставаясь один на один со Строгановой, начинает нести какую-то односложную чушь, бычится или молчит. Ведет себя как надувшийся индюк. Может, не «уважает женщину»? Нет, уважает, хотя «женщина» по всем данным — вздорна, любит дешевое поклонение, плюс ко всему ничего не понимает в поэзии. Однажды пробовал он ей читать Блока. Она послушала про то, как «над бездонным провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак», спросила: «А как это — провал в вечность? Пропасть?» И Алик, вместо того чтобы немедленно уйти и никогда не возвращаться, терпеливо объяснял ей про образный строй, метафоричность, поэтическое видение мира. Она вежливенько слушала, явно скучала, а потом пришел дылда Гулевых и увел ее на хоккей: они, оказывается, еще накануне договорились, и Даша не могла подвести товарища. Товарищ! Гулевых, который в сочинении делает сто ошибок, но его правой ногой нет равных на территории от гостиницы «Украина» до панорамы «Бородинская битва»...

Видимо, Гулевых приелся. Нужна иная нога. Вот она: левая толчковая Алика Радуги. А то, что, кроме ноги, есть у него и голова с кое-каким содержанием — это дело десятое. Не в голове счастье. Выходит, так?

— Я, Даш, уважаю прежде всего человека в человеке, а не мужчину или женщину. При чем здесь пол?

— При том. В женщине надо уважать красоту, женственность, грацию, умение восхищаться мужчиной.

С последним, надо признать, трудно не согласиться...

— А в мужчине?

— А в мужчине — силу, мужественность, строгий и логический ум...

Хорошо, хоть ум не забыла...

— Даш, а ты меня уважаешь? — спросил и сам застыдил: вопрос из серии «алкогольных». Но сказанного не воротишь.

— Уважаю, — она не обратила внимания на формулировку.

— А за что?

— Ну-у... За то, что ты человек с собственным мнением,

за то, что следишь за своей внешностью... За сегодняшнее тебя тоже нельзя не уважать...

— Прыгнул высоко?

— Не так примитивно, пожалуйста... Нет, за то, конечно, что не смирился с поражением, потренировался — мне мама рассказывала, как ты в саду прыгал, — и доказал всем, что можешь.

Хорошая, между прочим, версия. Благодаря ей Алик будет выглядеть таким волевым суперменом, который, стиснув зубы, преодолевает любые препятствия, твердо идет к намеченной цели. И ничто его не остановит: ни страх, ни слабость, ни равнодушие. Только она, эта версия, — чистая липа. Иными словами — вранье. А врать не велено. Баба-яга не велела. И джинн Ибрагим, ныне артист иллюзионного жанра. Как быть, граждане?

Один выход: говорить правду.

— Я не тренировался, Даш, Просто я вчера проснулся, уже умея прыгать в высоту.

— Скромность украшает мужчину.

Фу-ты, ну-ты, опять банальное откровение. Или откровенная банальность.

— Скромность тут ни при чем. Я во сне видел некоего джинна, бабу-ягу и профессора Брыкина. — Алик усмехнулся про себя: звучит все полнейшей бредятиной. А ведь чистая правда... — И за мелкие услуги они наградили меня этим спортивным даром. Поняла?

Даша сморщила носик, губы — розочкой, глаза сощурила.

— Неостроумно, Алик.

— Да не шучу я, Даш, честное слово!

— Я с тобой серьезно, а ты...

Быстро пошла вперед, помахивая портфелем, и, казалось, даже спина ее выражала возмущение легкомысленным поведением Алика.

— Даш, да погоди ты...

Никакой реакции: идет не оборачивается. Ну и не надо. Дружи с Гулевых: он свой футбольный дар всерьез зарабатывал, без мистики. Сто потов спустил...

— Даш, а за что ты Гулевых уважаешь? Сила есть — ума не надо? — Эх, ну кто за язык тянул...

Она обернулась, уже стоя на ступеньках подъезда.

— Дурак ты! — вбежала в подъезд, дверь тяжело хлопнула за ней: любит домоуправ тугие пружины.

— А это уже совсем не женственно, — сказал Алик в

пространство и подумал с горечью: и вправду дурак.

Сел на лавочку, поставил рядом портфель, вытянул ноги. Ноги как ноги, ничего не изменилось, никакой дополнительной силы в них Алик не чувствовал. Тощие, голенастые, длинные. Школьные брюки явно коротковаты, надо попросить маму, чтобы отпустила. Дашка сказала: «Следишь за своей внешностью». А брюки носков не прикрывают, позорище какое...

Итак, не в ногах дело. Как, впрочем, не в руках, не в бицепсах-трицепсах. Дело в бабе-яге. А что? Вещие сны наукой не доказаны, но и не отвергнуты. Помнится, сидел в гостях у родителей какой-то физик, заговорили о телепатии, так физик и скажи: «Я поверю в физический эффект лишь тогда, когда сумею его измерить». — «Чем?» — спросил Алик. — «Неважно чем. Линейкой, термометром, амперметром — любым прибором». — «Но ведь телепатия существует?» — настаивал Алик с молчаливой поддержки отца. — «Пока не измерена — не существует». — «А может существовать?» Тут физик пошел на уступку: «Существовать может все». — «На уровне гипотезы?» — «На уровне предположения».

И то хлеб. Предположим, что телепатия существует — когда-нибудь ее «измерят». Предположим, что вещие сны тоже существуют. Теперь доведем предположение до уровня гипотезы. Вещий сон есть не что иное, как форма деятельности головного мозга, при коей в работу включаются те клетки, которые до сих пор задействованы не были. Этот процесс приводит к перестройке всего организма по определенной схеме. Вчера ходил — сегодня прыгаешь.

Красиво? Красиво. Вполне в стиле Никодима Брыкина из последнего сна. Много слов, много тумана, ясности — никакой. А как, дорогой товарищ Радуга, вы объясните указание не лгать «ни намеренно, ни нечаянно, ни по злобе, ни по глупости»? Проще простого: пограничные условия, Брыкин точно сформулировал. Когда врешь, включается еще одна группа клеток мозга, которые начисто парализуют работу той, новой группы — ведающей спортивными достижениями.

Во бред! Но и вправду красиво...

Можно, конечно, спросить у мамы, да только реакция на рассказ о снах будет примерно той же, что и у Дашки, не облеченной дипломом кандидата наук. Не в дипломе дело. В умении верить в Необычное, в Незнаемое, в Нетипичное.

пичное. Давит, ох как давит нашего брата стереотип мышления. Любимая фраза: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Все, видите ли, измерить надо! Пощупать и понюхать. Пожевать и выплюнуть: не годится, не стоит внимания. А что стоит? Все, что внесено в квадратики определенной системы, вполне обеспечивающей душевное равновесие. Отец — уж на что передовой человек, а и то не поверит. Порадуется: мол, я говорил, есть в тебе огромные потенциальные возможности, да ленив ты, нелюбопытен... А в бабу-ягу не поверит. И в Ибрагима тоже. А мама приведет в дом настоящего Брыкина, и тот вместе с родителями посмеется над фантазиями Алика.

Но любая более или менее приемлемая версия будет лживой. Как тогда жить прикажете? Все-таки говорить правду. С милой улыбкой. Ах, Алик, он такой шутник, спасу нет, вечно разыгрывает, вечно балагурит... Как прыгать научился? Да, знаете ли, нырял в реку, нашел кувшин с джинном, а тот — в благодарность за освобождение — наградил талантишком... А если серьезно? А серьезно, знаете ли, такие вопросы не задают... И отойдет вопрошающий, смущенный справедливым упреком.

Но дар даром, а тренироваться не мешает. И еще: волей-неволей придется идти на мелкую ложь, но, помня о «пограничных условиях», стараться, чтобы она для тебя была правдой. Иначе всемогущее «так не бывает» вызовет кучу подозрений. Алик вспомнил настороженное молчание класса, когда он наперегонки с Фокиным брал высоту за высотой. «Так не бывает!» Вовремя остановился, не стал прыгать дальше. Соврал, что не сможет взять метр восемьдесят? Отчасти соврал. Но и правду сказал: не сможет, потому что это вызвало бы антагонизм одноклассников, обиду лучшего друга, подозрения Бима. По моральным причинам не сможет, а не по физическим.

Так держать, Алик!..

Вечером, когда отец, уже отмытый от командировочной пыли, сытый и добродушный, уселся в кресло и задал традиционный вопрос: что происходило в его отсутствие? — Алик не удержался, похвастался:

— Сегодня Бима наповал сразил.

— Каким это образом? — спросил отец, не выясняя, впрочем, кто такой Бим. Несложная аббревиатура в доме была известна.

— Прыгнул в высоту на метр семьдесят пять, — сказал небрежно, между прочим, не отрываясь от книги.

Отец даже рассмеялся.

— Красиво сочиняешь.

— Кто сочиняет? — возмутился Алик. — Позвони Фокину, если не веришь.

— Алик, чудес не бывает. До моего отъезда ты не знал, с какой стороны к планке подходить.

— А теперь знаю.

— Ты потрясаешь основы моего мироощущения. — Отец любил высказываться красиво.

— Придется тебе их пересмотреть. Факты — упрямая вещь.

— Так-таки взял?

— Так-таки взял.

— С третьей попытки? — отец еще на что-то надеялся.

— С первой. — Алик безжалостно разрушал его надежды.

— Чудеса в решете! Слушай, а может, ты с Фокиным сговорился? — отец искал лазейку, чрезвычайно беспокоясь за свое мироощущение. Ему не хотелось пересматривать основы: лень и трудно.

Алик обиделся. Одно дело — не верить в бабу-ягу, другое — в реальное, хотя и удивительное явление. Тем более, свидетелей — навалом. И если Фокин не внушает доверия...

— Можешь позвонить Биму, Строгановым, отцу Гулевым — ты же с ним в шахматы играешь.

— Подтвердят?

— Трудно опровергнуть очевидное.

— Ну, ты дал, ну, молодец! — Тут отец повел себя совсем как Фокин в спортзале. Даже встать не поленился, ухватил Алика обеими руками за голову, потряс от избытка чувств. — Как это ты ухитрился?

Предвкушая развлечение, Алик заявил:

— Понимаешь, сон вчера видел. Вещий. Будто выпустил джинна из бутылки, то есть из кувшина. А он мне, на радостях, говорит: будешь прыгать в высоту «по мастерам».

— Кто говорит? Кувшин?

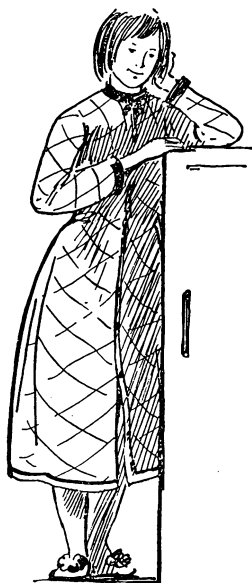
— Да нет, джинн.

— Так-так. А как его звали? Омар Юсуф ибн Хоттаб?

— Можешь себе представить — Ибрагим.

— Редкое имя для джиннов... А что-нибудь пооригинальнее ты не придумал?

— Можно и пооригинальнее. Во втором сне я в трубин-



ском лесу на бабу-ягу напоролся. Отгадал три ее загадки — между прочим, плевые, — она мне и говорит...

— «Будешь прыгать в высоту «по мастерам»... Понял. Третьего сна не было?»

— Был, — сказал Алик, наслаждаясь диалогом. — Будто я в воскресенье попал в мамин институт. А там Брыкин меня отловил, усадил в какое-то кресло, подвел датчики и перестроил мне это... как его... модуляционное биопсиполе в комутационной фазе «Омега».

— И ты стал прыгать в высоту «по мастерам»?

— Ну, это уж — факт.

Отец упал в кресло и захохотал. Он всегда долго хохотал, если его что-то сильно смешило, всхлипывал, повизгивал, хлопал в ладоши,

вытирал слезы. Мама сердито говорила, что смеется он крайне неинтеллигентно, но сама не выдерживала, начинала улыбаться: уж больно заразителен был «неинтеллигентный» смех отца.

Алик ждал, пока он отсмеется, сам похмыкивал. Наконец отец утомился, вытер слезы, спросил:

— А если серьезно? Тренировался?

Что ж, вчерашние прыжки в саду можно назвать тренировкой. Пойдем навстречу родителю-реалисту.

— Было дело.

— И прыгнул?

— И прыгнул.

— Я же говорил, что есть в тебе огромные потенциальные возможности, да только ленив ты до ужаса, ленив и нелюбопытен.

Алик отметил, что отец дословно повторил предполагаемую фразу. Отметил и похвалил себя за сообразительность и умение точно прогнозировать реакцию родителей. Это умение здорово помогает в жизни. Кто им не обладает, тот страдалец и мученик.

— Как видишь, я не только могу стихи писать...

Подставился по глупости, и отец тут же отреагировал.

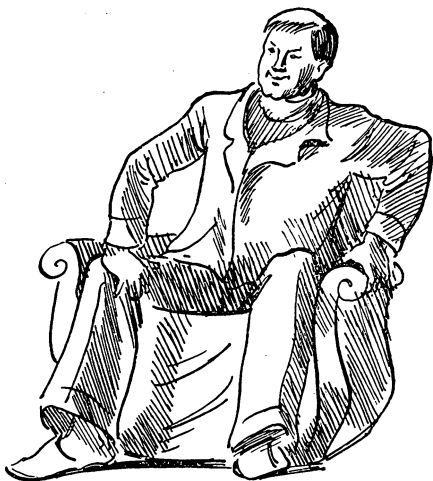
— Стихи, положим, ты не можешь писать, а только пробуешь. А вот прыгать... Скажи, метр семьдесят пять — это очень много?

Вот тебе раз! Восхищался, восхищался, а чем — не понял.

— Достаточно много для первого раза.

— Будет второй?

— И второй, и десятый, и сотый. Я всерьез решил заняться легкой атлетикой. Завтра в пять — тренировка Бим ждет



Отец снова вскочил и запечатлел на лбу сына поцелуй — видимо, благословил на подвиги.

— Если не отступишь, буду тобой гордиться, — торжественно объявил он.

— Не отступлю, — пообещал Алик.

Да и куда отступать? Сказал «а» — перебирай весь алфавит. Кроме того, глупо обладать талантом — пусть с неба свалившимся — и не пользоваться им. Как там говорится: не зарывай талант в землю.

## 8

Когда Алик подошел к школе, электрические часы на ее фронтоне показывали шестнадцать пятьдесят. До начала тренировки оставалось десять минут. Чуток подумал: прийти раньше — посчитают, что рвался на тренировку, как восторженный пацаненок; опоздать минуты на две, на три — рано записывать себя в мэтры. Пока размышлял, большая стрелка прыгнула на цифру одиннадцать.

Пробежал по холлу, где висели коллективные фотографии выпусков всех лет, красовалась мраморная доска с именами отличников, спустился по лестнице в подвал и... оказалось, что Бим уже выстроил в зале спортсменов. Наскоро переоделся, встал в дверях.

— Извините за опоздание, Борис Иванович.

Ребята бегали по залу, все время меняя ритм. Бим посмотрел на часы, крикнул:

— Резвее, резвее... — подошел к Алику. — Почему опоздал?

— Не понял: только прийти в пять или это — уже начало тренировки.

— Запомни на будущее: если я говорю — в пять, в три, в семь, значит, в это время — минута в минуту — ты должен стоять в строю. Идею уяснил?

— Уяснил.

— Все. Марш в строй!

Пробежавший мимо Фокин махнул рукой. Алик рванул за ним, пристроился сзади. Думал: зачем ненужная и выматывающая беготня, если он пришел сюда прыгать в высоту? А Бим, словно нарочно, покрикивает:

— Темп, темп... Радуга, нажми, еле ноги переставляешь.

Ясное дело: еле переставляет. Хорошо, что двигаться способен, впору — язык на плечо, брякнуться на маты где-нибудь в темном уголке и подышать вволю.

Фокин обернулся:

— Крепись, старикашка. Ничто не вечно под луной...

Каков орелик! Побегаешь так — поверишь, что и ты не вечен, несмотря на твои щенячьи пятнадцать лет.

А Бим знай шумит:

— А ну, еще кружочек... В максимальном темпе... Наддали, наддали... Радуга, не упади...

Смеются... Откуда у них силы смеяться? У Алика не было сил даже обидеться, свое уязвленное самолюбие потешить. Но именно оно не позволяло ему выйти из строя, плюнуть на все и умотать домой. Бежал, как и все. Помирал на ходу, но бежал. Сила воли плюс характер... Берите пример с Александра Радуги, не ошибетесь...

— А-атставить бег! — зычно командует Бим.

Наконец-то... Алик обессиленно плюхнулся на лавку: передохнуть бы. Как же, ждите!

— Радуга, почему расселся? Быстро в строй!

Вскочил как ужаленный, зашагал вместе со всеми. Подлый Фокин смеется, подмигивает. Подножку Фокину... Так тебе и надо, не будешь злорадничать.

— Радуга, прекратить хулиганство. На подножки силы есть, а на тренировку — извини-подвинься?

— Я нечаянно, Борис Иванович. С непривычки ноги заплетаются.



- А ты расплети, расплети. А я помогу
- Интересно — как поможет?
- Всем на корточки! Па-апрыгали!..

Ох, мука... А Бим-то, оказывается, садист, компрачикос, враг подрастающего поколения, достойной смены отцов. На что согодится поколение, которое еще в отрочестве отдало все силы, прыгая на корточках? Черт, икры будто и не свои... А негодяй Фокин коленкой норовит в зад пихнуть.

- Борис Иванович, Фокин ведет себя неспортивно.
- Фокин, води себя спортивно.
- Борис Иванович, я Радуге помогаю, подталкиваю, а он — неблагодарный...
- Радуга, разрешаю один раз тоже повести себя неспортивно.

Благородно со стороны Бима. Не будем торопиться, подловим моментик, отмстим неразумным хозарам. То бишь Фокину.

— Закончили прыжки. Сгруппировались у дверей... По трое, через зал — прыжками... Па-ашли!.. Левая нога, правая нога, левая нога, правая... Радуга, шире мах!..

Раз, два, левой, канареюшка жалобно поет...

— Следите за Радугой... Радуга, а ну-ка, сам, в одиночестве... Левая нога, правая нога, левая нога, правая... Вот такой шаг должен быть, а вы все ляжки бережете, натрудить боитесь. Начали снова... Левая нога, правая нога...

Алик прыгал и чувствовал нечто вроде гордости. Впервые в жизни его поставили в пример, и не где-нибудь — в физике там или в литературе — в спо-о-рте! Не фунт изюму, как утверждает отец. В свое время фраза показала элегантно-загадочной, начал вовсю шеголять, потом как-то наткнулся в словаре Даля: фунт — четыреста граммов; все сразу стало будничным и скучным.

- Радуга, о чем думаешь?
- О разном, Борис Иванович.
- То-то и плохо, что о разном. Думать надо о том, что делаешь. В данном случае — об упражнении. Отвлёкся — уменьшил шаг.

Вот тебе и раз! Алик до сих пор считал, что бег, прыжки или там плавание не требуют сосредоточенности. Оказывается, требуют, иначе ухудшаются результаты. Но зачем об этом знать ему, если он прыгает, так сказать, по доверенности: он — исполнитель, сколько надо, столько и преодо-

лел, и думать-то не о чем. Выходит, есть о чем, если Бим говорит: уменьшил шаг. Может, сие самих прыжков в высоту не касается? Проверим впоследствии...

— Стоп! Кончили упражнение. Три минуты — перерыв. Расслабились, походили... Не останавливаться, Радуга...

Никто и не останавливался. Алик ходил вдоль стены, чувствуя смертельную усталость. Почему-то саднило горло: глотаешь — как по наждачной бумаге идет. Ноги гудели, и покалывало в боку. Стоит ли ломаться ради полной показухи? — думал Алик. Ведь он и так прыгнет выше всех, кто пришел на тренировку, и выше Фокина раскрепасного. Ишь — вышагивает, дыхание восстанавливает... Алик попробовал походить, как Фокин, — вроде в горле помягче стало. И все-таки: зачем ему эта выматывающая тренировка? Плюнуть на все и — прыгать, как получается. А получиться должно, Алик свято уверовал в силу джинна, бабы-яги и брыкинского инверсора-конвергатора.

— Борис Иванович, частный вопрос можно?

— Валяй спрашивай.

— Может, я без тренировок прыгать буду?

— Без тренировок, парень, еще никто классным спортсменом не стал.

— А если я самородок?

— Любой самородок требует ювелирной обработки, слышал небось?

— А в Алмазном фонде лежат золотые самородки, и никакой ювелир им не требуется.

— Потому и лежат, Радуга. Камень и камень, только золотой. Как говорится, велика Федора... А вот коснется его рука мастера, сделает вещь, заиграет она, заискрит-ся, станет людям радость дарить. Это и есть искусство, Радуга. Так и в спорте, хотя аналогия, мягко говоря, натянутая... Идею уяснил?

— Уяснил.

А у Бима-то, оказывается, голова варит Ишь какую теорию развернул. Демагогия, конечно, но не без элeгантности. Пожалуй, Алик к нему был несправедлив, когда считал его «человеком мышцы вместо мысли». И мышцы налицо, и мысли наблюдаются. Что-то дальше будет?

А дальше придется ходить на тренировки. Бим — человек принципиальный, ему «лежачие самородки» не нужны. Выгонит из зала за милую душу, и останется Алик при своих волшебных способностях на бобах. Можно, конечно, явиться в Лужники, разыскать тренера сборной, упротить

его, чтобы посмотрел Алика. Не исключено — оценит, возьмет в команду. Только опять-таки тренироваться заставит. Талант — талантом, а труд — трудом. Не поверит же он в версию «бабы-яги»?

Ладно, придется стиснуть зубы и потерпеть — до той поры, пока признают. Станет знаменитым — начнет тренироваться «по индивидуальному плану». И пусть тогда попробуют вмешаться в этот «план», пусть сунутся...

— Закончили перерыв. Подготовить сектор для прыжков. — Бим засек время и ждал, пока вытащат маты, поставят стойки. — Быстрее надо работать, копаешься, как жуки... Вот что, ребяточки, в воскресенье — районные соревнования по легкой атлетике. Сейчас попрыгаем, посмотрим, кто из вас будет защищать честь школы. Контрольный норматив — метр шестьдесят. Идею уяснили?

Попрыгать — это дело душевное, можно и себя показать и к другим присмотреться. Прыгнул — передохнул, посидел...

А у Бима — иное мнение.

— Для разминочки установим высоту метр сорок и — пошли цепочкой через нее. Темп, темп, ребяточки...

Опять — двадцать пять! Бегом — к планке, перелететь через нее (высота — детская!), прокатиться по матам, бегом обратно, снова — к планке, снова — взлет, падение (больно падать: маты — не вата...), снова бегом...

— Резвее, резвее, Радуга, ты же — самородок, не отставай, в породе затеряешься...

Запомнил Бим, змей горыныч, не простил вопроса. Все-таки не любит он Алика, старается уколоть. Ничего, Алик ему покажет, что такое «модуляционное биопсиполе в четвертом измерении», дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток.

— Стоп! Закончили... Подготовиться к прыжкам.

А как готовиться? Как Фокин: приседая, с вытянутыми руками. Сил нет. Лучше посидеть, расслабиться... Ох, до чего же приятно...

Бим пошел к планке, проверил рейкой высоту

— Итак, метр шестьдесят. Начали!

Кто прыгнет? Фокин. Соловьев из девятого «б» Двое парней — тоже из девятого. Алик был незнаком с ними, видел на переменках, но даже не здоровался. Двое — из седьмого, «олимпийские надежды».

Высоту все взяли с первой попытки, семиклашки тоже. Поставили метр шестьдесят пять. Все взяли, семиклашки

завалились. Один, что подлиннее, со второй попытки перемахнул. Другой не сумел. Пошел на третью попытку — опять сбил планку.

— Отдохни, Верхов,— сказал ему Бим.

Фамилия — Верхов, а верхов взять не может. Сменить ему за это фамилию на Низов.

Метр семьдесят. Фокин — с первой попытки, Радуга, Соловьев — тоже. Двое девятиклассников прыгали трижды, один — взял, другой — отпал. Семиклашка тоже сдался. Гроссмейстерская высота!

Метр семьдесят пять. Фокин — вторая попытка. Соловьев — третья. Радуга — из тактических соображений — вторая. Безымянный девятиклассник — побоку.

— Прекратим на этом,— сказал Бим.

— Борис Иванович, давайте еще...— взмолился Фокин.

— Успеешь, Фокин, напрыгаться. Объявляю результаты. От нашей школы в команду прыгунов включаю Радугу, Соловьева и Фокина. Думаю, что на соревнованиях наши шансы будут неплохими. Метр восемьдесят — метр восемьдесят пять: надо рассчитывать на такую высоту. Фокин и Соловьев вполне ее могут осилить. Ну, а тебе, Радуга, задача: для первого раза попасть в командный зачет.

«Невысоко ж ты меня ценишь»,— подумал Алик и спросил не без ехидства:

— А если я в личном выиграю, что тогда?

— Честь тебе и слава.

— Думаете, не сумею?

— Не думаю, Радуга. Все от тебя зависит. Пока нет у тебя соревновательного опыта — ну, да это дело наживное. Не гони картину, Радуга, твои рекорды — впереди.

Спасибо, утешил. Алик и без него знал все о своих рекордах. Можно, конечно, выждать, не рыпаться сразу, уступить первенство на этих соревнованиях кому-нибудь — тому же Фокину, лучшему другу. Но снисходительная фраза Бима подстегнула Алика. Сам бы он сказал так: появилась хорошая спортивная злость. Какая она ни хорошая, а злость компромиссов не признает. Нет соревновательного опыта? Он и не нужен. Будут вам рекорды, Борис Иванович Мухин, будут значительно раньше, чем вы ждете, если ждете их вообще от нескладного и нахального (по вашему мнению) парня, которого вы вчера еще и за человека-то не держали.

Шли с Фокиным домой, купили мороженое за семь копеек в картонном стаканчике — фруктовое, лучшее в мире.

Фокин сказал невнятно, не выпуская изо рта деревянной лопатки-ложки:

— Ты на Бима не обижайся.

Получилось: кы на кина не окикася. Алику не впервой, понял.

— За что? — он сыграл недоумение, хотя прекрасно знал, что имел в виду Сашка Фокин.

Фокин доскреб палочкой остатки розовой жижицы, проглотил, причмокнул, с сожалением выбросил стаканчик в урну.

— Ну, Бим сказал: командный зачет. Это он в порядке воспитания, ты ж понимаешь.

Алик пожал плечами, помолчал малость, но не стерпел все-таки:

— А воспитывать меня поздновато. Да еще таким макарон. Человек, брат Фокин, любит, чтобы его хвалили. У него от этого появляется стимул еще лучше работать, учиться или там прыгать-бегать.

— Не у всякого появляется. Кое-кто нос задерет...

— Но не я, брат Фокин, не я, не так ли?

— Черт тебя разберет, Алька, — в сердцах сказал Фокин. — Мы с тобой два года дружим, как ты в нашу школу поступил. И до сих пор я тебя до конца не раскусил.

Алику польстила откровенность друга. Выходило, что он, Алик Радуга, личность загадочная, неясная, местами демоническая. Но для приличия решил отменить сомнения.

— Не такой уж я сложный. Парень как парень. И оттого, что прыгаю чуть лучше других, нос задирать не буду. Не в том счастье, Сашка... Вот ты спортом всерьез занимаешься. А зачем?

— Как зачем? — не понял Фокин.

— Очень просто. Хочешь стать чемпионом? В тренеры готовишься? В институт физкультуры двинешь?

— Ты же знаешь, что нет.

— Верно, ты на физтех пойдешь, у тебя физика — наиглавнейшая наука. Тогда зачем ты нервы в спортзале тратишь?

Фокин усмехнулся. Сейчас он чувствовал себя намного мудрее друга, который — хоть и считает себя гигантом мысли — вопросы задает наивные и нелепые.

— Если бы я нервы тратил, бросил бы спорт. Я, Алька, ради удовольствия над планкой сигаю, о чемпионстве не думаю. Да и возможности свои знаю: не чемпионские они.

— С чего ты так решил?

— Посуди сам. Знаменитый Джон Томас в шестнадцать лет прыгал на два метра и два сантиметра. Какую высоту он брал в пятнадцать — не знаю, не нашел данных, но, думаю, не меньше ста девяноста пяти. Мне пятнадцать. Мой потолок сегодня — сто восемьдесят. Ну, одолею я через пару лет двухметровый рубеж — что с того? А ведь Томас давно прыгал, сейчас планка заметно поднялась...

Алику захотелось утешить друга.

— Неужели среди чемпионов не было таких, которые «распрыгались» не сразу, не с пеленок?

— Были. Брумель, например. В наши пятнадцать он брал только сто семьдесят пять, и всерьез в него мало кто верил.

— Вот видишь. А ты, дурочка, боялась.

— Так то Брумель, Алька...

— А чем хуже Фокин?

Он только рассмеялся, но без обиды — весело, легко, спросил неожиданно:

— В кино смотаемся? В «Повторном» «Трех мушкетеров» крутят.

— Идет,— сказал Алик.

И они пошли на «Трех мушкетеров», где обаятельный д'Артаньян показывал чудеса современного пятиборья: фехтовал, стрелял, скакал на лихом коне, бегал кроссовые маршруты. Только не плавал. И чемпионские лавры его тоже не прельщали, он искал первенства на дворцовом паркете и мостовых Парижа.

Алик смотрел фильм в третий раз (если не в пятый), но мысли его были далеко от блистательных походов бравого шевалье. Алик считал, прикидывал, сравнивал.

Джон Томас — сто девяносто пять. Вероятно, нынешние чемпионы в свои пятнадцать лет прыгали метра на два — не меньше. Что ж, чтобы не шокировать почтеннейшую публику, установим себе временный предел: два метра пять сантиметров. С таким показателем ни один тренер мимо не пройдет. Другой вопрос: сумеет ли Алик преодолеть двухметровую высоту? Он надеялся, что сумеет, верил в надежность вещей снов. Пока они его не подводили. Да и он не подвел своих «дароносцев»: никого не обманул «ни намеренно, ни нечаянно, ни по злобе, ни по глупости». И условие это сейчас казалось Радуге нехитрым и легким: зря он его опасался.

До стадиона Алик добрался на троллейбусе, закинул за плечи отцовскую «командировочную» сумку, поспешил к воротам, над которыми был вывешен красный полотняный транспарант: «Привет участникам школьной олимпиады!»

«Стало быть, я — олимпиец, — весело подумал Алик. — Это вдохновляет. Вперед и выше».

Взволнованный Бим пасся у входа в раздевалку под трибунами, мерил шагами бетонный створ ворот, поглядывал на часы.

— Явился, — сказал он, увидев Алика.

— Не буду отрицать очевидное, — подтвердил Алик, спустил на землю сумку.

Бим тяжело вздохнул, посмотрел на Алика, как на безнадежно больного: диагноз непреложен, спасения нет.

— Язва ты, Радуга. Жить тебе будет трудно... — счел на этом воспитательный процесс законченным, спросил деловито: — Ты в шиповках когда-нибудь прыгал?

— Борис Иванович, я не знаю, с чем это едят.

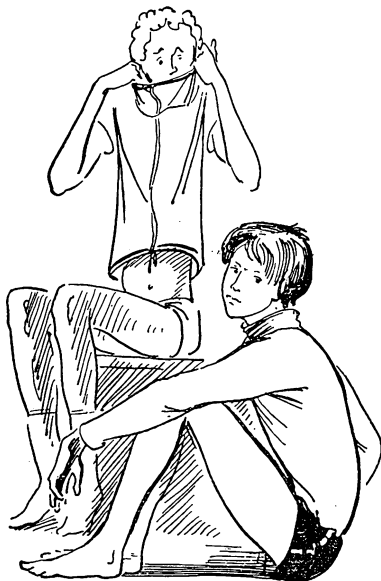
— Плохо. — Бим задумался. — Ладно, прыгай в обычных тапочках. Результат будет похуже, да только неизвестно: сумеешь ли ты с первого раза шиповки обуздать? Не стоит и рисковать...

— А что, в шиповках выше прыгается? — заинтересовался Алик.

— Повыше. Ничего, потом освоишь спортивную обувь. Иди переодевайся и — на парад.

Форма школы: белые майки, синие трусы с белыми лампасами. Алик вообще-то предпочитал красный цвет: с детства за «Спартак» болел. Но ничего не поделаешь: Бим в свое время стрелял по «бегущему кабану» за команду «Динамо», отсюда — пристрастие к бело-синему...

Прошли неровным строем вдоль полупустых трибун, где пестрыми островками группировались болельщики — папы, мамы, бабушки, школьные приятели и скромные «дамы сердца», приглашенные разделить триумф или позор начинающих рыцарей «королевы спорта». Родители Алика тоже рвались на стадион, но сын был тверд. «Через мой труп», — сказал он. «Почему ты не хочешь, чтобы мы насладились грядущей победой? — спросил отец. — Боишься, что мы ослепнем в лучах твоей славы?» — «А вдруг поражение? — подыграл ему Алик. — Я не хочу



стать причиной ваших инфарктов».

Короче, не пустил родителей «поболеть».

— И правильно сделал,— поддержал его Фокин.— Я своим тоже воли не даю. Начнутся ахи, охи — спасу нет...

Постояли перед центральной трибуной, выслушали речь какого-то толстячка в белой кепке, который говорил о «сильных духом и телом» и о том, что на «спортивную смену смотрит весь район». Под невидимыми взглядами «всего района» было зябко. Набежали мелкие облака, скрыли солнце. Время от времени

оно выглядывало, посматривало на затянувшуюся церемонию. Наконец избранные отличник и отличница подняли на шесте флаг соревнований, и он забился на ветру, захлопал.

— Трудно прыгать будет,— сказал Фокин.

— Почему? — не понял Алик.

— Ветер.

— Слабый до умеренного?

— Порывистый до сильного.

— Одолеем,— не усомнился Алик.

— Твоими бы устами... — протянул осторожный Фокин.

Он надел тренировочные брюки и куртку, медленно-медленно побежал по зеленой травке футбольного поля вдоль края. Алик тоже «утеплился» — слышал, что нельзя выстуживать мышцы. С трудом преодолевая четкое желание посидеть где-нибудь «в теплышке», последовал за Фокиным: если уж держать марку, так до конца. Посмеивался: Бим сейчас зрит эту картину и радуется — был у него лодырь Радуга, стал Радуга-труженик, отрада сердцу тренера.

Впрочем, долго «отрадой» побыть не удалось. Фокин досеменил до сектора для прыжков, притормозил у длин-



ного ряда алюминиевых раскладных стульев, именуемых в просторечии «дачной мебелью».

— Садись, Радуга.

— А разминка? — спросил удивленный Алик.

— Береги силы.

— Ну уж дудки, — возмутился Алик. Как так: он с Фокина берет положительный пример, тянется за лидером, а лидер — в кусты?

Отошел Алик в сторонку, начал приседать. Потом к наклонам перешел. Видит: кое-кто из прыгунов тоже разминается. Кое-кто, как Фокин, силы бережет. Нет в товарищах согласия. Поодаль за алюминиевым столом судейская коллегия расположилась. Две женщины и Бим. Еще два парня, по виду — десятиклассники, у стоек колдуют, начальную высоту устанавливают. Положили планку, на картонном табло цифры умостили: один метр шестьдесят сантиметров. Сакраментальная высота!..

На старте бега судья из пистолета выстрелил — понесли шестеро, отмахали сто метров. Предварительные забеги. В секторе для метания ядра о землю бухают.

— Начали и мы, — сказал Бим.

На груди у Алика пришит номер — седьмой. У Фокина — шестой. У Соловьева, соответственно, — пятый. Все го участников — Алик посчитал — двадцать три.

Фокин и Соловьев — в шиповках, Алик — в полукедах. Посмотрел по сторонам: ага, не один он такой сиротка, есть и еще «полукедники». Все они, ясное дело, считаются резервом главных сил — набраны для полного комплекта. «А вот мы покажем им полный комплект», — злорадно решил Алик, не зная, впрочем, кому это «им» собирается показывать.

Прыгнули. Мама родная, сразу девять человек отсеялось, метр шестьдесят одолеть не смогли. И даже один в шиповках все три попытки смазал, наобнимался с планкой. А трое «полукедников», напротив, остались, включая Алика. Алик невольно начал болеть за свой «антишиповочный клан». Кто в нем? Один — рыжий, длинный, рукасто-ногастый, на чем только майка держится. Дал ему Алик — про себя, разумеется, — прозвище «Вешалка». Второй — тоже не лилипут, но поменьше Вешалки, крепыш в красной майке — «Спартаковец».

Десятиклассники повозились у стоек, приладили картонки: метр шестьдесят пять. Еще трое «сошли с круга». Вешалка и Спартаковец продолжают соревнования, хоро-

шо. Правда, Спартаковец три попытки использовал, чтобы планку укротить.

— Кто такие? — спросил про них Алик у Фокина.

— Первый раз вижу, — презрительно ответил Фокин, опытный волк районных соревнований, знающий в лицо всех основных конкурентов.

Значит — не конкуренты. Но, тем не менее, прыгают. Вешалка метр семьдесят с первой попытки взял. А Спартаковец не сумел, завалил планку. Будь здоров, Спартаковец, не поминай лихом...

Метр семьдесят пять — уже серьезный рубеж. Прыгают восемь человек. Бим за столом, вероятно, рад до ужаса: вся его команда уцелела, не споткнулась ни об одну высоту. А кстати: имеет ли Бим право судить соревнования, если в них участвуют его питомцы?

Алик спросил об этом у многоопытного Фокина.

— Не имеет, но пусть тебя это не волнует, — объяснил многоопытный Фокин. — Да здесь все такие: преподаватели физкультуры из разных школ. Кто бег судит, кто метания. А ученики соревнуются.

— Семейственность развели, — проворчал Алик.

— Попадешь на городские соревнования, такого не увидишь. Там — уровень!

Алик кивнул согласно, будто проблемы попасть на городские соревнования для него не существовало. И вправду не существовало...

Вероятно, там и стадион будет получше, и обстановка поторжественней. И попадут туда только самые сильные, самые талантливые — элита! И среди них — Александр Радуга, надежда отечественного спорта...

Размечтался и — свалил планку. Прав Бим, нельзя отвлекаться от дела. Спокойнее, Алик, сосредоточься... Вон она, милая, застыла в синем небе, чуть-чуть облако дальним концом не прокалывает. Высота!.. Пошел на нее, толкнулся левой, перенес послушное тело — сделано!

— Ну, ты меня испугал, старичок, — сказал Фокин.

— Бывает.

— Чтоб не было больше.

— Есть, генерал!

Больше не будет. Надо поставить за правило: любую высоту — с первой попытки. Не думать ни о чем постороннем, не отвлекаться. Есть цель — звенящая планка над головой. Есть и другая цель — подальше, побольше... Не будем о ней.

Бим за судейским столом даже не смотрел в сторону своих учеников, что-то чертил на листе бумаги. Характер показывал. Холодность и беспристрастность. Валька Соловьев развалился на стуле, вытянул ноги, закрыл глаза, руки на груди скрестил, и будто бы ничего его не касается — ни накал борьбы, ни страсти на трибунах. Завидная выдержка. Алик подумал, что такой стиль поведения можно и перенять без стеснения: и сам отдыхаешь, «выключаешься», и на соперников твое спокойствие влияет не лучшим образом.

Метр восемьдесят. Шестеро в секторе. Соловьев, Фокин, Радуга. Еще двое и... Вешалка. Вот вам и резерв главных сил. Молодец, «полукедник»!

Первый — Соловьев. Пошел на планку, сначала — шагом, потом все быстрее, толчок... Лежал, смотрел вверх. Планка, задетая ногой, дрожала на кронштейнах, позванивала — удержится ли? Нет, свалилась — то ли ветерок подул, то ли добил-таки ее Соловьев. Он встал, невозмутимо подошел к стулу, натянул штаны, куртку, сел, закрыл глаза — ждал второй попытки.

Очередь Фокина. Разбежался... Есть высота? Подлая планка опять дрожит... Устоит? Устояла!

— «Облизал» планочку,— сказал кто-то позади Алика. Он обернулся: Вешалка.

— Что значит «облизал»?

— На одной технике прыгнул. Больше не возьмет.

— Сначала сам прыгни, потом каркай.

— Я-то прыгну. Сейчас твоя очередь.

Обозлившийся за друга Алик время не тянул, не ломал комедии. Быстренько преодолел высоту, даже, кажется, с запасом. Проходя мимо судейского столика, наклонился к Биму.

— Борис Иванович, кто этот парень? Рыжий, длинный, под пятнадцатым номером...

Бим ответил шепотом: неудобно судье с участником на посторонние темы разговаривать.

— Пашенко. Сильный спортсмен. Чемпион Краснопресненского района.

— Чего же он в нашем районе делает?

— Переехал с родителями. Теперь у Киевского вокзала живет.

Алик вернулся на место, сказал Фокину:

— Плохо конкурентов знаешь. Этот рыжий — чемпион.

— Фамилия? — Фокин был лаконичен. Видно, строил его последний прыжок.

— Пашенко. Слышал?

— Приходилось. Он же из другого района?

— Переехал.

— Понятно. Ты не отвлекайся и меня не отвлекай, — сел, уставился на сектор. А там как раз Пашенко готовился.

Не хочет Фокин разговаривать — не надо. Обиделся Алик. Как и Валька Соловьев, натянул тренировочный костюм, уселся, закрыв глаза: черт с ним, с Пашенко, пусть прыгает. Однако не утерпел, приоткрыл один глаз — щелочкой. Вешалка зачастил в своих полукедах-скакалках, каждый шаг — километр, прыгнул — планка не шелохнулась. И верно — ас. Ишь вышагивает, оглобля рыжая...

— А почему он не в шиповках? — забыв об обиде, спросил Алик.

— Значит, так ему удобнее.

«Может, и мне так удобнее? — подумал Алик. — В шиповках я, чего доброго, и прыгать-то разучусь...»

Соловьев так и не взял метр восемьдесят — ни со второй, ни с третьей попытки. Невозмутимо оделся, сунул туфли в спортивную сумку с белой надписью «Адидас» — чемпион! — ушел, не попрощавшись.

— Не заладилось у него сегодня, — сказал Фокин, будто извиняясь за невежливость коллеги. — Случается такое, имей в виду.

«Ну уж фигушки, — решил Алик, — если я еще от нервов зависеть буду, от погоды или от настроения родителей, то к чему вся эта волынка с даром? Прыгать так прыгать, а переживать другим придется...»

Установили метр восемьдесят пять. В секторе — уже четверо. Фокин побежал — сбил. Бим Алику машет: твоя, мол, очередь.

И тут Алик принял неожиданное — даже для себя — решение. А может, повлияло на него поведение заносчивого Пашенко, проучить чемпиона вздумал.

Встал, крикнул судьям:

— Пропускаю высоту!

И, ликуя, поймал изумленный взгляд Вешалки.

Бим вылез из-за стола, направился к Алику.

— Подумал, что делаешь? — даже голос от негодования дрожит.

— Подумал, Борис Иванович.— Алик — сама смиренность.— Я и так уже в зачет попал. Возьму я или нет эту высоту — бабушка надвое сказала. А рыжий пусть поволнуется.

Бим усмехнулся.

— Твое дело.

— Конечно, мое, Борис Иванович.— Это чтобы последнее слово за ним было, не любил Алик в «промолчавших» оставаться.

Так и есть, верная политика: сбил Вешалка планку. Побежал по футбольному полю — разминается, готовит себя ко второй попытке. А Алик ноги вытянул, руки скрестил, глаза зажмурил. Как раз солнышко выглянуло — тепло, хорошо. Прыгайте, граждане, себе на здоровье, тренерам на радость.

Решил проверить волю: пока все не отпрыгают на этой высоте, глаз не открывать. Мучился, но терпел.

— Опять пропустишь?

Открыл глаза: Вешалка рядом стоит, посмеивается. А в секторе следующую высоту устанавливают: метр девяносто.

— Кто остался?

— Ты да я, да мы с тобой.

— Годится.

— Ну, держись.

— И ты не упади.— Опять последнее слово за Аликом.

Взглянул на Бима. Тот выглядел явно расстроенным, хотя судье и не пристало показывать эмоции. Рано рыдает, Борис Иванович, еще не вечер. Фокин молчит, амуницию свою собирает. Тоже считает, что Радуга подвел команду. Если бы взял предыдущую высоту — поделил бы первенство с Пашенко. А так — Пашенко на коне, а Радуга, выходит, сбоку бежит, за стремя держится. Да только не знает милый Фокин, лучший друг, что у Алика есть некий волшебный дар, а у Вешалки его и в помине нет.

— Ты на всякий случай имей в виду, что Пашенко — кандидат в юношескую сборную страны,— сказал Фокин, не поднимая головы от сумки, сосредоточенно роясь в ней.

— Ну и что?

— Ну и ничего.

То-то и оно, что ничего. Был Пашенко кандидат, станет Радуга кандидатом. А пугать товарища накануне ответственного прыжка негоже. У товарища тоже нервы есть.

С первой попытки высоту брать или чуток поиграть с

Вешалкой? Решил: с первой. Не стоит мучить Бима и Фокина.

Разбежался, сильно оттолкнулся и — словно что-то приподняло Алика в воздух, перенесло над планкой: в самом деле волшебная сила! Упал на маты, поглядел вверх: не шелохнется легкая трубка, лежит, как приклеенная.

Аплодисменты на трибунах. Интересно, кому? Вскочил, понесся, высоко подняв руки, как настоящий чемпион — видел такое в кинохронике, по телеку. А стадион аплодирует, орет. Фокин сбоку вынырнул — куда обида делась? — обнял, зажал лапищами.

— Сломаешь, медведь... погоди, еще рыжий не прыгал.

Рыжий потоптался на старте, пошел на планку... Нет, звенит она, катится по земле.

— Сломался соперник, — заявил Фокин.

— У него еще две попытки.

— Поверь моему опыту, вижу.

И Бим улыбается во весь рот, опять забыв о своей должности. Не рано ли?

Нет, не рано. И во второй раз планка летит на маты. Рыжий подошел к судьям, что-то сказал. Бим встал, объявил:

— Пашенко, пятнадцатый номер, от третьей попытки отказывается. Соревнования закончены.

— Подождите. — Алик сорвался с места. — Я еще хочу.

— Может, хватит? — с сомнением спросил Бим.

— Почему хватит? — в разговор вступил какой-то мужчина в тренировочном костюме, куртка расстегнута, под ней — красная водолазка, а сверху секундомер болтается. Алик до сих пор его не замечал, видно, недавно подошел. — Участник имеет право заказать следующую высоту.

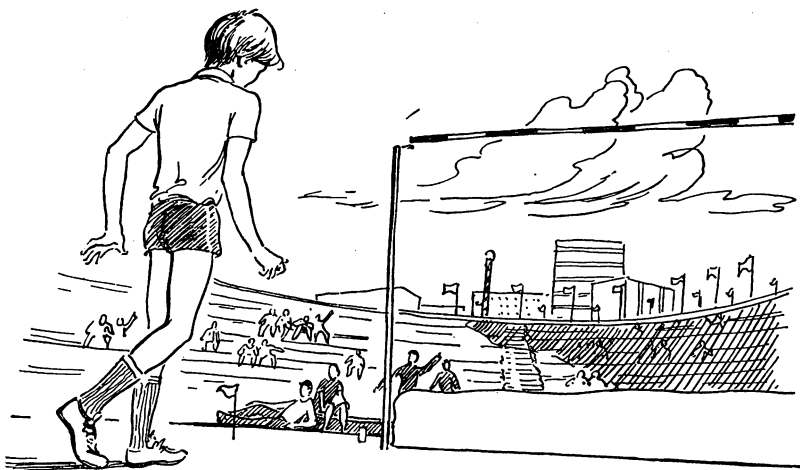
— Факт, имею, — подтвердил Алик.

— А возьмешь? — улыбнулся мужчина.

— Постараюсь, — вежливо ответил Алик.

Стадион замер. Даже метатели к сектору для прыжков подтянулись, стояли, держа в могучих пятернях литые ядра. Судьи с других видов тоже здесь собрались: соревнования подошли к концу, один Алик остался. Скажешь отцу — не поверит, опять придется к свидетельству Фокина взывать.

Давай, Алик. Сосредоточься, построай в воображении



крутую траекторию, нарисуй в воздухе гипотетическую кривую — уравнение прыжка. Икс равен ста девяносто пяти сантиметрам...

Пошел, как выстрелили... Рраз и — на матах! Ах, ты, черт, задел планку второпях... Ну, подержись, подержись, родная... Стадион молчит, замер — тоже ждет... Лежит, лежит голубушка... Наша взяла!

Что тут началось! Фокин с матов встать не дал, прыгнул сверху, навалился, норовит поцеловать, псих ненормальный. Еле выбрался Алик, соскочил на землю, а тут Бим навстречу:

- Поздравляю, Радуга.
- Не ожидали, Борис Иванович?
- Честно — не ожидал.
- А я знал точно: буду первым. Всегда первым буду!
- Не торопись, Радуга.
- Наоборот, Борис Иванович, поспешать надо.
- Парень верно говорит: поспешать надо...

А это кто такой в разговор встрял? Тот же мужик в красной водолазке. Ему-то что за дело?

— Давай познакомимся. Тебя Александром зовут? Значит, тезки. Я — Александр Ильич. Тренер юношеской сборной по легкой атлетике. Давно прыжками занимаешься?

Держитесь, Александр Ильич, не падайте...

— Уже неделю.

И глазом не повел. Решил, что шутит Алик — пусть глупо, но что не простишь новому чемпиону района?

— Солидный срок. На каникулы куда собираешься?

— На дачу, наверно.

— А может, к нам, на сборы?

— Не знаю...

— Подумай. Я еще о себе напому.

И ушел, помахивая секундомером на длинной цепочке. Пообещал конфетку и скрылся. Интересно, не забудет?

— Ну, Радуга, считай, повезло тебе,— сказал Бим.

— А ему?

— Не знаю,— засмеялся Бим. Он уже перестал обращать внимание на мальчишескую задиристость Алика.— Ему, надеюсь, тоже... Давай, давай, пьедестал почета ждет чемпиона, на самом верху стоять будешь.

И началось награждение победителей.

## 10

Когда награждали, вручали хрустящую грамоту со множеством витиеватых подписей, а также звонкий будильник, красивый будильник в полированном деревянном футляре, когда по-взрослому жали руку и поздравляли с победой, не до того было.

А потом вспомнил.

Бим подошел, по плечу похлопал, сказал:

— Так держать, Радуга.

А Сашку Фокина, занявшего третье место, обнял за плечи, увел в сторону, и они долго сидели прямо на траве, на футбольном поле, о чем-то говорили. Бим блокнот вытаскивал, рисовал в нем какие-то штуки. Так долго сидели, что Алик не стал дожидаться Фокина, переоделся, влез в троллейбус и прибыл домой — с победой.

Все было, как положено: ахи, охи, кило сомнений и тонна восторгов, обед в столовой, а не в кухне, сервиз парадный, «гостевой», скатерть крахмальная, отец по случаю победы от сухого вина не отказался, и Алику домашней наливочки из летних запасов предложили, но он-то — спортсмен, чемпион, «режимник», сила воли плюс характер — отверг с негодованием нескромное предложение.

Как сказал поэт: «Радость прет, не для вас уделить ли нам? Жизнь прекрасна и удивительна...»

Все так, но точил червячок, портил праздничное наст-



роение: чем он, Алик Радуга, Биму не угодил? Выиграл первенство — слава Б. И. Мухину, воспитавшему чемпиона. Но Б. И. Мухин — человек честный, не нужна ему чужая слава, не воспитывал он феноменального Радугу. Но тогда можно просто порадоваться за ученика, который еще вчера был бездарь бездарем, но переломил себя, не прошел ему даром горький урок, преподанный Б. И. Мухиным, талантливым педагогом — куда там Макаренко... Ах, не урок это был, не ставил Б. И. Мухин никаких далеко идущих целей, выгоняя Радугу из зала и обещая ему твердую «четверку» за год: переполнилась чаша терпения Б. И. Мухина, и сорвал он злость на нерадивом ученике. И не надо вешать на него тяжкие лавры великого педагога, оставьте Б. И. Мухина таким, какой он есть: бывший спортсмен, волею судьбы пришедший в школьный спортзал, любящий тех, кто любит спорт, и не любящий тех, кто, соответственно, спорт не любит.

Пусть так. Но ведь человек же он — этот загадочный Б. И. Мухин, есть у него сердце, душа! Должен же он понять, что пареньку, впервые вкусившему сладость победы, впервые узнавшему, что спорт может быть не в тягость, а в радость, этому до чертиков счастливому пареньку очень нужна похвала того, кто всегда ругал его, смеялся над ним.

А вдруг Бим просто не верит в победу Алика?

Как так не верит? Вот же она, победа, ясная для всех, убедительная, осязаемая, можно потрогать, понюхать, в руках подержать — весомая! Но не похож ли Бим на тех скептиков, что некогда смотрели в телескоп Галилея, вежливо поддакивали старику и уходили, убежденные в реальном существовании слонов, китов и черепахи, на коих покоится их мир? Их, а не Галилея.

Сравнение натянуто? Смещены масштабы? Ничего, в несоответствии масштабов — наглядность сравнения. Ведь воскликнул же кто-то из древних: «Умом приемлю, а сердце протестует!» Воскликнул так и был по-своему прав. По-своему...

И Бим по-своему прав, если влезть в его шкуру. Что такое — преподаватель физкультуры? Одна из самых неблагодарных профессий. Очень многие всерьез считают — даже учителя! — что физкультурнику и делать-то в школе нечего. Подумаешь, занятие: помахал руками, попрыгал, побегал.

Но ведь «помахать, побегать, попрыгать» — для этого

педагогом быть не надо. Такого учителя и не запомнить. А Фокин Бима явно запомнит, хотя и не станет спортсменом. Запомнит как педагога, а не «учительскую единицу», потому что сумел Бим что-то расшевелить в Фокине, стать ему близким человеком, с которым можно и горем поделиться, и радостью. Как они на поле устроились — голубки!

И Вальке Соловьеву Бим на всю жизнь запомнится, и Гулевых, и Торчинскому. Смешно сказать, но и для Алика Бим — не просто «один из преподавательской массы». В конце концов, хотел того Бим или нет, а вещие сны пришли к Алику как раз после того — наипечальнейшего! — урока. А вот Алик для Бима по-прежнему — «один из...». И все его спортивные доблести — мимо, мимо, Фокинское третье место Биму дороже.

Что ж, наплевать и забыть?

Наплевать, но не забыть. Кто для кого существует: Бим для Алика или Алик для Бима? Факт: Бим для Алика.

Подумал так Алик и застыдился. Никто ни для кого не существует, каждый сам по себе живет. И ничего-то Бим ему не должен. А коли случай представится, Алик вспомнит, что именно Борис Иванович Мухин привел его в Большой Спорт. В переносном смысле, конечно, не за ручку...

Решил так и успокоился. Вздумал пойти погулять. Воскресенье, день жаркий, к неге располагающий. Наверняка кто-то из знакомых во дворе шляется, на набережной лавочки полирует, гитару мучает.

Вышел во двор — Дашка Строганова навстречу плывет. Узкая юбка, на батнике — газетные полосы нарисованы, волосы распущены, легкий ветерок поднимает их, бросает на плечи. Гриновская Ассоль.

— Далеко собрался? — спрашивает.

Вот она — суевренная вежливость: не «куда», а «далеко ли», ибо «закудыкивать» дорогу почему-то не полагается. Тысячелетний опыт предков о том говорит. Вздор, конечно...

— Куда глаза глядят, — сказал Алик, да еще и ударение над «куда» поставил.

— Я слышала, тебя можно поздравить?

— Можно.

— От души поздравляю.

Ах, ах, «от души». Бывает еще — «от сердца». Или — «искренне». Как будто кто-то признается в «неискреннем поздравлении»...

— Спасибочки.

— А чем тебя наградили?

Обычная женская меркантильность — не больше. Говорит: «от души», а душа ее жаждет золота. Прямо-таки алкает...

— Должен огорчить вас, Дарья Андреевна, золотого кубка не дали. Вручили будильник на шашнадцати камнях, деревянный, резной, цена доступная.

— А за второе место?

— Автомобиль «Волга» с прицепом. Владелец живет у Киевского вокзала, но он тебе не понравится.

— Почему?

— Худ, рыж, самоуверен.

— Ты тоже не из робких.

— Я — другое дело.

— Что так?

— Ты в меня влюбилась без памяти.

Фыркнула как кошка — только спину мостом не выгнула, глаза сузила, сказала зло:

— Дурак ты, Радуга! На себя оглянись...

«Дурак» — это уже было, отметил Алик. И еще отметил, что и тогда, и теперь Дашка, кажется, права. Неумное поведение — прямое следствие смятения чувств. А чего бы им, болезным, метаться? Уж не сам ли ты, Алик, неравнодушен к юной Ассоль с Кутузовского проспекта? Способность трезво оценивать собственные поступки Алик считал одним из своих немногочисленных достоинств. Похоже, что и вправду неравнодушен. А посему не надо вовсе показывать это, бросаться в нелепые крайности. Ровное вежливое поведение — вот лучший метод.

— Прости меня, Даша, сам не ведаю, что несу.

Простила. Заулыбалась.

— Погуляем?

Ох, увидят ребята — пойдут разговоры, шутки всякие из древнего цикла «тили-тили тесто». Ну и пусть идут. У каждого чемпиона должны быть поклонницы. Они носят за ним цветы, встречают у ворот стадиона, пишут умильные записки, звонят по телефону и молча дышат в трубку.

— Погуляем.

Двинулись вдоль газона, провожаемые любопытными взглядами пенсионеров — местных чемпионов по домино, их досужих болельщиц, восседающих на скамье у подъезда. По странному стечению обстоятельств среди них не присутствовала мама Анна Николаевна. Уж она бы «погу-

ляла» своей дочечке, уж она бы ей позволила беседовать с «нахалом и грубияном» из ранних... А, впрочем, почему бы и нет? Времена меняются. Был Алик для мамы Анны Николаевны персоной «нон грата», стал — вполне «грата». Одно слово — чемпион. Завидное знакомство...

— Что-то твоей мамы не видно. Ей, кажется, прогулки прописали?

— У нее сердце больное, верно. Они с папой на дачу поехали, там воздух дивный. Никаких канцерогенов.

Эрудиция — болезнь века. Гриновская Ассоль слова «канцерогены» не знала. А Дашка знает. Но зато Дашка не знает, как пахнет мокрая сеть, брошенная на морской берег; как прозрачен рассвет, заглянувший в иллюминатор каюты; как опасен свежак, задувший с моря. Показать бы ей все это, забыла бы она о «канцерогенах»... Но, если честно, Алик и сам не тащил в шаланду полную скумбрии сеть, не встречал рассвет на палубе гриновского «Секрета», не подставлял хилую грудь крепкому черноморскому свежаку. Он вообще ни разу не был на море, а вся романтика его школьной поэзии родилась из книг, которых к своим пятнадцати годам он прочел уйму — тонны две, по мнению мамы. Но у романтики не принято спрашивать «паспортные данные». Да и какая разница, где она родилась, если чувствовал себя Алик опытным, пожившим, усталым человеком, и чувство это было ему отраднo, потому что шла рядом прекрасная девушка, добрая девушка, лучшая девушка класса, и майский вечер был сиренев и душен, и Москва-река внизу чудилась Амазонкой или, на худой конец, Миссисипи в ее девственных верховьях.

— Ты знаешь,— сказала Дашка,— мама как-то показывала твои стихи одному писателю — он к ним в министерство приходил, просил о чем-то,— и писатель сказал, что из тебя может получиться настоящий поэт.

— Какие стихи? — быстро спросил Алик. Мнение писателя было ему безразличным.

— Про Зурбаган.

— Откуда они у твоей мамы?

— Они же были в нашей стенгазете в прошлом году. Ну, я их и переписала...

Вот тебе и раз!.. Сразу два шоковых момента. Первый: Дашка переписала стих. А Алик ее считал абсолютно глухой к поэзии. К его, Алика, тем более. Второй: Дашкина маман показывает кому-то стихи «нахала и грубияна». А раз дело происходило в министерстве, где Анна Нико-

лаевна работает референтом, значит, она специально носила их туда. А Алик ее считал старой сплетницей, «жандармской дамой», которая его, Алика, и на дух не принимает. Поневоле придешь к выводу, что ничего в людях не понимаешь... С одной стороны — обидно разочаровываться в себе, с другой — приятно разочаровываться в собственном гнусном мнении о некоторых безынтересных тебе объектах.

— Какому писателю? — хрипло спросил Алик. Лучшего и более уместного вопроса в тот момент он не нашел.

— Не помню, — сказала Дашка. — Я его не читала, поэтому фамилию не запомнила. Мама знает.

— Мама на даче...

— А тебе обязательно сегодня знать надо? Потерпи до завтра, я выясню и скажу.

Алик наконец полностью пришел в себя, обрел способность рассуждать здраво. И немедленно устыдился идиотского вопроса.

— Нет, конечно, не обязательно. Главное, что они тебе нравятся. Ведь нравятся?

Конечно же, это было главным. Дашкино мнение, а не мысли вслух какого-то неведомого писателя, который мог только из расчетливой вежливости похвалить слабенькие стихи: ему ведь в министерстве что-то нужно было...

И мнение не заставило себя ждать.

— Нравятся, — сказала Дашка, сказала просто, без обычного «взрослого» выламывания.

И тогда Алик, сам не зная отчего, начал читать стихи. Чуть слышно, словно про себя.

— ... Заалееет влажный, терпкий день... в полумраке зыбком и неверном... И на бухту маленькой Каперны... упадет заветной сказки тень... Пристань серебристая седа... Полумрак раскачивает рей... Засыпают фантазеры Грей... о чужих мечтая городах...

— Влажный, терпкий день... — повторила задумчиво Дашка. — Знаешь, Алик, я ни разу не была на море. А ты?

Он помедлил немного, но желание казаться многоопытным и мудрым, бывалым, просоленным — наивное желание выглядеть, а не быть — оказалось сильнее.

— Был, — и ужаснулся: соврал. Но его уже несло дальше, и для остановки времени не предусматривалось. — Как бы я написал о море, если бы не видел его? Знаешь, как пахнет мокрая сеть, брошенная на морской берег? Знаешь,

как прозрачен рассвет, заглянувший в иллюминатор каюты? Знаешь, как опасен свежак, задувший с моря?

— А ты знаешь?

— Конечно.

— Счастливый... Как здорово ты говоришь об этом. Алик, тот писатель не прав: ты уже настоящий поэт.

Ради этих слов стоило жить.

И даже соврать стоило.

И вообще: какой замечательный день выпал сегодня Алику, просто волшебный день!..

## 11

А ночью ему опять приснился странный сон.

Будто бы идет он по Цветному бульвару мимо старого цирка и видит у входа огромную цветную афишу. На ней изображен неуловимо знакомый субъект в ослепительно белом тюрбане с павлиньим пером. У субъекта в руках — золотая палочка и тонкогорлый кувшин, из которого идет белый дым. И надпись на афише: «Сегодня и ежедневно! Всемирно знаменитый иллюзионист и манипулятор Ибрагим-бек. Спешите видеть!»

«Батюшки,— думает Алик,— да ведь это хорошо известный джинн Ибрагим. Устроился-таки, шельмец, в иллюзионисты. Ну, да ему все доступно...»

И возникает у Алика естественное желание: зайти в цирк, навестить знакомого, рассказать о том, что дар действует безотказно, а заодно расспросить его о новом цирковом житье-бытье.

Заходит. И ведь что странно: ни разу в цирке за кулисами не был, а видит все так реально и точно, будто дневал там и ночевал... Проходит мимо спящего дежурного, крохотного старичка, уткнувшегося носом в ветхий стол, идет по пустынному фойе — спектакль еще впереди, время репетиционное,— упирается в фанерную стенку с дверью. На двери надпись: «Посторонним вход воспрещен». Толкает без страха эту заколоченную местным администратором дверь и шествует по темноватому бетонному коридору, уставленному ящиками, какими-то стальными ажурными конструкциями, тумбами, на которых слоны стоят на одной ноге, и другими тумбами, на которых суперсилачи выжимают свои гири, штанги и ядра. Поднимается по широкой лестнице на второй этаж, среди множества дверей без-

ошибочно находит нужную, стучится.

Слышит из-за двери:

— Входите. Не заперто.

Входит. Перед трехстворчатым зеркалом типа «трельяж» за маленьким столом, на котором бутылочки, баночки, кисточки, лопаточки, парички, гребешочки, вазочки с бумажными цветочками — пестрое, пахучее, блестящее, игрушечное на вид, среди всего этого хрупкого добра сидит джинн Ибрагим, ныне всемирно знаменитый иллюзионист и манипулятор Ибрагим-бек, спокойно сидит и читает книгу. Пригляделся Алик — знакомая книга:

«От магов древности до иллюзионистов наших дней» называется. Видно, набирается творческого опыта новоиспеченный артист цирка, не пренебрегает классическим наследием.

— Привет, Ибрагимчик, — говорит Алик.

Джинн отрывается от книги, смотрит без интереса.

— А-а, — говорит, — явился спаситель. Чего тебе?

— Шел мимо, дай, думаю, загляну, проведу...

— Контрамарку хочешь?

Опешил Алик.

— Зачем она мне? Я и билет могу купить, если что.

— Купил один такой. Аншлаг в кассе. Билеты продаются за год вперед.

— Из-за чего такой бум?

Грудь выпятил Ибрагимчик, черный крашенный ус подкрутил — не без гусарской лихости.

— Немеркнущее иллюзионное искусство всегда влекло людей к магическому кругу арены.

— Из книжки цитата? — спрашивает с ехидцей Алик.

— Язва ты, Радуга, — говорит Ибрагим, как давеча Бим. — Мои слова. Нет мне равных в искусстве фокуса.

— А Кио?

— Слаб, слаб, все у него на технике, никакого волшебства.



— А как вы свое волшебство дирекции объяснили?

Джинн морщится. Похоже, что воспоминания об этом удовольствия ему не доставляют.

— Запудрил я им мозги. Слова разные употреблял.

— Какие слова?

— Умные. Говорю: всем управляет конвергационный инверсор, препарирующий мутантное поле по функции «Омега» в четвертом измерении.

«Не хуже Никодима Брыкина шпарит», — изумляется Алик и с интересом спрашивает:

— А где инверсор взяли?

— Это мне — плевое дело. Я его на минуточку из института мозговых проблем телетранспортировал.

— Брыкинский аппарат?

— А хоть бы и брыкинский, мне без разницы. Показал я его дирекции и обратно вернул.

— Поверили?

— Как видишь.

— Вы, Ибрагим, настоящий талантливый джинн, — с волнением произносит Алик. — Все вам доступно. — Уж очень его потрясла история с телетранспортировкой прибора. Или — нуль-транспортировкой, как утверждают иные писатели-фантасты.

— Будто раньше не понял, — пыжится джинн. — Как прыгучесть? Не подводит?

— Исключительная вам благодарность, — витиевато закручивает Алик. — Вчера как раз чемпионом района стал с результатом один метр девяносто пять сантиметров.

Джинн кисточку со стола берет, в баночку с пудрой окунает, по усам ведет — приняли они благородный кошачий седоватый колер.

— Пустяшная высота, — говорит. — Ради нее и трудиться не стоило. Потренировался — сам бы осилил, без моей помощи. Ноги-то у тебя вона какие — чисто ходули...

— Что вы, Ибрагиша? — удивляется Алик. — Я до нашей встречи вообще прыгать не умел.

— Все мур, — заявляет джинн и примеривает к лысинке черный паричок с кудряшками. — Знаешь песни: «Тренируйся, бабка, тренируйся, любка...», «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка...», «Чтобы тело и душа были молоды...» — и несколько невпопад: — «Не думай о секундах свысока».

Хотя, может, и не совсем невпопад: секунды все-таки, в спорте ими многое измеряется.



— По-вашему, прыгнул бы? — настаивает Алик.

— По-моему, прыгнул бы,— упорствует джинн.

— Но не сразу?

— Ясно, не сразу.

— А мне надо было сразу.

— А если надо было, почему условие не соблюдаешь? — сварливо спрашивает джинн.

«Знает,— с ужасом думает Алик.— Кто донес?»

— Откуда узнали?

— От верблюда. Я бы — и вдруг не узнал! Шутишь, парень. Все мне про тебя доподлинно известно: как ешь, как спишь, как прыгаешь, как учишься, с кем дружишь, что врешь, о чем думаешь. Ты теперь под моим полным контролем. Зачем Дашке сочинил про море?

Алик ежится под его цепким взглядом.

— Для форсу.

— Ах, для форсу... Плохо.

— Нравится она мне.

— Уже лучше.

— Как будто вы, Ибрагимчик, никогда девушкам не заливали,— храбрится Алик.

— Не наглей,— строго говорит ему джинн.— Обо мне речи нет. А женишься ты на ней, попадете вы на море, как ты ей в глаза глядеть будешь?

— Ну, уж и женюсь,— смущается Алик, даже краснеет, но мысль о женитьбе ему не слишком неприятна.

— Это я гипотетически,— разъясняет джинн.

— А-а, гипотетически,— с некоторым разочарованием тянет Алик.

— Тебе хоть стыдно? — спрашивает Ибрагим.

— Есть малость.

— Если честно, дар у тебя теперь навек исчезнуть должен, как не было. Но уж больно симпатична мне Дашка, можно тебя понять. Ладно уж, останется твой дар с тобой, но наказать — накажу.

— Как? — пугается Алик.

— Не соврал бы — в следующий раз на два метра сиганул бы. А теперь погодить придется.

— Долго?

— Как вести себя будешь. А там поглядим... — тут он взглядывает на часы над дверью, ужасается: — Мать честная, курица лесная, уже звонок дали. Выматывайся отсюда, парень, мне к выступлению готовиться надо,— вскакивает, бесцеремонно выталкивает Алика за дверь.

И Алик уходит. Спускается по лестнице, идет все тем же бетонным коридором с тумбами и ящиками. И сон заканчивается, растекается, уплывает в какие-то черные глубины, вспыхивает вдалеке яркой точкой, как выключенная картинка на экране цветного «Рубина».

И ничего нет. Покой и порядочек.

Баба-яга и Никодим Брыкин в эту ночь Алику не снятся.

## 12

Если Ибрагим сказал: не прыгнешь! — значит, прыгнуть не удастся. Джинн, как давно понял Алик, слову не изменяет. Тут бы смириться, послушаться, не лезть на рожон — к чему? Бесполезно...

Бесполезно? Ну, нет! Пять сантиметров — величина не бог весть какая. Сто девяносто пять Алику обеспечены. Что ж, пять сантиметров он прибавит сам. Есть кое-какой опыт — мизерный, но уже не будет пугать неизвестность. Главное: есть желание. Есть злость — та самая, спортивная. Есть самолюбие — его Алику всегда хватало с избытком, и мешало оно ему, и помогало. Пусть сейчас поможет. А все эти качества, помноженные на постоянную величину «сила воли плюс характер», не могут не дать кое-каких результатов. Да и надо-то — тьфу! — пять сантиметров...

Аксиома, выведенная темными суеверными предками, — «вещие сны сбываются» — требовала корректив. Алик назвал бы их «переменной Радуги» или «поправкой на упрямство». В конечном виде аксиома должна звучать так: «Вещие сны сбываются в той степени, в какой позволяет разрешающая способность сновидца».

Красиво. Рассказать Николаю Филипповичу, школьному математику, — одобрит терминологию. Но суть его возмутит, не оценит он сути. Скажет: «Вы бы, Радуга, лучше на логарифмы навалились, чем антинаучный вздор множить». А чего на них наваливаться? Они для Алика — открытая книга. Сам Никфил пятерку вклеил...

«Никфил — вклеил» — прескверная рифма. Деградируешь, Радуга, — подумал Алик. А в голове уже вертелось начало нового стихотворения...

«Откуда шло вдохновенье... К Моцарту или Верди?... — напряженно сочинял Алик. — Верди, Верди, Верди... Вертер! Попробуем... Так-так... А потом — о сне... Смысл: сон — ерунда, ложь, пусть даже и вещий, все делается на-

яву вот этими руками...» — посмотрел на руки. Руки как руки, ничего ими толком не сделано, много сломано, немало напорчено, но все еще впереди.

«Откуда шло вдохновение... К Моцарту или Верди?.. Где же родился Вертер ...в яви или во сне... Или еще на рассвете... когда, ничего не ответив... сон отлетает, как ветер... рванув занавеску в окне?»

Еще раз повторил про себя придуманные строки, восхищался: здорово! Ай да Радуга! Ай да сукин сын! Не оставиваться, не тормозить, пока вдохновение не покинуло. Подлая штука — вдохновение, так и норовит сбежать. Надо его — цоп! — и придержать...

«Но сон — это только туманность... несобранность, непостоянность... намеков на одушевленность... а в общем, не злая ложь...»

Точно сказано: не злая ложь. Ибрагим — существо доброе, но с твердыми принципами. А мы его принципы опровергнем...

«Если картины — смутны... если идеи — путанны... распутица и распутье... не знаешь, куда идешь...»

«Ложь — идешь» — тоже не Пушкин. Ну, да ладно: шлифовкой потом займемся. Сейчас — костяк идеи и формы...

«Не знаешь, чему поверить...»

И в самом деле: чему верить? Слишком много таинственного — уже рутина. Привычная и надоедливая. Веришь в сказочное без всякого восторга, скорее — по привычке, по надобности...

«И что отобрать без меры... и что полюбить без веры... запомнив и записав...»

«Полюбить без веры» — это какая-то катахреза, как отец изъясняется. Явная несовместимость. Любишь — значит, веришь... Да и рифма-то опять — «верить — веры»... Детский сад... Потом, потом исправим...

«Но я снов не записываю...»

Вот она — главная мысль высокохудожественного произведения, добрались до нее, наконец...

«Не помню, не перечитываю...»

Так их всех! Не помню никаких снов!

«Я вижу живую и чистую... не в сонном наплыве явь».

Точка. Все! Вижу явь. И наяву — два метра. Пусть Ибрагим кусает локти.

Время было позднее, и Алик помчался в школу, задержавшись лишь на минутку, чтобы записать так внезапно и

здорово родившиеся строки. Вечером он прочитает их отцу; тот раздолбает стихи в пух и прах, выделив, впрочем, одну-две строки, «достойные мировых стандартов». А пока стихи нравились Алику целиком, и он даже подумал: а не показывать ли Дашке? Решил: рано. Доведем, домучаем, тонкой шкуркой отшлифуем, лаком покроем — любуйтесь.

Отец разобрал стихи по косточкам, спросил напоследок:

— Тебя, сын, в последнее время на «сонную» тематику потянуло. То ты прыгать во сне научился и доказывал мне с пеной у рта, что сон — лучшая школа жизни. Теперь сам себя опровергаешь: «я снов не записываю, не помню, не перечитываю»? Где истина?

— Как всегда, посередине, — туманно ответил Алик. — Хороший вещей сон нуждается в реальной надстройке.

— Ну-ну, — сказал отец. — Валяй надстраивай. И поработай над виршами, есть над чем. Может неплохо получиться... — и спросил между прочим: — А где это ты сегодня допоздна шляется? С верным Фокиным небось?

— Без Фокина. Тренировался.

— На большие высоты замахиваешься?

— На задуманные, — сказал Алик.

Слово с делом у него не расходилось. После занятий он, переодевшись, бегал по набережной, пугая юных матерей и молодых бабушек, управляющих детскими колясками. Подтягивался на перекладине в саду: сначала — восемь раз, потом — шесть. А через час неожиданно тринадцать раз подтянулся. Так это Алика обрадовало, что он пропрыгал на корточках вокруг всего сада, не обращая внимания на вопли малышей, гулявших здесь после дневного сна. Толстая воспитательница отгоняла от него своих настырных питомцев, приговаривая: «Не видите: дядя тренируется. Дядя — чемпион».

В ее словах для Алика было два приятных момента. Во-первых, его не часто пока называли дядей. Во-вторых, его еще никогда — кроме воскресенья — не нарекали чемпионом.

Дядя-чемпион нашел здоровенный булыжник, уложил его на плечо и, придерживая рукой, начал приседать. Присел так двадцать раз — больше сил не хватило, да и на двадцатый раз булыжник с плеча свалился, «выпал из обессиленных рук» — как писали в старинных романах.

На сем Алик вечернюю тренировку завершил, оставив прыжки в высоту на завтра, вернулся домой, пообедал,

приготовил уроки, тогда и состоялся разговор с отцом, описанный выше.

На следующий день перед занятиями Алик побегал по набережной, даже к реке спустился — как раз там, где во сне выловил со дна плененного Ибрагима. Попробовал рукой воду — ха-ала-ди-на!.. Нет, к водным процедурам он еще не был готов. По крайней мере — морально. А после уроков, подсмотрев, что Бим ушел из школы, Алик спросил у дежурной нянечки разрешение, заперся один в спортзале и прыгал через планку до изнеможения. Ибрагим не со- врал: два метра Алик взять не мог. Метр девяносто пять — пожалуйста. Плюс пять сантиметров — уже заколдован- ная высота. Поступил иначе: прибавил к освоенной высоте один сантиметр. Разбежался — сбил. Еще раз... Разбе- жался — сбил.

Сел на лавку — анализировать происходящее. Что мешало прыгать? Припоминал: правая маховая нога пере- ходит планку точно... дальше понес тело... Левой сбивает? Нет, раньше, раньше...

Спустил планку на метр восемьдесят, трижды пере- прыгнул, стараясь следить за каждым движением. Техни- ка, конечно, оставляла желать лучшего, но грубых ошибок вроде не было. Так, во всяком случае, казалось. Хорошо бы кто-нибудь со стороны посмотрел. Скажем, Бим. Но Бим в преддверии конца учебного года тренировок не назначал, даже любимчика Фокина в спортзал не пускал; сидел бедо- лага Фокин дома, штудировал учебник по литературе, го- товился к итоговому сочинению. А самому Алику напраши- ваться не хотелось. Хотя Бим не отказал, пришел бы в зал... Но нет, нет, гордость не позволяла, то самолюбие, ко- торое заставляло Алика тягаться даже не с высотой — с хитрым и коварным запретом Ибрагима.

Поставил метр девяносто пять. Прыгнул. Облизал планку, как сказал бы Вешалка. А поначалу брал — даже не дрожала она. Устал?

Плюнул, решил уходить. Напоследок выставил метр девяносто семь, разбежался... Мама родная: лежит желе- зяка на своих кронштейнах, не шевелится. Взял! Взял!

Хотел на радостях еще раз опробовать высоту, но одумался. Не стоит искушать удачу, да и действительно устал. Прыгнул на одних нервах. Убрал стойки, маты, планку — чтоб никто не заподозрил! — ушел домой.

На следующий день опять прыгал. Метр девяносто семь стабильно брал. Дальше — ни в какую. Удивлялся себе:

откуда взялось упорство? Никогда им не отличался: не получалось что-нибудь — бросал без сожаления. А сейчас лезет на планку, как бык на красную тряпку...

Нет, нужен перерыв. Хотя бы на денек. Тем более что к сочинению кое-что подчитать следует. Из пропущенного. Засел дома, как Фокин, а наутро в школу явился — лучший друг новость преподносит:

— На тебя бумага пришла из сборной.

— Какая бумага! — не понял сразу.

— Запрос. У них сборы с первого июня. Требуют ваше легкоатлетическое величество.

Та-ак... Не забыл мужик в водолазке о своем посуле, прислал-таки обещанную конфетку. А в ответ показать ему — увы! — нечего. Как нечего? А метр девяносто семь — шутка ли? Не шутка, но и не та высота, с которой Алик хотел прийти в сборную. Наверняка в ней есть ребята, которые и повыше прыгают. А быть последним Алик не хотел.

— Не ко времени бумага пришла, — с искренним сожалением сказал он.

— Почему не ко времени? — Фокин даже опешил. — Каникулы же...

— Ох, да причем здесь каникулы? С чем я в сборной появлюсь?

— Ну, брат, ты зажрался, — возмутился Фокин. — Прыгаешь чуть ли не «по мастерам», а все ноешь: мало, мало...

— И верно мало.

— Сколько же тебе надо? Два сорок?

— Хорошо бы... — мечтательно протянул Алик, представив себе и эту огромную рекордную высоту, и рев стадиона, и кричащие заголовки в газетах: «КТО ПРЫГНЕТ ВЫШЕ РАДУГИ?»

— Сколько тебе лет? — ехидно спросил лучший друг.

Вопрос риторический, ответа не требует. Но Алик любил точность. Спросили — получите ответ.

— Пятнадцать, с твоего позволения.

— То-то и оно, что пятнадцать. Помнишь, я тебе говорил, что Джон Томас в твои годы тоже сто девяносто пять брал?

— А мне Джон Томас не пример. Его давным-давно «перепрыгнули».

— Алик, две недели назад ты еще не знал, что такое высота.

Вот это был хороший аргумент в споре, не то что про Томаса...

— Ладно, уговорил. Поеду на сборы.

— А я тебя не уговаривал,— фыркнул лучший друг.— Не хочешь — не езжай, тебе же хуже. А потом, вопрос еще не решен. Ехать на сборы — значит, практику на заводе пропускать. Что директор скажет?

— Отпустит,— уверенно сказал Алик.

И зря так уверенно. Он не знал, что происходило в кабинете у директора — позже, после уроков, когда в школу пришла вызванная телефонным звонком мама.

— Ваш Алик начал проявлять незаурядные способности в легкой атлетике,— сказал директор.

— Знаю,— осторожно кивнула мама. Она не догадывалась, зачем понадобилась директору: учится сын неплохо, ведет себя — тоже вроде нареканий нет...

— Он стал чемпионом района по прыжкам в высоту,— директор шел к цели издали.

— Слышала.

— Его наградили почетной грамотой и ценным подарком.

— Ценный подарок хорошо будит его по утрам.

— Почитайте-ка.— Директор прервал затянувшееся вступление и решительно протянул маме бумагу с могучей круглой печатью в правом нижнем углу.

Мама быстро ее пробежала. Гриф спорткомитета и фиолетовая печать не произвели на нее особого впечатления.

— А как же практика? — спросила она.

— В том-то и проблема,— сказал директор.— С одной стороны, глупо не отпускать парня на сборы: может, это начало большой дороги в спорте. А с другой стороны, кто нам позволит учебный процесс ломать?

Мама оглянулась по сторонам, ища поддержки. На нее смотрели учителя Алика. Преподаватель литературы — с улыбкой. Преподаватель математики — сурово. Преподавательница истории — безразлично. Преподаватель физкультуры — с любопытством. И это любопытство, ясно читающееся на лице Бима, особенно разозлило маму.

— А как считает Борис Иванович Мухин? Отпускать или не отпускать? — громко спросила она, но не у Бима, а у директора.

Директор взглянул на Бима, но тот как раз перевел глаза на потолок, рассматривал там трещину явно вулка-

нического происхождения и отвечать не собирался. Спросили директора — пусть он и выкручивается.

— На практике мальчик приобретет полезные трудовые навыки,— сказал директор.

— А на сборах он повысит спортивное мастерство,— гнула мама в стиле директора. Для нее вопрос был решен.

— А что скажет району? — упорствовал директор.

— Району я беру на себя,— быстро вставил преподаватель литературы, он же — заведующий учебной частью школы.

— Ну, если так...— мямлил директор, не желая принимать окончательного решения.

И тогда Бим прекратил изучение трещины.

— Спорим о ерунде,— веско сказал он.— Такое выпадает раз в жизни. Пусть Радуга едет на сборы, если кого-то интересует мое мнение...— помолчал и вдруг добавил: — Правда, я лично не верю в его стремительный взлет.

— Это почему? — ревниво спросила мама, а все педагоги изумленно уставились на Бима: как так «не верю», когда взлет — вот он, парит Алик Радуга выше всех, ловите...

— Слишком быстро все получилось. Спорт — это, прежде всего, огромный труд. Ежедневный, до пота. А на одном таланте чемпионом-рекордсменом не станешь... Хотя,— тут Бим такое лицо состроил, будто чего-то кислого проглотил,— разведка доносит мне, что Радуга этот пот потихоньку выжимает из себя...

Вот так: разведка доносит. Выходит, нельзя верить нянечке, продала она Биму вечерние бдения Алика.

Но вопрос решен: едет Радуга на сборы под Москву. Первого июня отходит автобус от станции метро «Киевская». Осталось только написать сочинение, собрать чемодан, попрощаться с родными и близкими и — пока!

Но о сочинении забывать не стоило.

## 13

Завуч объявил: сочинение на вольную тему.

Абсолютно вольная тема: хочешь — пиши о прочитанном, анализируй книги, которые «проходил» по литературе, хочешь — пиши о себе, о друзьях, о своих мечтах, замыслах...



— Радуга может написать стихи — если получатся, — сказал завуч.

Он был в превосходнейшем настроении: учебный год позади не только для школьников. Учителям летние каникулы радостны гигантским — двухмесячным! — отпуском, отдыхом от тетрадей, контрольных, опросов, отчетов, прогульщиков, отличников, сбора металлолома и макулатуры, родительских собраний и педсоветов. В эти вольные два месяца педагог может позволить себе никого не воспитывать, никого не учить, никому не читать нотаций, спать по ночам и бездельничать днем. Завидная перспектива!

Она маячила перед довольным жизнью завучем, и он захотел напоследок почитать в тонких ученических тетрадках не стандартные блоки «на тему», списанные из учебников или — в лучшем случае — почерпнутые из умных литературоведческих фолиантов, а собственные мысли своих учеников, двадцати пяти индивидуумов — зубрил, тихонь, заводил, остряков, ябед, задир, пай-мальчиков и пай-девочек, маленьких мужчин и маленьких женщин.

— Пишите о чем хотите, — повторил он и, поставив стул у открытого окна, принялся рассматривать лето, вовсе хозяйничающее в городе.

Сашка Фокин в тоске заскрипел зубами: стоило почти неделю корпеть над учебниками, если тема — вольная. Но не пропадать же благоприобретенным знаниям! Он раскрыл тетрадь и недогнувшей рукой написал заголовок: «Тема труда в поэме В. В. Маяковского «Хорошо».

Даша Строганова тоже раскрыла тетрадку, подложила под правую руку розовую промокашку, вытерла шарик своей авторучки чистой суконкой, попробовала его на отдельном листке бумаги — не мажет ли? — и только тогда написала ровным круглым почерком: «Что для меня главное в дружбе?» Выбирая тему, она думала об Алике, но писать о нем Даша не собиралась: даже вольная тема школьного сочинения не предполагала, на ее взгляд, полной откровенности.

А Гулевых, ликуя от собственной предусмотрительности, осторожно выложил на крышку парты вырезку из журнала и, поминутно заглядывая в нее, написал: «Пеле — футболист века».

Только Алик не спешил заполнять тетрадку. Что-то мешало ему писать, отвлекало от создания очередного

стихотворного шедевра. Как будто витала рядом какая-то мысль, а ухватить и укротить ее Алик не мог и мучился оттого, даже злился.

Завуч отвлекся от заочного вида, спросил:

— Из-за чего задержка, Алик?

— Сей минут, сей секунд,— забормотал Алик, не слыша, впрочем, себя: он ловил порхающую мысль. Вот, вот она — совсем рядом, накрыть ее сачком, как яркую бабочку, просунуть под сетку руку, зажать в ладони — здесь!

Схватил ручку и написал, словно кто-то подталкивал его: «Фантастический рассказ». А вернее, рука сама написала эти два слова, а Алик только смотрел со стороны, как его собственная правая пишет то, о чем он, Алик, никогда бы и не подумал: не любил он фантастики, не понимал ее тайных и явных прелестей, не читал ни Бредбери, ни Ефремова, ни Лема, ни Кир. Булычева.

Но, не вдаваясь в механику странного явления, начертал строчкой выше еще два слова: «Таинственный эксперимент». Это было название рассказа, который Алику предстояло создать за сорок пять минут урока плюс десять минут перемены. Именно так: предстояло создать. Или даже высокопарнее: предназначено свыше. И Алик не противился предназначению, даже не пытался догадаться — откуда свыше поступило дурацкое предназначение, гонял ручку по строкам, создавал «нетленку».

«Было раннее летнее утро. Солнце вставало с востока, озаряя своими жаркими лучами все окрест. Конус солнечного света медленно и неуклонно двигался по стене Института мозговых проблем. Вот он добрался до закрытого наглухо окна лаборатории инверсионной конвергации, и сумрачное помещение ожило, заиграли, заискрились приборы, вспыхнули стекла. Профессор Никодим Брыкин распахнул настежь окно и воскликнул, дыша полной грудью:

— Да будет свет!

Конечно же, профессор имел в виду свет знаний, яркий свет небывалого научного открытия, озаривший недавно скромное, но достойное помещение лаборатории.

Добровольный помощник профессора, юный лаборант Петя Пазуха сидел за столом и считал в уме. Еще неделю назад он сидел не за столом, а в огромном сурдокресле, и его ладную голову охватывали датчики импульсной пульсации, соединенные с аппаратом профессора, названным им инверсионным конвергатором. Поле, создаваемое

аппаратом, проникало посредством датчиков в мозг юного лаборанта и, генерируясь там, перестраивало функциональную деятельность мозга по задуманному профессором плану.

Еще неделю назад Петя Пазуха с трудом мог в уме умножить 137 на 891, а сегодня с легкостью невероятной множил, делил, складывал, извлекал корни, брал логарифмы; и числа, которые фигурировали в этих действиях, пугали даже профессора Брыкина, привыкшего и не к таким передрыгам.

Уже через сутки после эксперимента они проверили на Пете всю книгу таблиц Брадиса, и результат превзошел самые радужные ожидания: юный гений Пазуха не ошибся ни разу.

Однако эксперимент поставил милейшего П. Пазуху в крайне неудобное положение. То ли контакты на аппарате были плохо зачищены, то ли напряжение на входе конвергатора несколько отличалось от напряжения на выходе, то ли конденсатор пробило, то ли искра в землю ушла, но эксперимент получился нечистым. «Поле Брыкина» задействовало группу клеток, ведающих устным счетом — это так. Но то же поле почему-то задействовало группу клеток, что ведаёт реверсивной системой «правда — ложь». Говоря человеческим языком, Петя больше не мог врать. А если врал, то система «правда — ложь» включала реверсивный механизм, срабатывала заслонка, и группа клеток, ведающих устным счетом, прекращала свою полезную деятельность.

— Я никогда не буду врать! — вскричал Петя Пазуха, не желавший потерять свой чудный дар, гарантирующий ему безбедное существование где угодно: то ли на эстраде в роли математического гения, то ли в науке в должности арифмометра типа «Феликс».

И все было бы расчудесно, но минувшим воскресным вечером Петя катался в парке на лодке со своей подругой Варей.

— Сколько будет шестью семь? — спрашивала Варя.

— Сорок два, — безошибочно отвечал Петя

— А корень квадратный из шестисот двадцати пяти?

— Двадцать пять.

И Петя таял под лучистым взглядом синих глаз Вари.

Но уже прощаясь, Варя спросила:

— Скажи, Петя, а мог бы ты для меня прыгнуть с десятого этажа в бурное море?

И Петя ответил, не задумываясь:

— Мог бы!

Стоит ли говорить, что его ответ был чистой ложью, ибо кто в здравом уме станет нырять в море с десятого этажа? Верная смерть ожидает внизу безрассудного смельчака, и ни одна девушка не стоит такой бессмысленной жертвы. Да ни одна девушка и не потребует от своего возлюбленного подобной глупости. Все это лишь «слова, слова», как говаривал принц Гамлет в бессмертной пьесе В. Шекспира.

Но за словами Пете теперь следовало следить неусыпно: любое изреченное слово могло оказаться пусть невольной, но ложью. Так и случилось.

И на завтра Петя не мог взять даже пустячного кубического корня из 1.397.654.248...

А мог только квадратный...

Из этого профессор заключил, что дар не исчез вовсе, но сильно ослаб. Этот вывод подтвердило и испытание на вибро-эмоцио-седуksenном стенде типа «Гамма-пси».

— Я верну себе свое умение! — вскричал Петя.

— Но как? — вопрошал убитый горем профессор.

— Терпение и труд, профессор. Упорство и усидчивость.

И Петя начал считать сам. Он считал днем и ночью, утром и вечером, и в снег, и в ветер, и в звезд ночной полет. Тренировки сделали свое дело. Сегодня утром он явился в лабораторию и сказал гордо:

— Спрашивайте, профессор.

Профессор, конечно, спросил, и ответы Петра Пазухи были безошибочны.

Тогда Никодим Брыкин вновь подверг лаборанта тщательному исследованию на стенде «Гамма-пси», и оно показало, что дар вернулся к обладателю.

Недаром русская пословица утверждает: терпение и труд все перетрут.

— Но лгать вам, Петя, по-прежнему не стоит, — сказал профессор. — Эффект Брыкина восстановлен, но опасность не миновала.

— Знаю, профессор, — отвечал Петя. — Я буду говорить только правду, всегда правду, одну правду.

И слово свое сдержал.

Открытие профессора Брыкина переворачивало науку, то есть делало в ней переворот. Солнце напрямую било в широкое окно лаборатории.

Алик положил ручку, взглянул на часы. До конца урока оставалось пять минут.

— Я готов,— сказал Алик, закрывая тетрадь.

— Как следует проверил? — поинтересовался завуч.

— Как следует все равно проверите вы.

— Что верно, то верно,— засмеялся завуч.— Гуляй, Радуга.

Алик вышел в коридор — пустой и гулкий от его шагов. Когда шли уроки, коридор, казалось, обретал свой микроклимат, отличный от климата в классе или в том же коридоре, но на переменке. Во время уроков здесь всегда было прохладно — и зимой, когда к батарее не притронешься, у окна стоять невозможно; и летом, в жару, когда через открытые окна в школу проникали циклоны, забежавшие в Москву из Африки. В который раз Алик снова подивился этому необъяснимому физическому явлению, пошел вдоль стены, размышляя о сочинении.

Что было? Явная подсказка со стороны. Как будто некто «свыше» вложил в голову дурацкий сюжет про Брыкина с соответствующим выводом: упорством верни свой талант. Другое дело, что фантазия Алика чувствовала себя достаточно свободно и в рамках заданного сюжета неплохо порезвилась. Во всяком случае, Алик был доволен собой. И ошибок вроде не сделал. Орфографических — точно, а за синтаксическими мог не уследить. Ну, да ладно, последнее сочинение, отметка за год уже выставлена...

Но главное, понял Алик, состояло в том, что этот «некто свыше» таким хитрым и изощренным способом общал Алику, что его усилия в тренировках даром не пропали, замечены благосклонно, и с сего момента он может по-прежнему пользоваться своим даром. Но не врать.

Кто обещал ему вернуть дар? Джинн, ставший иллюзионистом. Но откуда джинн знает про Брыкина? Знает, он сам говорил про инверсор-конвергатор, телетранспортированный для убеждения цирковой дирекции. Да и связаны все три сна одной веревочкой, нет в том сомнений. А где ж тогда уважаемая баба-яга, костяная нога? Забыла Алика? Ох, думалось Алику, не забыла, еще заявит о себе, пригрозит сварить в щах за непослушание. Придется слушаться...

Хотелось тут же мчаться в сад, выставлять планку и проверять: вернулся ли дар. Но началась перемена,

школьный народ повалил в сразу потеплевший коридор, вышла Дашка, спросила:

— О чем писал, Алик?

— Да так, рассказик. Вроде пародии на фантастику.

— А я не стала рисковать напоследок. Проверенная тема: «Что для меня главное в дружбе?» А ошибок, ты знаешь, я почти не делаю.

— Раз про дружбу, значит, обо мне?

— Какой ты самоуверенный... Нет, о тебе я не стала писать.

— А могла бы...

— Зачем завучу знать о наших с тобой отношениях?

— Значит, есть отношения?

— А как бы ты хотел?

Типично женское коварство: отвечать вопросом на вопрос. Алик хотел отношений — вполне определенных, и не знал: есть они или только намечаются. Да и как вообще Дашка к нему относится? Тогда, в воскресенье, он сморозил глупость, ляпнул о ее влюбленности, чуть было не поссорился с девочкой...

— Даш, а как ты в самом деле ко мне относишься?

Склонила голову набок, глаза широко-широко раскрыла.

— А как бы ты хотел?

Тот же ответ на примерно тот же вопрос. Вредное однообразие...

— Хотел бы, чтоб положительно.

— Ну, так я очень положительно к тебе отношусь. Пошли в класс, звонок...

Так и остался в прискорбном неведении. А после уроков явился завуч, уже успевший прочитать несколько сочинений, похвалил Алика, сказал:

— Неплохую пародию написал, Радуга. Будем печатать ее в стенгазете, если не возражаешь.

Алик не возражал.

## 14

Что рассказывать о поездке на базу сборной? Сел у Киевского вокзала в красный «Икарус», устроился на заднем сиденье у окна, смотрел на дачные поселки, пробегавшие мимо со скоростью восемьдесят километров в час, на негустые леса, бесстрашно выходившие прямо

к автомобильно-бензиново-угарному шоссе. Два часа ехали, а никто в автобусе и не заметил присутствия Алика. Сел человек и сидит себе. Значит, так надо. Да и не все ребята, ехавшие на сборы, знали друг друга. Кто постарше — семнадцати-восемнадцатилетние — те встречались на соревнованиях. Они уселись рядком впереди, негромко говорили о чем-то. Ровесники Алика виделись впервые, робели, больше помалкивали. Заметил Алик и Вешалку Пашенко; и тот его сразу узнал. Однако оба почему-то сделали вид, что незнакомы.

Доехали наконец. Давешний мужик в водолазке встречал их у высоких тесовых ворот с резными столбами, крашенными под золото. К золотым столбам чья-то безжалостная рука гвоздями присобачила полинявший от времени транспарант с традиционной надписью: «Добро пожаловать!» Надпись эта, по-видимому, встречала не одно поколение спортсменов.

Мужик в водолазке — тренер сборной — был на этот раз в синих трикотажных шароварах, оттянутых на коленях, и в пестрой ковбойке. Он дождался, когда все ребята вышли из автобуса, столпились рядом, сложив на землю свои чемоданы, сумки, рюкзаки, оглядел их скептически, зычно гаркнул:

— Здорово, отцы!

«Отцы» отвечали вразнобой, и это тренеру не понравилось.

— Что за базар? — недовольно спросил он. — А ну, построиться!.. — встал у забора, вытянул вбок левую руку.

«Отцы» выстроились слева от него, постарались по росту. Тренер отошел, наблюдал построение со стороны, раз-другой на часы глянул. Снова сказал:

— Здравствуйте, товарищи спортсмены!

Отсчитали про себя положенные для вдоха три секунды, ответили:

— Здра жла трищ трен!

Вышло здорово — стройненько, громко. Тренер улыбнулся.

— Так и держать, отцы... Сейчас я вам тронную речь скажу. Я — ваш тренер. Зовут меня Александр Ильич, кое-кто со мной уже познакомился. Вы прибыли на базу сборной. Но сие вовсе не означает, что вы уже — члены лучшей юношеской команды. Пока мы к вам приглядываемся, прицениваемся. Оценим — возьмем, если подой-



дете. Оценивать будем две недели. За это время лично я выжму из вас все соки — и морковный, и яблочный, и желудочный. — Кто-то в строю хихикнул, но тренер грозно посмотрел на весельчака: мол, нишкни, время для шуток еще не пришло. — Прыгаете вы высоко, но плохо. За две недели ничему серьезному не выучить, но кое-что показать сможем. Лодырей, симулянтов, зазнаек не потерплю. Выгоню в шею. Распорядок дня объявлю после завтрака. А сейчас — марш в корпус!

Речь тренера Алику показалась толковой — краткой, ясной, без слюнтяйства, без ненужных посулов. Не

понял он лишь это — «прицениваемся». Странная терминология. Рыночная. Но торопиться с выводами не стал: у каждого есть свои любимые словечки, привычный жаргон. У Алика в речи — тоже немало слов-паразитов. Отец говорит: «Поэт и жаргон — понятия чужеродные. Жаргон — это улица, а поэт — это студия». Но Алик не согласен с отцом. Студия — это камерность, замкнутость. А поэзия — это душа народа. Пусть звучит высокопарно, зато верно. Ну, а народ по-разному изъясняется...

Народ в лице тренера изъяснялся кратко и афористично. В речи его изобиловали тире и восклицательные знаки. Говорил — как стрелял.

— Работать будете в поте лица, — сказал он, когда ребята закончили завтрак. — Подъем — в семь утра! Зарядка! Кросс! Завтрак! Тренировка — до двенадцати! Вода! Душ, если холодно! Пруд, если тепло! Час — отдых! Обед! Полчаса — отдых! Тренировка — до семнадцати тридцати! Вода! Полчаса — отдых! Кросс! Ужин! Кино, телевизор, книги, шахматы! Сон! Впрочем, сами грамотные — прочитаете. Расписание висит в столовой на стене. Сейчас быстро — по комнатам, занять койки, переодеться и — на плац. Побегаем, разомнемся, а то растряслись



в автобусе, жиры развесили, смотреть на вас тошно.

В большой комнате, похожей на классную, двумя рядами стояло десять кроватей с деревянными спинками и панцирными сетками. Спать на такой кровати, Алик знал, было мукой мученической: сетка слушалась любого движения тела, прогибалась, норовя сбросить спящего на пол. Подумалось: при таком спартанском расписании стоило завести деревянные топчаны с хлипкими матрасиками поверх досок. Кстати, на даче Алик спал как раз на таком топчане и прекрасно себя чувствовал. А родители скрипели панцирными сетками, и по утрам на них больно было смотреть.

Кроме вышеупомянутых «коек» в комнате размещались тумбочки — по одной на брата, десять штук; четыре платяных шкафа и фикус на табуретке, развесистый фикус — мечта бабы-яги из второго сна Алика. Алик ухитрился занять кровать у окна, уложил на нее чемоданчик, щелкнул замочками, достал синий тренировочный костюм — недавний подарок мамы, новенький, коленки еще не оттянуты. Переоделся, побежал вон, краем глаза углядев, что Вешалка попал ему в соседи.

Выскочил на площадку перед корпусом, а тренер Александр Ильич уже прогуливается, на часы посматривает. Увидел Алика.

— Кто такой?

— Радуга я, Александр Ильич. Из пятидесят шестой школы.

— Да помню я,— отмахнулся тренер.— Метр девяносто пять, Киевский район. Не о том речь. Почему так оделся? Холодно?

— Нет,— пожал плечами Алик.— Скорее жарко.

— То-то и оно. Форма одежды — одни трусы.

— Босиком? — не утерпел Алик.

Но тренер не заметил иронии.

— Босиком тяжело будет. Да и ноги посбиваете. В тапочках.

Помчался снимать костюм. В коридоре встретил Вешалку в таком же костюмчике, позлорадствовал про себя: сейчас назад побежит. Так и есть: на обратном пути опять встретились, Вешалка сердито на Алика глянул, и Алик подумал, что зря злорадствовал, мог бы и предупредить парня. Все-таки две недели бок о бок жить, не два часа...

Минут через десять все наконец выстроились.

— Копаются,— сказал тренер.— Чтобы первый и по-

следний раз... На построение — минута. С переодеванием — четыре. Побежали...

И потрусил впереди всех по дорожке, ведущей за ворота в лес.

Лес березовый, осиновый, еловый, таинственный, просвечивающий насквозь. Под ногами мягкая, усыпанная хвойными иголками земля, пружинит, помогает бежать. Тропинка неширокая, утоптанная, легкая тропинка. И темп бега невысок, прогулочный темп, Алик дома по набережной куда быстрее носился. Легкий ветерок упруго ударяет в разгоряченное жарой лицо, холодит грудь. Впереди, шагах в двух, машет ходулями Пашенко — как он ухитрился рядом попасть, вроде кто-то другой стоял. Как бы то ни было, а за Вешалкой хорошо беги вести: он не частит и не семенит, бежит ровно. Отдых, а не бег.

Увы, недолго так «отдыхать» пришлось.

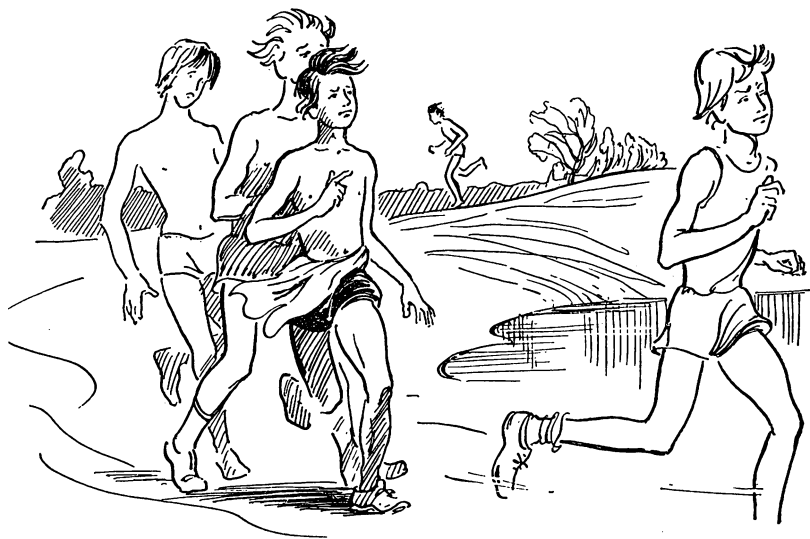
Тренер в голове колонны, видно, припустил, потому что Пашенко чаще ногами заработал, и Алик, чтоб не отстать, тоже прибавил ходу. Стало потруднее. Местность пересеченная, то подъем, то спуск, поворотов — не счесть. Ветер уже не охлаждал лицо — жестко бил по нему, пот тек в глаза, слепил, ел солью. Солнце прорезалось сквозь кроны деревьев, норовило достать бегунов, ошпарить на ходу, поддать жару. Откуда-то взялись ветки по бокам тропинки — не было их раньше! — ударяли по телу. Все как в бане: жара, пот, березовые веники. Но Алик баню терпеть не мог, не видел в ней удовольствия, не сумел отец приучить его к парной.

Бежал из последних сил, ждал второго дыхания, а оно не являлось, и неизвестно было — существует ли оно на самом деле или это — выдумка досужих репортеров, которые сами не бегают, не прыгают, не плавают, не крутят педали, а лишь пишут о том, как «на двадцать пятом километре к нему пришло долгожданное второе дыхание». Где оно, долгожданное?

Так и не пришло.

Зато тренер темп сбавил, и Алик почувствовал, что еще может бежать, еще не падает. Пожалел, что майки не было. Сейчас бы сорвать ее, вытереть на бегу пот... Рукой вытирать приходится. А рука — сама мокрая, как из воды.

Интересно, сколько они бегут? Часы не взял, оставил на тумбочке... А бежать-то полегче стало, и ветерок опять холодит. Что за чудеса? Ах, елочки какие красивые — словно ныряют в овражек. За ними, за ними... А тренер —



железный он, что ли? — опять темп взвинтил, и замелькали по сторонам елочки. Красивые? Черта с два, не до красоты больше. Вверх по склону, носом чуть землю не пашут. Вдоль оврага — быстрее. Сердце колотилось так, что казалось — выскочит, не удержится в грудной клетке. Алик прижал его рукой, но тут же убрал руку: труднее бежать, дыхание сбивается. Хватит ли его — дыхания? А Пашенко еще быстрее помчался, и Алик опять попытался удержаться за ним, но понял, что не удастся, отстанет он от длинноногого Вешалки. И вдруг — как знамение — увидел впереди знакомый забор с золотыми воротами, желтенькие корпуса базы за ним и понял с облегчением: конец мукам.

Да, это был конец, но — первой серии. Без передышки железный тренер повел их на задний двор, где они яростно пилили на козлах еловые стволы, кололи поленья. Впервые в жизни — если не считать сна с бабой-ягой — Алик взял в руки топор и, памятуя «сонный опыт», тюкнул, размахнувшись, по свежеспиленному кругляку. Топор со свистом рассек воздух и воткнулся в землю рядом с поленом. Оно даже не шевельнулось. Алик озлился, повторил замах и попал-таки в дерево. Топор вошел в него на подполотна, застрял — ни туда, ни сюда.

— Так дело не пойдет,— сказал Алéксандр Ильич, заметив тщетные потуги ученика.— Сегодня вечером вместо отдыха будешь тренироваться с топором. А пока не теряй темпа, иди попили. Это проще...

Не так-то и просто оказалось. Звенящее полотнище двуручной пилы гнулось и застревало в стволе. Напарником у Алика был Вешалка Пашенко. Алик ждал насмешки, но Вешалка только сказал:

— Не толкай пилу. Тяни ее. Ты — на себя, я — на себя. Раз-два, раз-два... Поехали.

Поехали. Выходило толково. Рука уставала, но уже не от беспорядочной суетни, а от четкого ритма: раз-два, раз-два. И усталость эта была приятной.

— Где ты пилить научился? — спросил Алик Вешалку.

— У деда в деревне. Мужчина должен уметь делать все, иначе — грош ему цена.

— Всего не охватишь.

— Создай себе базу. Ты сейчас пилой помахал, навык появился. Попадется тебе завтра другая работа, где без пилы не обойтись, справишься. Справишься?

— Не знаю...

— Справишься, справишься — база есть. Так и во всем. Научись чему-то одному, другое само получится.

— Научись бегать кроссы, прыжки сами пойдут. Так, что ли? — с иронией спросил Алик.

— А что ты думаешь? Бег — основа спорта. Как раз та самая база...

— А пилка-рубка — тоже основа спорта?

Тут серьезный Пашенко позволил себе улыбнуться, даже пилу бросил, выпрямился, утер пот.

— У каждого тренера свой метод. Знаешь, как спортсмены нашего Александра Ильича зовут? Леший... — засмеялся. — Да и то, как на его метод посмотреть: с одной стороны — блажь, а с другой — большие физические нагрузки на свежем воздухе. Группы мышц задействованы — те, что нужно. Ты подожди, то ли еще будет...

Многое было. Находили тяжелые валуны и таскали их на плечах по оврагу — вверх, вниз. Пашенко обозвал упражнение — «сизифов труд». Лазили по деревьям. (По классификации Пашенко — «игра в Маугли».) На скорость рыли ямы. («Бедный Йорик».) В позиции «ноги вместе» выпрыгивали из ям на поверхность. («Кенгуру».) До одурения скакали на одной (толчковой) ноге кроссовым

маршрутом. («Оловянные солдатики».) И снова рубили дрова, бегали — уже на двух ногах — знакомой лесной тропинкой, подтягивались на ветках деревьев.

К середине срока Алик легко раскалывал топором внушительное полено, бегал кросс почти без одышки и начисто опережал Вешалку в рытье ям. Оказалось, что Валерка Пашенко — не зазнайка и не гордец, а отличный «свой» парень, много читавший, много знающий, веселый и остроумный. Вообще Алик пришел к выводу, что нельзя оценивать людей по первому впечатлению. Зачастую ошибочно оно, вздорно. А копни человека, поговори с ним по душам, заставь раскрыться — совсем другим он окажется. Как Вешалка. Как Дашка. Да и маман ее Алик тоже за «формой» не углядел...

Алик начал присматриваться к окружающим и понимать, что негромогласный «Леший», строгий Александр Ильич, не прощающий никому ни слабости, ни лени, распекающий виновного так, что ветки на деревьях дрожали, по вечерам один играет на баяне, напевает тихонько, чуть ли не шепотом, старинные романсы; лицо его в эти минуты становилось мягким, рыхловатым, глаза — мечтательные.

Да и извечная поза Алика: томный, скучающий поэт, любимец публики: «Ах-ах, вы меня все равно не поймете...» Где она, эта поза? Забыта за недостатком времени и сил: надо колотить дрова, скакать на одной ножке, бегать до посинения. Тренер не наврал: соки из своих питомцев он выжимал действительно и умело.

Но, между прочим, прыгать не давал.

Говорил:

— Успеете, сперва мясца накопите...

В воскресенье поутру привел всех на спортплощадку за футбольным полем, усадил на траву рядом с сектором для прыжков.

— Теперь и попрыгать можно,— сказал, потирая руки.— Наломались вы, как черти. Хорошо, если по полтора метра возьмете.

И вправду взять бы... Алик твердо считал, что не перепрыгнет планку даже на привычной высоте сто восемьдесят сантиметров. И у Пашенко сомнения имелись. Шепнул Алику:

— Впору три дня трупом лежать...

Ошиблись оба. Сам Пашенко метр восемьдесят пять перемахнул, метр девяносто свалил. А Алик его на десять

сантиметров обошел, чуть в первачи не выбился. Бóльшую высоту — два метра ровно — взял только Олег Родионов. Но ему — восемнадцать, он на первом курсе Инфизкульта учится, за ним не утонишься... И то: сел, в затылке почесал.

— Где мои два десять? — говорит.

А тренер доволен.

— Сегодня вы без подготовки показали приличные результаты. Обещаю: через неделю каждый из вас прибавит к личным рекордам по три — пять сантиметров. Пospopили?

Пospopили. Никто не отказался. Если выигрывает тренер, все в последний день перед отъездом бегут двойной кросс. Проиграет Леший, освобождает ребят от бега, зато сам дистанцию дважды бежит.

Лесные тренировки Александр Ильич не отменил вовсе, только сократил, выделив вечером по два часа на прыжки. Прыгали тоже по его методу: до упаду. Результаты потихоньку росли. Алик прыгал, не вспоминая о джиппе Ибрагима и о его условии не вспоминая: врать было незачем и некогда. По вечерам с Пащенко уходили в лес — благо, погода не подводила, жарой одаривала, — болтали о разном. Возвращались к отбою или к вечернему фильму по телеку, по четвертой программе, проходили мимо «лесопилки», как окрестил Пащенко дровяной склад. Алик лихо хватал топор, взмахивал — напололам разлеталось полешко.

— Кое-какой бицепс наличествует, — скромно говорил Алик, щупая мышцы.

Пащенко с завистью смотрел на него.

— А мне все не впрок, — досадовал. — Кругом мускулистые, а я жилистый, как из канатов связан.

— На результаты комплекция не влияет, — успокаивал его Алик, и был прав: у обоих показатели в прыжках, отмеченные красным карандашиком на листе ватманской бумаги, в столовой на стене, выглядели неплохо.

Стоит ли говорить, что в последний день сборов Алик преодолел планку на высоте два метра три сантиметра, а Пащенко сто девяносто восемь сантиметров осилил.

— Придется вам, братцы, бежать, — злорадно сказал Александр Ильич. — Долг чести не прощается...

И побежали как миленькие. Дважды кроссовым маршрутом прошли. Хотели в запале третий раз уйти на дистанцию, да тренер остановил:

— Хватит, хватит... А то, может, до Москвы своим ходом? Так я автобус отпускаю...

Раздал каждому по тонкой тетрадке, в которой — индивидуальный план тренировок на лето.

— Будете тренироваться больше, чем я требую, — будет лучше. Каши маслом не испортить. Кто живет высоко, лифтом не пользоваться! О трамваях-троллейбусах забыть! Не ходить — бегать! В магазин — бегом! В кино — бегом! С девушкой гуляете — бегом!

— С девушкой бегом — неудобно, — сказал Родионов. Он про девушек знал все, сам рассказывал.

— Много ты понимаешь, салага! Быстрее бежишь — быстрее роман развивается. Все на бегу! Жизнь — бег!

— И прыжки, — вставил Алик.

— Вестимо дело, — согласился Александр Ильич. — А ты, голуба душа, далеко не исчезай. Через две недели — городские соревнования в твоей возрастной группе. Будете участвовать вместе с Пашенко. Так что, кому сейчас отдых, а вам — самая работенка.

— Практика у нас, — сказал Алик.

— Где?

— На стройке.

— Отлично! — обрадовался тренер. — Таскать поболе, кидать подале! А по утрам-вечерам — работать, работать. И чтоб пот не просыхал...

Напутствовал так и в автобус отправил. Стоял у ворот, махал рукой, пока не скрылся «Икарус» за лесной стеной. Ехали иначе, чем в первый раз: гомон стоял в автобусе, пение, ор, шутки. А Алик думал с удивлением, что за минувшие две недели его ни разу не посетили вещие сны. Ведь джинн с Брыкиным, хотя и разными способами, но явились Алику, а бабулька-яга игнорирует, не кажет носа. Или не достоин он высокой чести? А может, повода не было, чтоб сон показывать, ни в чем не провинился? Скорее всего, так. Ну, это и к лучшему: городские соревнования на носу.

Утром Алик привычно бежал по набережной Москвы-реки и сам себя спрашивал: зачем он надрывается? Зачем этот бег, если он свято блюдет «пограничное условие», а значит, умение высоко прыгать его не покинет

и без тренировок? Казалось бы, глупость. Но Алик ловил себя на том, что не может он жить без утреннего «моциона», без каждодневных физических нагрузок, даже без хождения пешком на шестой этаж — как и велел Леший. Привычка — вторая натура. Коли так, вторая натура Алика была особой настырной и волевой. Она начисто забила первую — томную, изнеженную, ленивую, которая по утрам не хотела вставать, а холодный душ для нее был равносителен инквизиторским пыткам. Алик легко мирился с новой расстановкой сил, давил в себе лень, что нет-нет, а заявляла о своем существовании.

«А может, не стоит идти в спортзал?» — спрашивал он себя.

И сам отвечал: «Отчего же не пойти? Хуже не станет, а для разнообразия — приятно».

И шел. И прыгал на тренировках на двести пять сантиметров. Правда, впритык к планке, но ни джинн, ни Брыкин, ни пропадающая бабуля и не обещали ему чемпионских результатов. Помнится, разговор шел о прыжках «по мастерам». А двести пять сантиметров и есть тот предел, который Алик себе поначалу установил. Конечно, аппетит приходит во время еды, но и он не должен быть слишком зверским...

Алик не афишировал своих тренировок и по-прежнему занимался один — по тетрадке Александра Ильича. Бим знал об этом, но по молчаливому уговору не встревал. Спросил только однажды:

— Тебе не помочь?

Алик отрицательно помотал головой.

— Не стоит. Я сам.

Да и зачем ему помощь Бима, если весь тренировочный комплекс — лишь дань обнаглевшей второй натуре, а во все не первейшая необходимость. Прыгает он и так — будь здоров, а тренируется по вечерам только затем, чтобы из хорошей формы не выйти, здоровью не повредить. А то были нагрузки и — нет их. Так и растолстеть можно, сердце испортить. Видел он старых спортсменов, которые резко бросили тренироваться. Смотреть на них противно...

Бим руководил практикой девятиклассников на строительстве жилого многоквартирного дома. Дом огромный, длиннющий, одних подъездов — двенадцать штук. И этажей двенадцать. «Упавший на бок небоскреб», — шутил лучший друг Фокин, и Алик отмечал, что сам Пашенко не сострил бы лучше.



Он сравнивал Фокина и Пашенко. Вещалка — остряк, умница, с ним интересно потрепаться. Алик, считавший себя начитанным «под завязку», рядом с Валеркой терялся, больше слушал, меньше говорил, и это немного мешало ему — он привык быть первым. С Сашкой Фокиным значительно легче. Здесь Алик первенствует заслуженно и безоговорочно. Что он скажет, то и закон. Зато Фокин — надежнейший человек, не подведет никогда. С таким, как говорится, хоть в разведку иди, хоть в атаку. И ни в кого не играет. Он — Сашка Фокин, и никто иной.

Пашенко тоже не особо актерствует — по крайней мере, с Аликом, — но поза в нем чувствуется. Поза такого доброго хорошего малого, который только чуть лучше друга, чуть умнее, чуть образованнее. Но это «чуть» никому не заметно, не выказывает он свое «чуть», прячет глубоко-глубоко. А все же у Алика зрение стопроцентное: как глубоко ни прячь, а углядит...

И вот ведь что: он сам себя с Фокиным точно так же ведет. И точно так же думает, что Фокин того не замечает. А если замечает? Не надо недооценивать лучшего друга...

Алик старался цепко ловить «миги ложного превосходства», как он называл их, быть естественным, самим собой.

Фокин как-то сказал ему:

— Здорово ты изменился, пока на сборах был.

— В чем изменился?

— Меньше выпендриваться стал, — охотно и просто объяснил лучший друг.

Значит, видел он, что «выпендривался» Алик, видел и не обращал внимания: первому все прощительно. А может, прощал он Алику его фортели, потому что сам сильнее был. Не физически, нет — характером. Недаром мама Алику всегда в пример Фокина ставила: «Саша занимается, а ты ленишься... Саша — человек целенаправленный, а у тебя — ветер в голове...»

Что ж, так и было. А нынче «ветер в голове» поутих, и Сашка это почувствовал. И сказал про «выпендрей», потому что увидел в Алике характер. Равным себе признал — опять-таки по характеру. А что Алик книжек побольше его проглотил — не считается. Дело наживное. Так что Пашенко тоже пусть не шибко задается...

Между прочим, виделись они с Пашенко пару раз, принес Вещалка воспоминания об Анатоле Франсе. Алик прочитал — скучной книжица показалась...

И Дашка уловила в Алике перемены.

— Ты стал каким-то железным,— сказала она.  
— Много звону? — пошутил Алик.  
— Слово «надо» для тебя значит больше, чем слово «хочу».

— Это плохо, по-твоему?

— Не плохо, но странновато. Ты или не ты?

— Я, я,— успокаивал он Дашку, а сам подумал: «Быть железным не так уж скверно. Мужское качество»

И все-таки Дашка ему льстила: не такой он железный, как хотелось бы. Суровое «надо» далеко не всегда перевешивало капризное «хочу». И с этой точки зрения Алик не слишком изменился. Во всем, кроме тренировок.

Но слово сказано. И Алик невольно поглядывал на себя со стороны не без гордости: и когда нес кирпичи по качающимся дощатым мосткам на последний этаж (хотя мог воспользоваться грузоподъемником), и когда тащил на плече чугунную мойку для кухни (хотя Фокин предлагал помощь), и когда остервенело рыл траншею для кабеля (хотя все ждали юркий тракторок «Беларусь» с экскаваторным ковшиком). Все это было нужно и не нужно Алику. Нужно, потому что Александр Ильич не зря советовал «брать больше, кидать дальше» — такая строительная формулировка тренировочного метода Лешего. Не нужно, потому что нагрузки эти сильно пахивали показухой. Не мог-таки Алик избавиться от роли, которую нравилось ему играть, от красивой роли железного человека, для кого «нет преград ни в море, ни на суше», как пелось в старой хорошей песне.

А почему, собственно, роль? Разве Алик не был именно таким человеком? Разве не преодолел он себя, свое безволие, свою мягкотелость? Захотел стать первым — стал им.

И странная штука: он совсем не вспоминал о своих вещих снах. А в первых-то он оказался лишь благодаря их загадочной и неодолимой мощи — и только так. Но пропали они, не снились больше, спал Алик без сновидений, уставал за день — ужас как, влезал вечером под одеяло, обнимал подушку и отключался до утра. И ночь пролетала, как миг: только-только заснул, а уже пора вставать, пора бежать на Москву-реку, пора отмахивать свои километры, а потом лезть под довольно противный, но крайне необходимый организму прохладный душ. Словом, всю доказывать свою замечательную «железность».

Короче говоря, забыл он о первоисточнике своих гран-

диозных достижений, поверил в себя и — только в себя. Еще бы: сила воли плюс характер, как уже неоднократно было отмечено.

Но в этой выведенной Аликом прекрасной математической формуле имелось еще одно слагаемое. «Сказка», «небыль», «миф», «фантастика», «сверхъестественная сила» — как угодно назовите, не ошибетесь. И не учитывать его — для вычисления конечного результата — опасно. Говорят же: чем черт не шутит...

Как-то после работы, ближе к вечеру, поехали они с Дарьей свет Андреевной в Сокольнический парк — покататься на аттракционах, поесть мороженого, побродить по лесным дорожкам. Скинулись наличными, почувствовали себя миллионерами. По нынешним временам аттракционное веселье стоит недорого: тридцать копеек за три минуты сомнительной радости. На все хватило. Поахали на «Колокольной дороге», протряслись на «Лохнесском чудовище», промокли под фонтанными брызгами на «Музыкальном экспresse», в кегельбане выиграли для Дашки блестящее самоварное колечко с ярким пластмассовым самоцветом. В «Пещеру ужасов» не попали: очередь в нее казалась ужаснее самого аттракциона. Купили по стаканчику шоколадного, двинули в лес. Хотя и невелик он в Сокольниках, зато тих, веселящаяся публика не бродит по его тропинкам, сюда больше влюбленные парочки забредают. А чем Даша с Аликом от них отличались? Ничем. Разве тем, что скрывали они друг от друга свою робкую влюбленность, так старательно скрывали, что всем вокруг она ясна была. Всем, кроме них.

Как непохож он был — этот парковый чистенький лесок, ухоженный горожанин, старательно притворяющийся диким и грозным, на тот лес в двух часах езды от Москвы, где Алик на своих двоих познавал тяжкую науку «быть первым». Как, тем более, не похож он был и на темный, грибной да ягодный трубинский лес, где тропки не утопаны, трава не примята, где жила веселая баба-яга, большая любительница человечины.

Лес-притворяшка ничем никого не пугал, потому что отовсюду слышались совсем не девственные, не лесные звуки: автомобильный гуд, запрещенный звон клаксонов, отдаленное пение репродукторов в луна-парке и близкое пение гуляющей публики, нестройное пение «Подмосковных вечеров», «Уральской рябинушки» и «Арлекино».

Парк гулял.

Но Алику с Дашей все эти посторонние звуки были, как говорится, до лампочки, ничего они не слышали, и лес в их присутствии сразу почувствовал себя настоящим дремучим бором, каким, собственно, они и хотели его видеть. Шли они, шли, ели мороженое, говорили о пустяках: о практике, о грубом прорабе, который «девочек за людей не считает»; о Биме, который трижды вступал в справедливый спор с грубияном и выходил из него победителем; о стихах, которые Даша прочла, пока Алик «рубил дрова» на спортивной базе; о дровах, которые Даша видела только в кино, ибо никуда из Москвы не выезжала дальше пионерлагеря, а там, как водится, паровое отопление. Шли они так и чувствовали себя, если не на седьмом, то — не ниже! — на шестом небе.

И вдруг—сюрприз. Неприятный. На полутемной аллее образовалась компания подростков — не старше Даши с Аликом. Трое парней-волосатиков, две русалочки в джинсах, непременная гитара — семиструнная «душка», непременная же бутылочка на скамейке, заветная полулитровочка с дешевым крашеным портвейном. Подрастающее поколение ловило «кайф». И видать, словило оно этот неведомый никому «кайф», потому что дрожали струны гитарные, тренькали под неумелыми пальцами, качали бедрышками русалки в такт струнам, тянули хрипловатыми, «подпитыми» голосами нечто заграничное, влекущее, вроде: «Дай-дай-гоу-бай. Бай-бай-лоу-лай». Или что-то похожее.

— Алик, давай повернем,— прошептала Даша. Ей стало страшновато.

— Почему? — твердо спросил Алик. Ему тоже было страшновато.

— Я тебя прошу,— настаивала Даша.

— И не подумаю,— сказал Алик, и сказал это довольно громко, потому что гитарист перестал бренчать, русалки умолкли, и все повернулись к Даше с Аликом.

— Смотри-ка,— удивленно произнес один из парней.— Влюбленные.

Судя по тону, он был потрясен тем, что увидел. Или, скорее, вошел в роль. Роль паркового супермена, повелителя аллеи, Джека-потрошителя-почтеннейшей-публики — не из последних любителей «кайфа». Согитарники не желали уступать премьерства в этом амплуа.

— У них глубокое чувство,— сказал второй супермен, сложив губы трубочкой.

— Ромео и Джульетта, — не остался в стороне третий, видимо самый начитанный.

Девушки хихикали. Поворачивать было поздно, и Даша поспешила дать еще один совет:

— Не обращай внимания, Алик.

Алик и рад был бы не обратить внимания, пройти мимо с независимым видом: ну, поиздеваются, позлословят — что за беда! Так он и поступал когда-то, случались с ним подобные приключения раза два или три, и ничего — чистеньким из них выбирался. Но тогда не было Дашки... Мелькнула мыслишка: а не дернуть ли отсюда? Схватить Дашку за руку и — ходу. Дашка поймет и простит: она сама перепугана до смерти, поджилки трясутся — на весь лес слышно.

Дашка-то простит, верно, но простит ли он себе сам? Сумеет ли он встретиться с ней завтра, послезавтра, через месяц? Он — железный человек, «сила воли плюс характер»? Может быть, и сумеет, да только тошнехонько будет...

И все-таки шел молча, держал Дашку за локоть, чувствуя, как напряглась ее тоненькая рука. Вдруг пронесет?

— Парень, закурить у тебя не найдется? — это была уже классика, знакомая Алику по книгам и фильмам, да и парням этим по тем же источникам знакомая. «Литературщина», — сказал бы отец.

— Не курю, — ответил Алик проверенной фразой.

— А девчонка?

— И она не курит, — стараясь говорить твердо, объяснил Алик, сильно сжав Дашкин локоть.

— А это мы шас проверим, — произнес один из суперменов, но неуверенно произнес. Знал, что роль требует продолжения, требует крепких слов и красивых действий, но нечасто он играл эту роль, не обтерся в ней. И Алик почувствовал неуверенность парня, осторожно шествующего к Дашке, почувствовал и легко ему стало, легко и пусто, как перед самым первым прыжком — тогда в саду, всего на метр сорок.

— Осади назад, — сказал он парню.

— Повтори, не слышу, — старательно смягчая гласные — о, всеильная роль! — потребовал супермен.

— Осади назад.

— Поучи его, Кока, — капризно протянула русалка.

Кока шагнул к Алику, но Алик не стал дожидаться

«урока». Он ударил первым. Ударил так, как видел в десятках фильмов. Ударил в нахально выдвинутый подбородок Коки, вложив в удар всю тяжесть своего тела. И Кока упал. И остался лежать. Это был чистый нокаут, выключивший супермена из действительности по меньшей мере на минуту. Впору бежать за наштаырем, махать мокрым полотенцем, делать искусственное дыхание. Две недели истязаний по методу Лешего, две недели рубки и пилки дров, таскания булыжников и рытья траншей сделали свое дело. На это Леший и рассчитывал, хотя в его расчеты явно не входила встреча с суперменами.

Алик не стал дожидаться, пока Кока очухается или же его малость остолбеневшие кореша придут ему на помощь. Он перешагнул через нокаутированного соперника, подхватил массивную садовую урну, стоящую около скамейки, рывком поднял ее.

— Убью, сволочей! — надрывно заорал он и пошел на изумленную компанию, держа урну перед собой.

И супермены дрогнули. Не то чтобы они испугались явно сумасшедшего влюбленного. Просто их ни разу в жизни не били урнами, а неизвестность всегда пугает. И когда Алик, не в силах больше удерживать вонючую громадину, по-извозничьи ухнув, метнул ее прямо в лежащую на земле гитару, и гитара треснула как взорвалась, зазвенели порванные струны — тут уже супермены дали деру.

— Бежим, — шепнул Алик Дашке.

И они помчались. Супермены через некоторое — очень небольшое — время придут в себя, поймут, что их одурачили, заметят, что их все-таки трое против одного, пусть даже боксера (удар-то техничным вышел, кого угодно смутит...), вернутся мстить. А мстить некому: обидчики скрылись. И скрываться не показалось им стыдным: первая победа осталась за Аликом, первая и теперь окончательная.

Алик бежал легко — привычка! — ташил за собой Дашку. Когда они выскочили на центральную аллею, ведущую к выходу, Дашка взмолилась:

— Алик, я не могу больше...

Он притормозил. Далее нестись как угорелым было бессмысленно. Супермены с русалками затерялись позади, топота погони не слышать, да и погоня здесь обречена на провал: вон милиционеры на мотоцикле проехали, вон



дружинники газировку с сиропом пьют, по сторонам поглядывают.

— Хочешь, посидим, передохнем? — спросил Алик. Он уже ничего не страшился.

— Ой, что ты, поехали домой. Я вся дрожу.

«Я вся дрожу» — явно из чьего-то репертуара. То ли леди Гамильтон, то ли Бекки Тэтчер из великой книги Марка Твена. Но Алик не пытался обнаружить источник реплики, он просто обнял Дашку за плечи — впервые в жизни! — прижал ее к себе, почувствовав, что она и вправду дрожит — скорее от испуга, чем от холода. Да и какой холод — под тридцать по Цельсию, несмотря на вечернее время...

Так они и дошли до метро. И в вагоне он не убрал руку, а Дашка не протестовала. Ехали — молчали, не вспоминали о происшедшем. И только когда шли от метро к дому по яркому и людному Кутузовскому проспекту, Дашка рассмеялась.

— Ты что? — спросил Алик.

— Как ты их... урной... — она уже и говорить не могла — от смеха.

И Алик охотно вторил ей, вспоминая, как возвышался таким Гераклом, швырял чугунный сосуд, как взрывалась гитара, не привыкшая к столь грубому обращению.

Отсмеявшись, сказал:

— Перетрусил я — стыдно признаться.

— А вот врать не надо, — строго сказала Дашка.

— Я не вру, — опешил Алик. Стоит правду сказать, как тут же во лжи обвиняют. А соврешь — верят без оглядки. Где справедливость?...

— Врешь, и бесстыдно. Если бы перетрусил, я бы чувствовала. А ты шел, как статуя Командора, ни жилочка не дрогнула. Говорю: железным стал. Прямо стальным. А в подъезде на лестнице у своей двери встала на цыпочки, быстро поцеловала его в щеку, шепнула:

— Спасибо тебе, — и скрылась за дверью.

Когда она только отпереть ее сумела? Чудеса...

Алик остался на площадке — дурак дураком. За что спасибо? За то, что «спас ее из лап разъяренных хулиганов», как пишется в переводных детективных романах? Или за неудачный вечер?

Неправда, удачным он был. Неожиданным. Счастливым. И «спасибо» вовсе не Алику адресовано, точнее, не



только Алику. Спасибо суперменам за то, что они позволили ему выяснить, наконец, отношения с Дашкой. Спасибо им за то, что он поверил в себя...

Подведя итог вечеру столь высоким «штилем», Алик потопал на свой шестой этаж. Размышлял: верно, что не пропали даром трудовые деньки на спортивной базе. И на практике не зря мойки взад-вперед носил, кирпичи на двенадцатый этаж втаскивал. Кое-какая силушка появилась. А с ней — и умение той силой пользоваться.

Но Дашка-то: «врать не надо»... Алик даже головой покрутил от удовольствия. Эдак, охулкой, и дара можно лишиться. Слышал бы джинн сие обвинение...

Пришел домой, поужинал, родителям про драку не стал рассказывать. Сообщил только, что катались на аттракционах, ели мороженое: отчитаться следовало, поскольку деньги на парк ссужали они. И лег спать.

И спал опять без всяких сновидений.

## 16

Стройка — дело суетное. По утрам стоит шум в прорабской, ругаются бригады: то не так, это не так. Прораб лениво отругивается — скорее по привычке, чем по злобе. Накричавшись, успокаиваются, наскоро курят, расходятся: работать надо. Монтажники довольны: дом собран, стоит коробка, щерится целыми окнами. Теперь трудятся отделочники — маляры, штукатуры, сантехники.

Алик пробирался по утрам в прорабскую, сидел тихонько, слушал — дивился. Казалось, не устоять стройке: раствор не подвезли, трубы дождем мочены, рукавицы рваные, монтажники нахалтурили — в швах ветер свистит. Но держится дом. Запущен в ход дневной механизм работ, аукаются в пролетах девчонки-малярши, спят синим пламенем сварщики — «зайчика» не поймай, не ослепни, пылят колесами МАЗы и ЗИЛы. И раствор откуда-то взялся, и трубы, оказывается, дождем не погублены, и рукавицы справные, а что до швов — держатся швы, свой срок выстоят.

Живет стройка особой жизнью. Крику много, а работа идет: крик — не помеха работе.

Алика определили учеником слесаря-сантехника. Он пришелся в бригаде ко двору, заимел кепку с пуговкой — как у бригадира, вечно таскал за поясом комбинезона

разводной «газовый» ключ — для форсу, как тяжелый знак профессии. Пользоваться им пока не приходилось. Сварщики варили трубы, а бригада устанавливала батареи центрального отопления — деликатная работа, куда ученика не допускали. Смотреть смотри, а ключиком не лезь.

Смотрел. Помнил пашенковское: мужчина должен уметь все. Мама вызывала слесаря, когда тек кран или засорялась труба, вся семья взирала с благоговением на великого умельца, ничего не понимая в его деле. Теперь не придется «варяга» звать, Алик сам справится. Он — мужчина.

Дашка работала в бригаде маляров, и ей уже доверялся даже краскопульт. Девчонки в бригаде — немногим старше Дашки, только-только из профтехучилища. Бригадирше, пожилой женщине, все равно, кого учить: их или Дашку. Дашка прослыла способной, удостоилась лестного бригадиршиного предложения:

— Закончишь школу — айда ко мне в бригаду. К делу ты с душой относишься, а заработки у нас хлебные.

Дашка обещала подумать, чтобы не обижать бригадиршу. Сама для себя все давно решила: станет геологом. Или географом. В общем, путешественником. Горячили ей лоб вольные ветры дальних странствий. Одно теперь останавливало: как с Аликом быть? Он в Москве, она в экспедиции — нехорошо. Утешалась: школу надо закончить, в институт поступить, почти шесть лет проучиться — срок немалый. Там видно будет.

Алик знал о ее мечтах, но всерьез к ним не относился. Его не волновали завтрашние заботы, нынешних по горло хватало. Через несколько дней — городские соревнования. Бим подходил, напоминал, и Александр Ильич домой звонил, спрашивал: как успехи? А какие успехи? Двести пять — ни сантиметром выше. Да и этот результат не очень стабилен. Нет-нет — а собьет планку. Понимал, что у каждого возраста есть свой предел. И так он свой предел с помощью «нечистой силы» легко приподнял. Такая высота в его годы — почти сенсация. Из молодежной газеты корреспондент на стройку приходил, интервьюировал Алика. В воскресном номере появилась заметка под названием: «Есть смена мастерам!» Корреспондент не утерпел, воспользовался подсказанной Аликом фразой-каламбуром, написал в конце: «Кто прыгнет выше Радуги?» По всему выходило, что — никто. Но Алик нервничал:

не шла высота. Похоже, что у дара оказалось еще одно «пограничное условие» и выполнялось оно без исключений: двести пять сантиметров, дальше — потолок, как ни изнурил себя Алик тренировками.

И не соревнования тревожили Алика. Соревнования — ерунда! Выиграет он их. Но что дальше будет? Прибавит ли он когда-нибудь толику к заколдованным двумстам пяти? Прыгнет ли «выше Радуги»?

Поделится заботами с Дашкой:

— Тренируюсь, как псих, сама знаешь, а с места не сдвигаюсь.

— Может, стоит отдохнуть? — сердобольно посоветовала Дашка. — Есть такой термин в балете — «затанцеваться». То есть — переработаться. Мне кажется, ты затанцевался.

Похоже, Дашка права. Буркнул нехотя:

— Отдохну. Отпрыгаю соревнования и месяц к планке не подойду. Гори она ясным огнем...

Они сидели на подоконнике в квартире на втором этаже. Широкий подоконник, жильцы загорать смогут. Дашка обняла двадцатилитровый бидон с краской, который какой-то умник забыл на окне. Алик мельком подумал: снять бы его, переставить на пол, не ровен час — загремит вниз. И еще подумал: лучше бы Дашка не бидон обнимала, а его, Алика. Но не сказал о том вслух, постеснялся. Только накрыл своей ладонью Дашкину — узенькую, в белых пятнах краски. Так и сидели.

— А Фокина мне жалко, — сказала Дашка.

— Почему? — удивился Алик.

— Был первым прыгуном, в ус не дул, а лучший друг ему такую свинью подложил.

— Какую такую?

— Вот такую, — осторожно высвободила ладонь, широко развела руки, показав, какую свинью Алику Фокину подложил, а потом опять аккуратно просунула свою ладонь под Аликову — на место. Засмеялась, довольная шуткой.

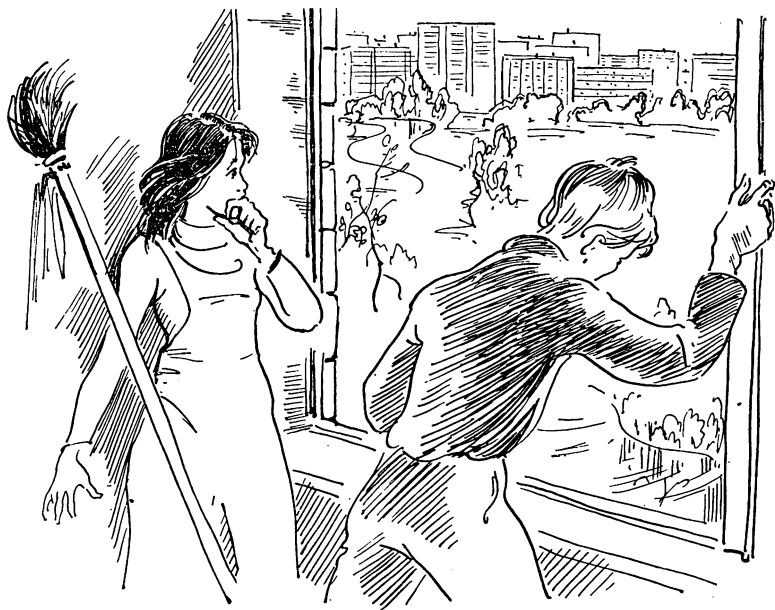
Алик возмутился ее словами. При чем здесь он? Если Фокин завтра начнет писать стихи лучше Алика, то, выходит, называть его предателем? Вздор!

— Не я, так другой. Прыгать лучше надо.

— Он неплохо прыгает. Бим так считает.

— Бим с ним и носится, на меня — ноль внимания.

— А ты и обиделся. Ой, сиротка...



— Думаешь, не обидно? Я как спортсмен сильнее, мне знания тренера необходимы.

— Он их слабому отдает.

— Помогут они слабому как мертвому припарки..

И ведь понимал, что глупость говорит, гадкую глупость, а не мог остановиться, несла его нелегкая: злость подавила разум. И откуда она взялась — чертова злость? Копилась подспудно: злость на неудачи (не идет высота...), злость на Бима (даже не заглянет в спортзал, как будто не существует никакого Радуги). Пустая и вздорная злость — от непривычной усталости, от постоянного нервного напряжения. И подавить бы ее, посмеяться вместе с Дашкой над не слишком ловкой шуткой, забыть... Поздно.

— Знаешь, о чем я думаю? Завидует мне Фокин. И Бим завидует, — вскочил, заходил по комнате. — Один — успеху, а другой — тому, что не он этот успех подготовил...

— Алик, ты с ума сошел! — закричала Дашка. — Прекрати сейчас же! Ты сам не веришь в то, что говоришь.

Не верил. Конечно, не верил...

— Не верю? Еще как верю. А если ты Фокина с Бимом жалеешь, не по пути нам с тобой.

Сказал и увидел, как наливаются слезами Дашкины синие глаза-блюдца.

— Не по пути? И пожалуйста! — резко соскочила с подоконника, оттолкнувшись от него руками, и, видно, задела бидон — непрочный он стоял, сдвинутый к самому краю. Алик так и замер на мгновение с открытым ртом, увидев, как покачнулся тяжелый бидон. Потом рванулся к окну, оттолкнув Дашку, и — не успел. Только упал грудью на подоконник, обреченно смотрел вниз: бидон медленно, как в рапидной съемке, перевернулся в воздухе — только плеснулась по сторонам белая масляная краска из широкого горла — и грохнулся на ящик внизу у стены. И в немую доселе картину неожиданно ворвался звук: мерзкий хруст раздавленного стекла. Алик вспомнил: в ящике хранились оконные стекла, с трудом «выбитые» прорабом на складе управления. Вчера утром на планерке он с гордостью сообщил о том бригадирам. Алик тоже был на планерке, слышал.

— Что я наделала? — Дашка лежала рядом на подоконнике.

Слезы, что грязноватой дорожкой прошлись по ее щекам, мгновенно высохли — от испуга. Алик взял ее за руку, притянул к себе, погладил по волосам — осторожно. И она опять заплакала — в голос, по-бабьи, прижалась лицом к замасленному комбинезону Алика. Алику было не очень удобно: разводной ключ за поясом больно впился в живот. Но он стоял не шелохнулся.

Забыты все слова, только что сказанные, зачеркнуты напрочь — не было их. И ссоры не было. А был только день, обычный летний день, а посреди дня — двое. Он и она. Как в кино.

Ну и, конечно, — разбитое стекло внизу. Этого не зачеркнешь, как ни старайся.

Алик нехотя отодвинул Дашку.

— Перестань реветь. Подумаешь, стекло. Не человека же ты убила?

— Да-а, «поду-умаешь», — всхлипывала Дашка, вытирала грязными ладошками слезы. Скорее — размазывала по щекам. — Что теперь будет?

— Ничего не будет. Слушай меня. Я — железный, сама говорила, — и подтолкнул ее к выходу. — Пошли вниз. Там уже хватились.

У ящика со стеклом стояла, казалось, вся стройка. Стоял прораб. У него было лицо человека, только что

приговоренного к повешению: веревка намылена и спасения нет... Стояли бригадиры, вполголоса переговаривались, соболезнующе поглядывая на приговоренного прораба... Стоял Бим, явно взволнованный. Во всех неполадках на стройке он тайно подозревал своих учеников и панически боялся, что подозрения когда-нибудь оправдаются. До сих пор он ошибался — до сих пор... Стоял Фокин, тяжело задумавшись о собственном будущем. Он работал со стекольщиками, и с завтрашнего дня они как раз собирались приступить к замене расколотых стекол в квартирах. Теперь придется передохнуть... Стояли Торчинский с Гулевых. Этим было просто любопытно знать, как развернутся события: шутка ли — такое ЧП!..

Алик протиснулся сквозь плотную толпу любопытствующих и подошел к прорабу. Громко, чтобы все слышали, сказал:

— Моя работа, товарищ прораб.

— Не мешай, парень. Не до тебя, — отмахнулся прораб.

— Как раз до меня, — настаивал Алик. — Это я сбросил бидон со второго этажа.

Тут до прораба дошел наконец смысл слов Алика. Он оторвал взгляд от любезного ему ящика и уставился на школьника, как будто впервые увидел.

— Каким образом? — только и спросил, потрясенный откровенным признанием.

— Нечаянно. Какой-то идиот оставил его на подоконнике, окно было раскрыто. Я хотел переставить бидон на пол — от греха подальше — и не удержал.

— Ты-ы... — прораб глотнул воздух, словно ему его не хватало, хотел добавить что-то крепкое, соленое, но сдержался, только рукой махнул.

— Я найду деньги, — быстро сказал Алик. — Я заплачу.

— Деньги... — сказал прораб. — При чем здесь они? Ты мне стекло найди. Последний ящик со склада выбил, надо же... Чем теперь окна забивать? Фанерой?

— Подождите, стойте! — к месту действия продиравлась заревавшая Дашка, до которой (далеко стояла, не решалась подойти ближе) только сейчас дошел смысл происходящего. — Это не Алик! Это я толкнула!

— Нечаянно? — с издевкой спросил прораб.

— Нечаянно.

— Тоже переставить на пол хотела?

— Нет, я с подоконника прыгнула, а он упал.  
— Подоконник?  
— Да бидон же...  
— Не слушайте ее, товарищ прораб, — твердо вмешался Алик. — Несет чушь. Дев-чон-ка! — постарался вложить в это слово побольше презрения. — Я свалил и — точка, — и подмигнул Фокину: мол, уведи Дашку.

И верный Фокин мгновенно понял друга, схватил плачущую Дашку в охапку, потащил прочь, приговаривая:

— А вот мы сейчас умоемся... А вот мы сейчас слезки вытрем...

Дашка вырывалась, но Фокин держал крепко. Еще и Гулевых с Торчинским вмешались — помогли Сашке: тоже не дураки, сообразили, что Дашка Алику сейчас — помеха в деле.

— погоди, прораб, — вмешался бригадир слесарей, руководитель практики у Алика. — У смежников на доме третьего дня я видел такой же ящик. А они, как ты знаешь, сдавать дом не собираются. Кумекаешь?

Прораб взглянул на бригадира с некой надеждой.

— Точно знаешь?

— Не знал бы — не лез.

— Бери мою машину и — пулей к ним. Проверишь — позвонишь. А с их прорабом я договорюсь, — потер в волнении руки. — Неужто есть спасение?

Публика потихоньку расходилась. Прораб строго посмотрел на Алика, сказал:

— Хорошо, что честно признался, не струсил. А заплатить, конечно, придется. В конце практики твой заработок подсчитаем и вычтем, что положено. Понял?

— Понял, — с облегчением ответил Алик.

Он был искренне рад: история заканчивалась благополучно. В том, что у смежников стекло найдется, не сомневался даже прораб: знал, что бригадир впустую не говорит, не обнадеживает. И Алик это давно понял: не первый день с бригадиром трудится.

Бим к нему подошел.

— Скажи честно, Радуга, взял грех Строгановой на себя?

— А если бы и так? — запетушился Алик.

— Если так, то неплохо. Мужчина должен быть рыцарем.

Что это все стараются Алику объяснить, каким должен быть мужчина? То Пашенко свой взгляд на сей счет до-

ложил, теперь Бим. А Алик, выходит, — копилка: что ни скажут — собирает и в себе суммирует.

А Бим — с чего бы? — похлопал его по плечу, бросил, уходя:

— Растешь в моих глазах, Радуга. Не по дням — а по часам.

Как будто Алику так уж и важно, растет он в глазах Бима или нет. А все-таки приятными показались Алику последние слова педагога. Что за примитивное существо — человек: обычной лести радуется...

Потом к Фокину подошел, спросил:

— Куда Дашку дел?

— Домой отвел.

— Брыкалась?

— Не то слово. Просто психическая...

— Спасибо тебе.

— Рады стараться, ваше благородие!

И все. Ни слова больше. Старая и крепкая дружба не терпит лишних слов, боится их. Гласит поговорка: сказано — сделано. У Сашки с Аликом — все наоборот: сделано — значит, сказано.

Разошлись по рабочим местам: еще целый час до звонка. Алик думал с раскаянием: «Подонок ты, Радуга. Заподозрил друга черт знает в чем, наговорил Дашке с три короба. Выдумал тоже: завидуют тебе... Скорее ты Сашке завидовать должен: это он — настоящий мужик, а ты — истеричная баба...»

Таскал на этаж радиаторы центрального отопления, представлял, как позвонит вечером Дашке, что они скажут друг другу.

## 17

Под городские соревнования отвели Малую спортивную арену в Лужниках. Каков уровень! Поневоле зазнаешься... Наро-оду на трибунах — пропасть! Места бесплатные, погода отличная, зрелище любопытное — отчего же не посетить. Свистят, орут знакомым на поле, едят мороженое. Репродукторы надрываются: «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена...»

Алик вышел из раздевалки, посмотрел по сторонам, послушал — даже поежился. Привык он бороться один на один с планкой, в пустом школьном зале, куда только



нянечка иногда заглянет, скажет: «Еще не отпрыгался, болезненький?» И никого больше. А тут — зрители. Хлеба и зрелищ им подавай. Хлеба они дома поели, а за зрелищами сюда явились. Будет им зрелище.

На футбольном поле возле ворот одиноко сидел Пашенко. Алик увидел его, закричал обрадованно:

— Валерка! — помчался к нему.

Обнялись, похлопали друг друга по спинам — давно не виделись, нынче уже третий день пошел, как Алик к «Вешалке» домой заезжал, книгу отвозил.

— Как самочувствие? — строго спросил Пашенко.

— Жалоб нет.

— Какие прогнозы?

— Думаю всем рекордам дать мое звонкое имя.

— «Имя рекорда — Радуга», — Пашенко произнес это и прислушался: как звучит? Звучало красиво. Заметил с сожалением: — Не то что — «Имя рекорда — Пашенко». Скучная у меня фамилия.

— Прыгнешь на двести сорок — зазвучит Царь-колокол.

— Лучше ростовскими колоколами. Царь-колокол никогда не звонил, если ты помнишь.

Алик засмеялся. Опять уел его всезнайка Пашенко. Знал Алик историю самого большого колокола, который так и не удалось повесить в звоннице, знал да запомнил. А Пашенко ничего не забывает, тягаться с ним бессмысленно.

— Где Леший?

Пашенко огляделся по сторонам.

— Только что был здесь... Придет, куда денется. Он помнит, что у вас, сэр, сегодня дебют.

— И у вас дебют, сэр, — в том же стиле отвечивал Алик.

— Куда нам, грешным... Вы, сэр, — премьер, а мы — статисты в вашем спектакле.

— Валерочка, не лицедействуй, — опять смеялся Алик, но шутовское замечание Вешалки было ему приятно. «Маня грандиоза», — сказал бы в таком случае отец.

Невесть откуда вынырнул Александр Ильич в своем «соревновательном» костюме: синяя куртка и красная водолазка, на шее — секундомер болтается.

— Готовы, отцы?

— Немного есть, — ответил Алик.

— Плохо, — поморщился Леший. — Скромность, ко-

нечно, украшает, но злоупотреблять ею не следует. Какой последний результат на тренировке?

— Сто девяносто восемь,— ответил Пашенко.

— Отлично. А у тебя?

— Двести пять,— сказал Алик.

Леший даже присвистнул.

— Ну, отец, ты дал! Никак, на рекорд мира замахнулся?

— Не буду злоупотреблять скромностью.

— И правильно. Если не остановишься, годика через три-четыре начнем штурмовать. А пока с осени — оба в мою группу. Возражения есть?

Возражений не было.

— Кто из сильных сегодня выступает? — спросил Алик.

— Советую присмотреться к двоим,— сказал Леший. — Номер семь — Баранов и номер одиннадцать — Файн.

— Ты их знаешь? — обратился Алик к Пашенко.

— Файна знаю. Длинный такой, в очках. Стилем «фосбюри» прыгает.

— Спиной к цели,— презрительно протянул Алик.

— Когда цель не видишь — не так страшно,— пошутил Леший и, посоветовав напоследок: — Бойтесь Файна, опасный конкурент,— умчался дальше — другим советы раздаривать.

Репродуктор потребовал участников соревнований к построению на парад. Построились. Под гремящий металлом марш прошествовали мимо трибун, встали на футбольном поле. Выслушали три кратких речи, вытянулись по стойке «смирно», пока флаг поднимали. Все как в районе, только поторжественнее. Разошлись кто куда. Бегуны — к месту старта. Метатели — к своему бетонному кругу. Прыгуны — в сектор для прыжков. Судей на сей раз за алюминиевым столом было побольше, знакомых среди них что-то не видно. Обеспечено максимальное беспристрастие. У Алика — семнадцатый номер, у Вешалки — третий.

— Не повезло,— посетовал Валерка.

— Не бери в голову,— утешил его Алик. — Борись не с соперником, а с планкой. Она без номера.

Начальная высота — сто шестьдесят сантиметров. Детские игрушки...

Никто не сбил планку. Даже вторая попытка никому

не понадобилась. Сразу видно: собрались лучшие в городе.

Сто шестьдесят пять. Ветерок откуда-то возник, нагонял тучу.

— Как бы дождь не полил, — сказал Валерка.

Вот когда придется пожалеть о том, что не в шиповках прыгаешь. Размост сектор, начнут тапочки по грязи елозить — разве прыгнешь? Станешь думать, как бы не упасть... Нет, зря Алик шиповками пренебрег. Говорил ему Александр Ильич: пожалеешь, намаешься в тапочках, не в зале прыгаем. Кто не в зале, а Алик как раз в зале тренируется. Решил: с завтрашнего дня переходит на шипы. Просит у отца деньги, едет в магазин «Динамо» и отоваривается. Хватит кустарничать! А тренировки перенесет на свежий воздух, на площадку в саду. И плевать на малышню: пусть смотрят на «дядю чемпиона», не сглазят...

Сто семьдесят на табло. Осмотрелся: борьбу продолжают все, никто не вылетел. Однако новая высота пошла труднехонько. Кому-то три попытки для ее одоления потребовались, а кому-то и трех не хватило.

— Меньше народу — больше кислороду, — пошутил Пашенко, и по неожиданной плоской шутке Алик догадался, что друг волнуется.

— Все будет тип-топ, Валера, держи хвост трубой.

Самому Алику тревожиться не о чем. Прыжки идут, как отрететированные. Да они и вправду отрететированы.

Сто семьдесят пять.

А занятию Файн прыгает. Разбегается по дуге к планке, взвинчивается в воздух штопором, зависает на долю секунды, прогнувшись, и — взял высоту. С первой попытки. Пижонит: толчковая нога — в шиповке, правая — в одном носке.

Алик примерился к высоте, отсчитал шаги до места начала разбега, пошел на планку. Толкнулся сильно, взлетел хорошо, а при переносе тела задел планку коленом, упал на маты вместе с ней.

— Толчок слабый, совсем без запаса прыгнул, — сказал Валерка. — Что с тобой, Радуга?

Сам-то он высоту одолел, не поскользнулся.

— Спасибо за совет, — буркнул Алик, не одевая тренировочный костюм, побежал по полю: двадцать метров вперед, двадцать назад — для разминки.

Догадывался: не в толчке дело. Хороший толчок был,

как обычно. Не почувствовал тела — вот беда. Соберись, Алик, не расслабляйся...

Вторая попытка. Разбег... Толчок... Есть!

Пошел на место, недовольный собой. Натянул костюм, сел, ноги вытянул.

— Опять запас минимальный, — недоумевал Пашенко. — Силы бережешь?

Алик промолчал. Сил он не берег, прыгал «на полную катушку». Что-то не срабатывало в отлаженном механизме прыжка. Что? И откуда-то вдруг появилось волнение, мандраж какой-то. В животе засосало. От голода?

Встал, сделал несколько наклонов, приседаний. Вроде отпустило. Пашенко на него с удивлением поглядывал, но в разговор не вступал: захочет Алик — сам заговорит, а пока пусть отмалчивается, если такой стих напал.

Тактичный человек Вешалка...

Высота — сто восемьдесят. Человек десять в секторе осталось. Пашенко уже первый прыгает.

Взял с первой попытки. Красивый у него полет. Все-таки «перекидной» — это вам не «фосбюри-флоп», тут — естественность, легкость, стремительность. А «фосбюри» — придуманный стиль, вымученный.

Файн так не считает. Берет высоту «вымученным» стилем с первой попытки.

Алик еще раз разбег проверил: двенадцать с половиной шагов — точно. Когда он прыгал, не видел никого, даже трибун не слышал — начисто выключался.

Но в голове словно контролер включился. Следил за тем, как Алик бежал, даже шаги подсчитывал, учел силу толчка, положение тела при взлете. И, как бесстрастный свидетель, отметил холодное прикосновение планки к левому колену. Сбил!

Сороконожку спросили: с какой ноги ты начинаешь идти? Сороконожка задумалась, принялась считать, перебирать варианты и... не сумела шагнуть. Она не знала, с какой ноги начинать.

Алик сейчас напоминал себе эту сороконожку. Прощитывает, как бежит, как летит, а в результате — фиг с маслом. Отключить бы проклятого контролера, не думать ни о чем — только прыгать. Автоматически, запрограммированно... И все же: где ошибка? Что-то не получается при переходе через планку... Не скоординированы движения. Как? Маховая нога идет над планкой... Здесь все в порядке. Дальше — таз и толчковая нога. Вот где

ошибка! Не успевает вытащить ногу. Надо резче...

Но во время прыжка — не думать о нем. Приказал себе: слышишь? Не думать!

Легко сказать — не думать. Пошел на вторую попытку, сконцентрировал внимание только на планке. Вон она — тоненькая, матовая, легкая. А если представить себе, что нет ее вовсе? Прыгай для собственного удовольствия и — повыше... Нет, есть планка, лежит она на крошках кронштейнах, чуть подрагивает...

Взял высоту.

Но как тяжело идет дело! И вроде спал нормально, никаких волнений не наблюдалось, с Дашкой не ссорился, с родителями — мир и благолепие... Перетренировался?

А Валерка Пашенко уже впереди Алика — по попыткам. И летающий Файн впереди. А у Баранова тоже два завала имеются. Остальные участники — подальше, отстали.

Сколько остальных? Раз, два, три... Пятеро. Алик — шестой.

Высота — сто восемьдесят пять. Еще вчера — тренировочная высотка. Как сегодня будет?

Пашенко... Зачастил ногами-ножницами, рыжие кудри — в разные стороны под ветром, толчок... Молодец, Валерочка! Чистым идет, все рубежи — без осечек.

Очередь Алика.

— Отец, толкайся на полстопы ближе к планке.

Обернулся. Александр Ильич стоит, лицо сердитое...

Не оправдывает ваш талантливый ученик надежд... А совет испробуем. На полстопы ближе — значит, отсюда.

Вернулся к началу разбега, сосредоточился.

— Резче разбег!

Это уже в спину крикнул Леший. И Алик припустился к планке, оттолкнулся, перелетел через нее и, видно, задел напоследок: закачалась она, одним концом даже запрыгала на полке. Удержится?.. Удержалась.

Алик полежал секундочку на теплых матах, успокаиваясь. Что ж, вторая попытка на сей раз отменяется. Может, пошло дело, вырвался из заколдованного круга? Будем надеяться...

Вернулся, молча посмотрел на Александра Ильича: как, мол?

Тот сердит по-прежнему.

— Облизываешь планку. Силы где? Шлялся по ночам?

— Спал дома.

— Так я тебе и поверю... Такое ощущение, что ты потерял прыгучесть. Прыгаешь, как приготовишка...

Ушел. Всего хорошего, Александр Ильич. У вас одно ощущение, у Алика другое. Ощущает он, что любите вы одних чемпионов-рекордсменов. Двести пять — такой результат вас устраивает. Сто восемьдесят пять сантиметров — побоку ученика, бездарен он, неперспективен. Обидно...

— Распрыгался, наконец? — спросил Пашенко.

— Надеюсь.

— А может, ты хочешь мне первенство уступить? Спасибо, не приму подарка. Только в день рождения.

— А я авансом.

— Скорее долг отдаешь. День рождения у меня в апреле был.

Посмеялись, и вроде легче стало. И следующая высота уже не казалась Алику неодолимой. Подумаешь — сто девяносто сантиметров. Брали — не промахивались...

Между прочим, хваленый Баранов выбыл из соревнований. Пошел отдохнуть. Похоже, еще одна надежда Лешего не оправдала себя. А почему, собственно, еще одна? Алик-то прыгает и сдаваться не собирается. Сто девяносто, говорите? Подать сюда сто девяносто!..

Пошел Пашенко. Раз, два, три — высота наша!

— Хорошо, Валера!

— Тебе того же, Алик.

Спасибо... Разбежался. Толчок... Ах, черт опять ногу не вытянул вовремя...

— Алик, у тебя зад не поспевает за всем прочим.

— Чувствую.

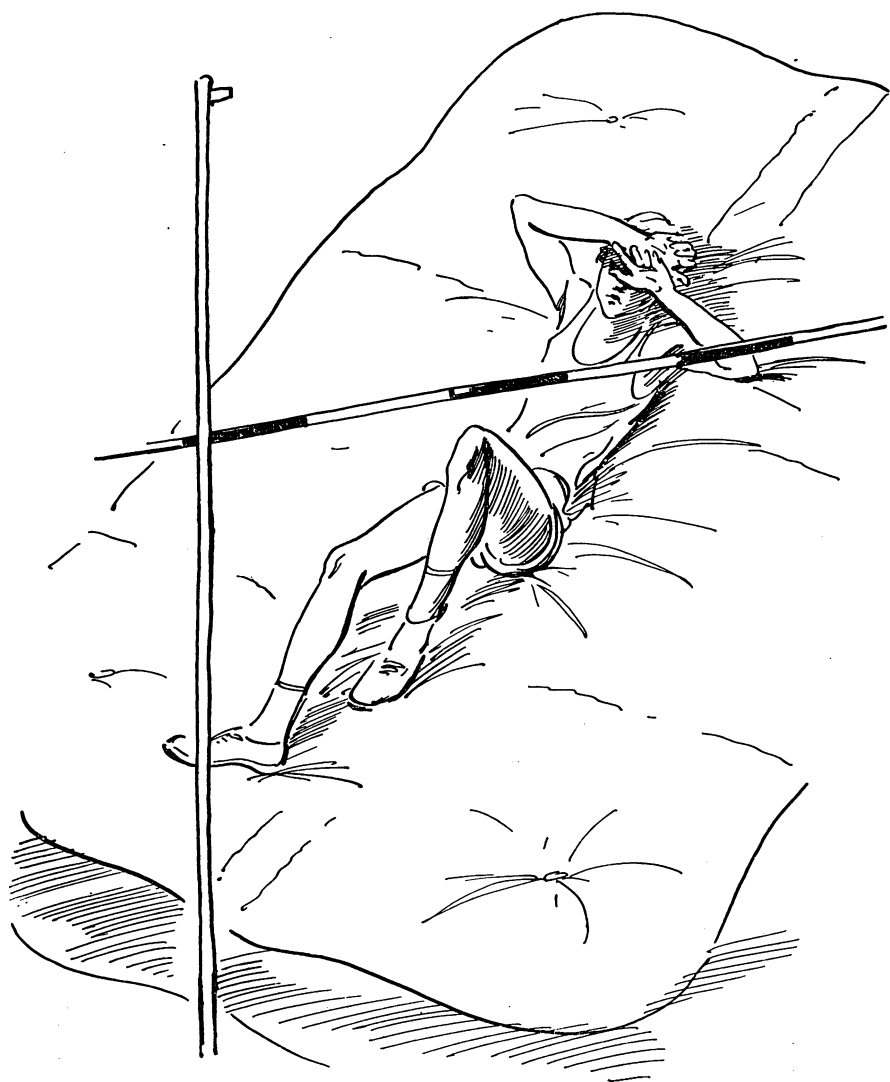
Прав Пашенко. А почему не поспевает? Не хватает толчка? Сильнее надо? А сильнее вроде некуда...

Файн, между прочим, тоже сбил планку. И тоже задом. Хоть слабое, но утешение.

Вторая попытка. Разбег... Не получилось. На этот раз Алик сбил планку грудью, даже не допрыгнул до высоты.

Пришел страх. Что-то больно сжималось в груди, как перед экзаменом — бывало такое знакомое ощущение! — когда из тридцати билетов пять не успел выучить. И думаешь с замиранием сердца: а вдруг попадется как раз один из пяти? Здесь то же: а вдруг не возьму высоту?

Утешал себя: вздор, высота обычная, привычная высота. Но сороконожка уже принялась за отвлекающий внимание подсчет, а страх делал ноги ватными, беспомощ-



ными: не то чтобы толкнуться как следует — и разбежаться-то трудно...

Короче, не взял высоту. Снова сбил планку, пошел к своему стулу, молча одевался.

— Уходишь? — спросил Пашенко.

Он понимал, что товарищу сейчас не нужны утешения. Особенно от того, кто счастливо продолжает прыжки, претендует на победу.

А ведь все вышло по-пашенковски: подарил ему Алик первенство в счет грядущего дня рождения. Нет, не подарил — в борьбе уступил, с великой неохотой, с душевными муками. Уступил, потому что оказался слабее — он, Радуга, который Пашенко до сих пор за равного соперника не считал!..

— Пойду. Счастливо допрыгать.

— Я позвоню.

— Ага.

Пошел вдоль гаревой беговой дорожки к раздевалкам. Уже ныряя под трибуны, обернулся, увидел: Пашенко преодолел сто девяносто пять сантиметров, бежал от планки, высоко, по-чемпионски, подняв руки.

Алик не понимал, почему он, одолевавший на тренировках два метра пять сантиметров, не сумел показать здесь хотя бы близкий результат? Двадцати сантиметров до собственного рекорда не допрыгнул. Почему? Почему? Почему?..

А если...

Нет, не может быть! Алик даже головой затряс, как намокший кот. Здесь что-то иное — обычное, спортивное.

И все же другого объяснения не было: дар пропал. Без предупреждения, без снисхождения — как и было обещано.

Когда Алик нарушил условие? Вроде не было такого — не солгал никому. И вдруг вспомнилось: стройка, комната на втором этаже, бидон с краской, разбитое стекло...

Он же обманул прораба, спасая Дашкину честь! Ну и что с того? Главное — обманул, а причины обмана никого не интересуют. Как сказано: «ни намеренно, ни нечаянно, ни по злобе, ни по глупости, ни из жалости, ни из вредности».

Но ведь три дня с тех пор прошло, а дар исчез только сегодня. Сегодня ли?..

В Алике боролись двое: один — испуганный, сопротивляющийся, не верящий в беду; другой — холодный,



рассудительный, все понимающий. И этот «холодный» знал точно: в последние дни на тренировках Алик в высоту не прыгал. Только — бег, перекладина, физические нагрузки на воздухе. А дар, естественно, исчез как раз в тот момент, когда Алик произнес сакраментальное: «Моя работа, товарищ прораб!»

Хотел быть рыцарем? Будь им, на здоровье! Только прыгать-то уже не придется. Ходи по грешной земле, дорогой рыцарь Радуга...

И, только подъезжая к дому, сообразил: а как же сто восемьдесят пять сантиметров? Взял он их или нет? Выходит, что взял: дело наяву происходило, при большом скоплении свидетелей. Без всякого дара взял, сам по себе...

## 18

А ночью Алику снова приснился вещий сон — пятый по счету за такое короткое время. В самом деле, другим за всю жизнь и одного вещего сна не положено, обычные донимают, а пятнадцатилетнему гражданину — сразу целых пять. Да приплюсуйте к тому сеанс телепатии — на уроке по литературе, когда «нечистая сила» общалась с Аликом посредством школьного сочинения. Явный перебор.

И тем не менее — пятый сон.

Будто послала мама Алика на рынок — картошки купить, редиски, лука зеленого, петрушки, укропа. Помидоров — если недорогие. А Алик двугривенный в кармане заначил — на семечки.

Идет он вдоль рядов, выбирает редис покрупнее. У одной тетки хорош, крепок, да мелковат. У другой — крупный, но стриженный — без хвостиков. А Алику редиска в пучках нравится. И вдруг — есть, голубчик. Как раз то, что хотел, что доктор прописал, как говорится.

— Почему редиска? — спрашивает.

— Пятачок пучок, — слышит в ответ.

Удивился: что за цена такая странная? Больно дешево. Посмотрел на торговку — ба, знакомые все лица!

— Здравсьте, бабушка.

— Здоров, коли не шутишь, — отвечает ему торговка, в которой — как мы уже поняли — Алик признал веселую старушку из трубинского леса, могущественную бабу-ягу.



властительницу Щелковского района, а может, и всего Подмосковья. Кто знает?..

— Поговорить надо.— Алик строг и непреклонен.

Но и бабка не сопротивляется.

— Да я для того и на рынок вышла.

— А редиска как же? — удивляется Алик.

— Камуфляж,— бросает бабка,— чтоб не заподозрили враги.

Алик не выясняет у нее, каких врагов она опасается. Просто спрашивает:

— Где побеседуем?

— А здесь и побеседуем,— чуть ли не поет бабка.—

Ты за барьерчик зайди, сядь на бочечку. Она хоть и сырая, зато крепкая.

Алик ныряет под прилавок, ощупывает бочку.

— Что там?

— Огурчики,— суетится бабка.— Тоже для камуфляжа.

— Малосольные?

— Они. Никак, хочешь?

Любит Алик хрупать малосольным огурцом, трудно отказаться от искушения.

— Пожалуй, попробовал бы,— борясь с собой, говорит

он и тут же сурово добавляет: — Для камуфляжа, конечно.

— Да разве я не понимаю? — Бабка достает огурец — крепкий, лоснящийся от рассола, в мелких пупырышках, а к нему — горбуху черного хлеба. Царская еда!

Алик даже забыл, зачем ему баба-яга понадобилась. Но ничего, зато она помнит.

— Как соревнования прошли? — интересуется.

— Плохо, — отвечает Алик с набитым ртом.

А бабка-иезуитка хитренько спрашивает:

— Что так?

— А вот так. Ваша работа?

— Отчасти моя, — серьезно говорит бабка. — Отчасти — коллеги постарались.

— Какие коллеги?

— Ты с ними знаком. Почтенный джинн Ибрагим Бек-ович Ибрагим-бек и уважаемый профессор, доктор наук Брыкин.

— А вы и Брыкина знаете?

— Не имею чести, — поджигает губы баба-яга. — У него другие методы волшбы — современные, научные. И другой круг общения — чисто академический.

Чувствовалось, что бабка не одобряет ни научных методов Брыкина, ни его коллег-академиков. Не любит нового, по старинке жить предпочитает.

— Чем же я вам помешал? — в голосе Алика слышится неподдельное горе. — Прыгал себе, никому о вас не рассказывал...

— А рассказал бы — поверили?

— Нет.

— То-то и оно. Ты нас, внучонок, куда не приплетай. Предупреждали тебя: соврешь — прощайся с даром. Предупреждали или нет?

— Ну, предупреждали... Что ж я, нарочно соврал?

— А то нечаянно? — возмущается баба-яга. — Все продумал, прежде чем на себя напраслину взять.

— Так ведь напраслину...

— А нам какая разница? Есть факт.

— Даже суд не берет в расчет голый факт, всегда рассматривает его в совокупности обстоятельств, — сопротивляется Алик. — А у меня налицо — смягчающие обстоятельства.

Баба-яга ловко отрывает от пучка головку редиса, трет ее о рукав телогрейки, кидает в рот, хрустит. Говорит равнодушно:

— Обратись в суд. Так, мол, и так, обдурила меня баба-яга, отняла умение прыгать через палку, не вникнув в суть дела. Подойдет? — и хрустит редиской, и хрустит. Прямо как орехи ее лопают.

Алик отвечает:

— Вы меня не поняли. Я про суд для примера сказал.

— И я для примера. Пример на пример — копи опыт, пионер.

— Я — комсомолец, — почему-то поправляет Алик.

А она и рада поправке.

— Тем более. Где твоя комсомольская совесть? Обещал условие блюсти? Обещал. А нарушил — плати.

В ее руке, откуда ни возмись, появляется еще один огурец. Она протягивает его Алику, и он машинально начинает хрустеть — не тише, чем баба-яга редиской.

— И потом, чего ты суетишься зазря? — спрашивает она. — Тебе дар просто так отвесили, а ты его зачем-то начал тренировками подкреплять. Наподкреплялся до того, что и без дара выше головы сигаешь. А ведь еще месяц назад не мог. Не мог, внучок?

— Не мог.

— А сейчас можешь. Ну и прыгай себе на здоровье, Дашке на радость. Тренируйся — «по мастерам» запрыгаешь. Без нашей помощи.

— Не запрыгал же...

— Да ты, милый, совсем обнаглел. За паршивый месяц Брумелем захотел стать? А вот фиг-то!

Вокруг них живет базар, живет своей угодливо-равнодушной жизнью. Вокруг них продают и покупают, разменивают десятки на рубли, а рубли на гривенники. Вокруг них спорят и ссорятся, милуются и ругаются, ликуют и страдают, и никому нет дела до крепкой бабки в телогрейке и валенках и ее внучка-переростка. Но вот кто-то останавливается рядом, щупает бабкину редиску.

— Почем овощ?

— Обед у меня, — огрызается баба-яга. — Не видишь, любимый внучок мне полдник притаранил. Имею я право на обеденный перерыв, имею или нет?

Перепуганный страстным напором покупатель немедленно соглашается, теряется в толпе, а довольная баба-яга обращается к Алику:

— Вот что, милый, иди-ка ты домой, отоспись как следует — без сновидений. Забудь о неудаче на этих... состязаниях. Бери поутру свою Дашку распрекрасную,

катай ее на речном трамвае, редиской угошай. Отдыхай, в общем. А отдохнув, начинай прыгать. Ведь есть у тебя план, что лесной тренер составил, ведь есть?

— Есть.

— Осваивай. Под лежащий камень вода не течет. И забудь о вещих снах напрочь. Не будут они тебе больше сниться. Никогда в жизни.

Она гладит Алика по волосам заскорузлой, разбитой работой крестьянской рукой. Да и в самом деле, откуда у нее маникюрю взяться? Дрова наруби, печь протопи, редиску-картошку прокопай, прополи, корову подои — тяготы. А колдовство — это так, забавка...

— А зачем вы мне явились? — недоумевает Алик. — Зачем эти сны?

— Глупый, — улыбается баба-яга. — Очень ты своей слабостью в физкультурной науке расстроен был. Помнишь: мщения возжаждал? Ну, решили мы тебе помочь...

— Помогли, называется, — саркастически замечает Алик.

— Неблагодарная ты скотина, — возмущается баба-яга. — А то не помогли? Работать мы тебя научили, а это — главное. А насчет высоты — не расстраивайся. Что тебе твой Фокин сказывал? Брумель в пятнадцать лет всего на сто семьдесят пять сантиметров прыгал. А ты у нас сто восемьдесят пять запросто убираешь, — помолчала, вспомнила: — Да, кстати: ты Фокина держись, друг он настоящий... Да и рыжий энтот — тоже ничего. Хотя и пижон... Ну, а Дашка — совсем золото. Сколько людей хороших мы тебе подсунули...

Поморщившись от неблагозвучного «подсунули», Алик замечает:

— Фокина с Дашкой я и раньше знал.

— Знал, как же. Знаком был, а не знал. Это, внучок, глаголы са-авсем различные. Ну иди, иди, тебе просыпаться пора. Возьми редисочки в сумку, отсыпь поболее — для камуфляжа...

И Алик уходит. Но вспоминает что-то, возвращается.

— Бабушка, а почему вас трое было? Неужто кто-то один не справился бы? Скажем, вы...

— Почему трое? — вопрос явно поставил бабу-ягу в тупик. Она даже в затылке поскребла — через платок. — Кто его знает... Видать, для таинственности, для пущей наглядности. — Вдруг рассердилась, закричала: — Трое — значит, трое! Три — число волшебное. Три медведя. Три

богатыря. Три желания. Три толстяка. Три товарища...  
А ну, дуй отсюда, пока не сварила!  
И тут Алик уходит окончательно.  
И просыпается.

19

Великая сила — привычка. Казалось бы: каникулы, валяйся — не хочу. А проснулся в семь утра. Зарядку сделал. По набережной побегал. Покряхтывая, стоял под холодным душем, вызывая уважение у отца (он еще в постели нежился) и щемящую жалость у матери (она завтрак готовила).

Только-только из-за стола встали — звонок в дверь. Лучший друг Фокин явился — не запыхался.

— Привет!  
— Здорово.  
— Что случилось?  
— А что случилось?  
— Ты мне невинность не строй, — рассердился Фокин. — Докладывай: почему проиграл?  
— Знаешь уже?  
— В «молодежке» информация напечатана.  
— Что пишут?  
— Первое место у Пашенко. — Достал из кармана смятую газету, прочитал вслух: — «К сожалению, юный и перспективный спортсмен Александр Радуга, о котором наша газета рассказывала читателям, не сумел показать хорошего результата и не попал в тройку призеров». Почему не попал?

Версия имелась, придумывать нечего. Да и врать нынче можно без опаски.

— Перетренировался.  
— Говорил я тебе...  
Алик не помнил, чтобы Фокин говорил о том, но удобней согласиться, не спорить.  
— Дураком был, не слушал умных речей.  
— Теперь слушай. Собирайся — едем в Серебряный бор купаться.  
— Не-а, — лениво сказал Алик. — Дома останусь, — подумал, еще раз соврал: — Отец просил в бумагах помочь разобраться.

— Надолго?

— На весь день,— врать так уж врать.  
— Жалко... А может, выберешься? Попозже...  
— Если только попозже,— скорей бы уходил лучший друг, хотелось побыть одному, подумать кое о чем, а поедешь с Фокиным — разговоров не избежать, всяких бодреньких утешений, восклицаний типа: «Все еще впереди!»

— Постарайся, старикашка, будем ждать.

Скрылся. Только дверь за ним захлопнулась — телефон трезвонит. Вешалка прорвался.

— Привет!

— Здорово.

— Что случилось?

— А что случилось?

Сложилось неплохое типовое начало беседы-соболезнования. Но дальше Пашенко ушел от фокинского варианта.

— Я тебе вечером звонил, а ты уже спать улегся.

— Устал как собака.

— Видно было.

— Поздравляю тебя с победой.

— Надолго ли? Ты к осени совсем озвереешь, на двести десять летать станешь. Как кенгуру.

— Кенгуру прыгают в длину, а там другие рекорды. Боб Бимон: восемь метров девяносто сантиметров.

Теперь Алик уел Пашенко. Пустычок, а приятно. Хотя кто его знает: Вешалка мог с кенгуру нарочно подставить — для утешения...

— Сдаюсь, эрудит. Двинули в Нескучный сад?

Конец разговора — по типовому варианту.

— Не могу. Отец просил помочь разобраться в бумагах.

— Вечерком увидимся?

— Звони...

Сострадатели... Что-то Дашка запаздывает, не звонит — пора бы. Она тоже «молодежку» выписывает. А, вот и она, Дарья свет Андреевна...

— Алик, что ты делаешь?

Ни тебе «здрасьте», ни тебе «что случилось?»...

— Говорю с тобой по телефону.

— Неостроумно.

— Зато факт.

— Алик, поехали к нам на дачу, шашлыки будем жарить, в лес пойдем, там лес хороший, светлый, хулиганов нет...

Умница Дашка! Ни полсловечка о вчерашних соревнованиях. Чего-чего, а такта ей хватает.

— Дашк, не могу я.

— Почему?

Врать Дашке по шаблону Алик не собирался.

— Есть дело.

— Какое? Секрет?

Ну, какие у Алика от нее секреты? Но говорить не стоило: увяжется с ним, а хотелось побыть одному.

— Потом скажу. Вечером.

— Тогда я тоже не поеду на дачу. Дома посижу. Дождусь, пока позвонишь.

Такой жертвы Алик принять не мог.

— Не выдумывай глупостей. Поезжай, тебя родители ждут. А часам к семи вернешься. Сможешь?

Обрадовалась.

— Конечно, смогу.

— Тогда я вас целую. Физкультпривет.

Собрал отцовскую сумочку, с недавних пор перешедшую к сыну по наследству, закинул ее за спину.

— Ма, к обеду буду.

И отправился знакомой дорожкой в школу. Поздоровался с нянечкой, спросил: открыт ли зал? Переоделся в пустой раздевалке. Никто сюда не заглянет. Нянечка информировала: безлюдно в школе. Половина учителей в отпуск разошлась, а остальные — кто не успел уйти — раньше полдня не заявятся: нечего им здесь делать.

Притащил из подсобки в зал маты: тяжело, конечно, одному, но посильно. Установил стойки. Высоту определил: сто семьдесят пять сантиметров. На ней вчера впервые споткнулся, с нее и шагать решил. Размялся хорошенько. Отмерил разбег. Пригляделся, где толкаться станет. Пару раз с места на планку замахнулся: вроде руки-ноги шевелятся. Можно начинать.

Разбежался, стараясь держать шире шаг, толкнулся в полную силу — шел, как на рекорд. И прошел над планкой — не шелохнулась она. Полежал на матах, улыбался, смотрел на высокий потолок — весь в грязных разводах, как небо в облаках. Лето — время ремонтов. Забелят маляры облака на потолке — смотреть не на что будет.

Вскочил, снова разбежался, полез на высоту и... Что за чертовщина: только что одолел планку с привычной легкостью, а сейчас — вот она, лежит рядом на матах. Почему?



— Левая нога у тебя, как чужая...

Резко вскочил с матов: кто сказал? У стены на низкой скамеечке сидел Бим.

Алик уставился на него, спросил глупо:

— Откуда вы взялись?

— Из двери,— сказал Бим и встал.— Будем прыгать по порядку. Начнем с техники. Она у тебя минимум пять сантиметров съедает. Спусти планку на метр шестьдесят.

— Не мало ли? — попытался сопротивляться Алик, но Бим мгновенно пресек сопротивление:

— В самый раз. Не до рекордов пока. И не спорить со мной!

И Алик покорился Биму. Более того: покорился с непонятной радостью, как будто отдавал свою судьбу в хорошие руки. Как щенка.

Только спросил:

— Как вы думаете, что-нибудь получится?

— Из чего? — не понял Бим.

— Ну, из меня...

Бим по-прежнему недоумевал:

— Ты же прыгал на двести пять сантиметров?

— Прыгал...— не объяснять же ему, с чьей помощью прыгал.

— А будешь выше. Иначе я на тебя время не тратил бы. И чтоб осенью обставить Пашенко! Не как вчера...

— А откуда вы знаете про вчера? — спросил и сам удивился: что ни вопрос — глупость несусветная. А ведь вроде малый — не дурак...

— На трибуне сидел,— язвительно сказал Бим.— Ряд двенадцатый, место тридцать второе. Еще вопросы ожидаются?

— Нет,— засмеялся Алик. Легко засмеялся, без напряжения. Как будто и не было вчерашнего провала и жизнь начиналась только сейчас — в этом светлом и прохладном школьном зале.

— А раз так, начнем помаленьку.

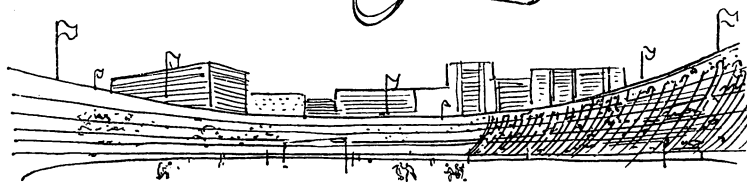
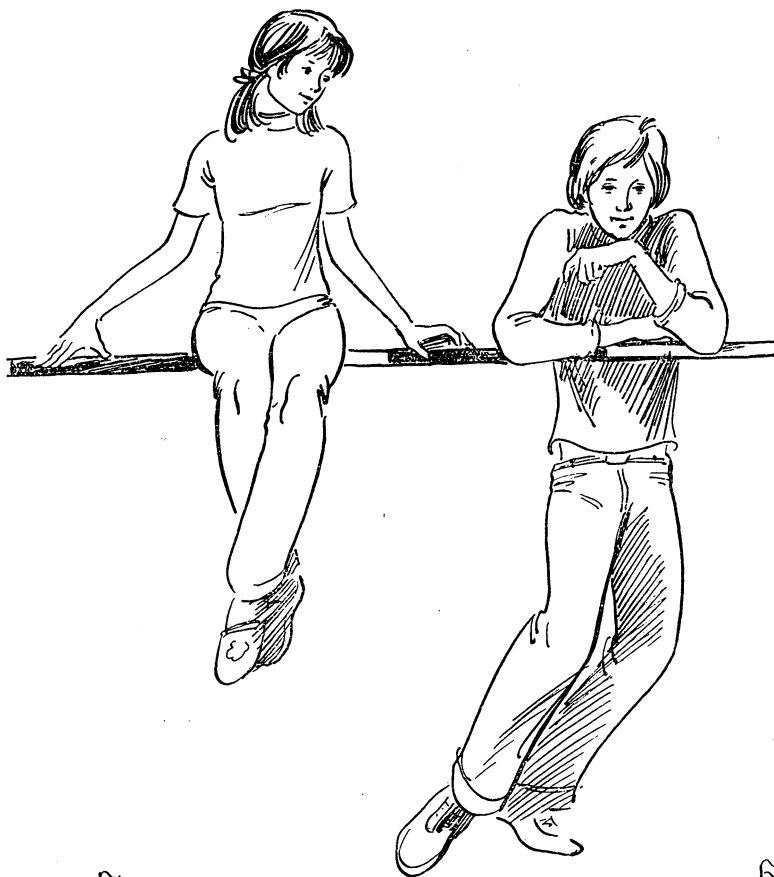
И они начали. И тренировались всего полтора часа; больше Бим не разрешил. Сказал:

— Хватит надрываться. Нагрузки надо прибавлять постепенно. Придешь завтра в десять ноль-ноль. Идею уяснил?

— Уяснил,— ответил Алик.

А после обеда закрылся в своей комнатенке и написал стихи. Такие:





фантастики. А кто не верит — пусть кусает локти: приятного аппетита.

На радостях позвонил Дашке.

— Ты дома? А я стих написал...

— Ой, Алик, прочитай!

— Когда?

— Немедленно.

— Тогда жду тебя во дворе через минуту.

— Через полминуты... — повесила трубку.

Через полминуты — это он успеет. Сунул в карман листок со стихами, хлопнул дверью — чуть штукатурка не обвалилась. Помчался вниз, перепрыгивая сразу через три ступеньки — все-таки шестой этаж, а не четвертый, у Дашки — преимущество в расстоянии. Бежал — улыбка в пол-лица. Шуму — на весь подъезд, как только жильцы терпят. Выскочил во двор, а Дашка уже стоит ждет, тоже улыбается.

Ох, и счастливый же человек, этот Алик. Радуга, поза-видовать можно!..





## В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ

ПОВЕСТЬ

### 1

Олег устал. Выбрался наконец на узкую просеку, перекрытую черно-белым шлагбаумом поваленной березы. Еще полчасы — и он дома. Остановился, закурил, пряча в ладонях синий огонек зажигалки.

Морозящий с утра дождь вдруг кончился или, вернее, прекратился, прервался — на час, на день?

Олег откинул промокший капюшон штормовки, сел на поваленный ствол, с наслаждением затянулся кисловатым дымом «Памира». В радиусе ста километров не было лучше сигарет, да и зачем лучше? А пижонская Москва с ее «Кентами» и «Пэлмэлами», далекая и нереальная

Москва — не более чем красивое воспоминание о чьей-то чужой жизни. О жизни веселого парня по имени Олег, который вот уже четвертый год учит физику в МГУ, любит бокс, и красивую музыку, и красивые фильмы с красивыми актрисами, и не дурак выпить чего-нибудь с красивым названием...

Ах, как красива жизнь этого парня, как заманчива, как увлекательна! Позавидуешь просто...

Олег сидел на мокром стволе, курил «Памир», завидовал потихоньку. Дождь опять заморосил, надолго повис в красно-желтом обнаженном лесу: холодный октябрьский дождь в холодном октябрьском лесу. Октябрь — четвертый месяц практики. Еще две недели — и нереальная Москва станет родной и реальной. А призрачным и чужим станет этот лес на Брянщине, сторожка в лесу, по которой — полчаса ходу, и старковский генератор времени, так и не сумевший прорвать барьер между днем сегодняшним и вчерашним, непреодолимый барьер, выросший на оси четвертого измерения.

Олег усмехнулся забавному совпадению: четвертый месяц четверо физиков пытаются пройти назад по четвертому измерению. Если бы изменить одну из «четверок», может быть, и удалось бы великому Старкову доказать справедливость своей теории о функциональной обратимости временной координаты. Но великий Старков, отягощенный неудачами и насморком, не верил в фатальность цифры «четыре», сидел в сторожке, в которой раз проверяя расчеты. Бессмысленно, все бессмысленно: расчеты верны, теория красива, а временное поле не появляется. Вернее, появляется — на какие-то доли секунды! — и летят экраны-отражатели, расставленные по окружности с радиусом в километр, а центр ее — в той самой сторожке, где сейчас сопит злой Старков, где Димка и Раф продолжают бесконечный (почти четырехмесячный) шахматный матч, куда Олег доберется через полчаса, не раздеваясь, плюхнется на раскладушку и — сон, сон до утра, тяжелый и крепкий сон очень усталого человека.

Настройку экранов выверяли по очереди примерно два раза в неделю. Два пи эр — длина окружности с радиусом в километр, — шесть с лишним километров, да еще километр туда и километр обратно, и по сорок минут на каждый экран: вот вам пять потерянных часов от обеда до ужина. И так — четвертый месяц...

Олег выкинул окурок, надвинул капюшон, зашагал по мокрому ковру из желтых опавших листьев, по мокрой черной земле, по лужам, не выбирая дороги. Все равно всюду как в песне: «Вода, вода, кругом вода». И холодные капли — по лицу, и в сапогах подозрительно хлюпает, и если у Старкова насморк, то Олег давно уже должен схватить воспаление легких, тонзиллит, радикулит и еще с десятков болезней, вызываемых чрезмерным количеством падающей с неба и хлюпающей под ногами воды.

Они сами вызвались поехать со Старковым, никто их не заставлял, не уламывал. Однажды после лекций Старков подозвал их и спросил как бы между прочим:

— Куда на практику, ребята?

— Не знаю,— пожал плечами Олег.— Может быть, в Новосибирск, в институт ядерной физики...

— Стоит ли...— Старков поморщился.— Проторенная дорожка.

— А где непроторенная?

— Хотя бы у меня...

Это не было самодовольным хвастовством: Старков имел право так говорить. Что ж, он поздно начал: помешала война. В сорок втором семнадцатилетним мальчишкой ушел в партизанский отряд, а в сорок пятом, уже майором действующей армии вернувшись из Берлина, поступил на физфак в МГУ. Вот так и шел в науке — с опозданием на четыре военных года (опять «четыре»: ну, никуда не уйти от этой цифры!), аспирантура, кандидатская, потом лет десять молчания и — блестящая докторская диссертация, в которой он приоткрыл тайну пресловутой временной координаты. Двумя годами позже он уже теоретически обосновал ее, прославив свое имя в скупом на восторги мире физиков. И снова молчание: Старков разрабатывал эксперимент, которым хотел подтвердить теорию, казавшуюся почти фантастикой.

Потом уже, когда они ехали в Брянск, погрузив на железнодорожную платформу генератор и детали экранов-отражателей, Старков объяснил причину своей таинственности:

— Кое-что готово, а что — неизвестно. Не хочу раньше времени будоражить ученую братию. Не получится — смолчим, спишем на «первый блин»...

«Первый блин» и вправду получился «комом». Старков мрачнел, орал на ребят, но, кажется, смирился с неудачей.

— Вернемся в Москву, доработаем. Идея верна, а где-то спотыкаемся. Помозгуем зимой, а будущим летом опять сюда. Идет?

— Идет,— мрачно говорил Олег.— Куда ж мы теперь от вас денемся...

Деваться было некуда: намертво затянуло. Казалось, они не хуже самого Старкова разбирались в теории обратного времени, что-то сами придумывали, что-то считали.

— Не зря я вас в эту аферу втянул,— радовался Старков.— Кажется, толк из вас выйдет.

— А диплом? — горячился Димка.— У нас диплом на носу!

— Считайте, диплом готов: осталось только сесть и написать — левое дело...

У него все было «плевым делом»: пересчитать режим работы генератора, определить параметры поля, построить экраны.

— Раз-два — и готово! Не унывайте, парни: все пули — мимо нас...

Дурацкая поговорка, оставленная партизанским политуком Старковым физику Старкову, казалось, решала любую проблему. «Все пули мимо нас!» — значит, все уладится, все будет «тип-топ». Он просто заражал своим бешеным оптимизмом даже там, где и повода для него не было. Иной раз Олег ловил себя на мысли, что потихоньку превращается в такого бодрячка пионера: «Все мы горы своротим, если очень захотим». Понимал бессмысленность этого ничем не оправданного оптимизма, понимал отлично, но противостоять ему не мог.

Есть такой термин: гипноз личности. Так вот, личность Старкова была настолько «гипнотична», что для сомнений просто не оставалось места. А честно говоря, и времени: работа съедала весь скудный запас, отпущенный человеку в сутки минус восемь часов на сон.

Олег усмехнулся: а что же еще придумать можно? Кино в лесу нет, танцев тоже. Ближайшее село — семь километров пешкодралом. Летом — эти семь километров не раз одолевали: посмотреть фильм в клубе или просто вспомнить, что есть на белом свете кое-что кроме леса и физики. «Лесной физики», — шутил Старков. Он и лесное захолустье это выбрал потому, что когда-то здесь воевал. Село, куда они бегали в клуб, было тогда центром, где встречались связные, откуда уходили депеши на



Большую землю и где даже староста был партизанским выдвиженцем. Какая погода стояла тогда. Олег не знал, но теперешняя была более чем несносна. Такие условия жизни должны приравняться к особо трудным, тут не обойтись без повышенных коэффициентов, всяких там «колесных», «северных» — и пол-литра молока ежедневно за вредность.

За молоком ходили по очереди в то же село — раз в неделю. За молоком, за картошкой, за хлебом, за мясом и — так далее по прейскуранту местного сельпо. Прейскурант был невелик, приходилось кое-чем разжиться у колхозников: четырех отшельников уважали здесь за стойкость и «непонятность»; жалели и всегда охотно им помогали.

За четыре месяца они, пожалуй, перезнакомились со всеми в деревне, благо и дворов тут было немного — десять или двенадцать. Олег подумал, посчитал в уме, вспомнил: точно, двенадцать дворов, сельпо и маленький клуб с киноустановкой — вот и все. Центральная усадьба колхоза располагалась подальше, километрах в пяти от села. Что и говорить, там и магазин бы получше, и людей побольше, да только физики туда не забирались. Далеко и смысла нет. А продукты — вот они, полон лес. Бери ружье и стреляй. У Олега была старенькая тулка. Димка щеголял дорогой ижевской двустволкой. Старков владел истинным сокровищем — карабином. А Раф охоты не признавал.

— Я в душе вегетарианец, — говорил он. — У меня на божью тварь рука не поднимается.

— Конечно, — язвил Димка, — вилку и нож ты ногой держишь. Эквилибрист...

Кстати об охоте: погода погодой, а завтра надо бы сходить пострелять, тем более что после перенастройки экранов Старков целый день новый режим считает. Значит, карабин даст. Да и как не дать: Олег стреляет «по мастерам», давно норматив выполнил. Старков сам не раз говорил:

— Ты у нас — супермен, брат. Тебе бы не временем, а конем управлять. С кольцом на бедре... Вон ту шишку видишь? Собыешь ее одним выстрелом?

Олег не отвечал, вскидывал карабин, прицеливался — бах! — шишка исчезала с ветки, где-то за деревьями падала на траву.

— Молодец, ковбой, — хвалил Старков. — Воевал бы

здесь со мной — в отряде бы тебе цены не было. А посидим мы еще пару месяцев в этой глуши, похлестче меня стрелять будешь.

Сам Старков стрелял мастерски, почти не целясь, навскидку, по любой мишени — птица ли, шишка или подброшенная в воздух бутылка из-под пива. Олег гнусно завидовал ему, но даже ради великой цели перешеголять шефа он не согласился бы на «еще пару месяцев». Хватит и двух оставшихся недель, насиделись. До будущего лета!

В том, что будущим летом они снова вернутся в лесную сторожку, Олег не сомневался. Зимой диплом по теме Старкова, работа на кафедре и в лаборатории. Надо бы экран усовершенствовать: кое-какие идеи у Олега имелись, правда, он еще не говорил о них шефу. А у самого Старкова идей полным-полна коробочка. Не исключено, что новый генератор — Старков явно не верит уже в этот старый! — заработает на другом принципе. Ну да ладно, не будем загадывать...

Олег выбрался на опушку леса к реке, свернул с просеки, двумя наезженными колесами убежавшей вдоль речки. Чуть в стороне, у некрутого обрыва, врос в землю бревенчатый дом. Олег прошел по мокрой траве к крыльцу, долго обтирал сапоги о ржавую железяку, прибитую к порогу, толкнул дверь в темные сени, с наслаждением сбросил намокшую штормовку, сапоги, в одних носках вошел в комнату.

Все было почти так, как он себе и представлял по дороге. Димка и Раф играли в шахматы, на столе у Старкова привычный беспорядок — исписанные листы бумаги, набор цветных фломастеров, логарифмическая линейка. Самого Старкова в комнате не было.

— Привет всем,— сказал Олег.— Поесть оставили?

Димка передвинул ладью и сказал задумчиво:

— В кастрюле на печке... Ты чего так долго? Шеф уже плакался...

— О чем? — удивился Олег, торопливо поглощая полуостывший борщ.

— Боялся, что не успеешь проверить экраны

— Почему такая спешка? Закончил бы завтра..

— Завтра — опыт. В восемь ноль-ноль.

— Опять?! — Олег даже поперхнулся от возмущения.— На том же режиме? Тогда пусть он сам экраны настраивает.

— Шах,— сказал Димка.— А вот так, так и так -

мат... Настраивать не придется: режим пересчитан. У шефа — новая гениальная идея.

— Идея действительно неплоха, — сказал вежливый Раф. — Он нам рассказывал: ускоряем проход минус-вектора и выигрываем стабильность поля... А мата нет, Димка: ухажу конем на эф шесть.

Димка схватился за голову:

— Где конем? Откуда конь? Ах я дурак...

Олег понял, что от этих очумевших гроссмейстеров толку не добьешься, доел борщ и лег спать. Старый принцип, гласящий о том, что утро мудренее вечера, давно и прочно вошел в быт четырех «отшельников». Железный Старков требовал железной дисциплины, а подъем в шесть утра в эту осеннюю слякоть даже у примерного Рафа вызывал неудержимую сонливость.

Разве с нашим шефом поспоришь, думал Олег. Он если не убеждением, так силой заставит слушаться. Никакой демократии: тирания и деспотизм...

Потом он заснул и ему снился дождь — мелкий, промозглый, мокрые листья на мокрой земле, низкое свинцовое небо и странный, словно стеклянный воздух, в котором луч света, как в призме, ломается пополам.

## 2

Луч света, сломанный пополам — признак возникшего временного поля, — они уже не раз видели наяву. Да что толку: поле возникало и мгновенно исчезало, выводя из строя экраны в километре от генератора.

— Сегодня все будет прекрасно, — сказал утром Старков. — У меня предчувствие такое...

— А вы не верьте в предчувствия, — мрачно пророчествовал Олег. — Вы в статистику верьте: точная наука.

— Ставлю тебе двойку, ковбой. Напомни по приезде — впишу в зачетку. Статистика требует абсолютно одинаковых условий эксперимента. А у нас каждый раз — иные...

— И каждый раз — стрельба в божий день...

Старков не обиделся. Он и сам любил подтрунивать над своими студентами, а к незнанию был просто безжалостен: высмеивал, не думая о последствиях. А какие последствия могут быть? Есть у «жертвы» чувство юмора — поймет, не полезет в бутылку. А нет, так и жалеть нечего.

— В физике ко всему нужно относиться с иронией,— любил говорить Старков,— так легче скрыть невежество и прослыть большим знатоком.

Он свято следовал этому принципу и относился с иронией ко всему, даже к собственным идеям.

— Что же касается предчувствий и пророчеств,— втолковывал он Олегу за завтраком,— то нам с вами верить в них просто необходимо. Ты историю вспомни. кто имел дело с Временем? Предсказатели, прорицатели, ясновидцы. И предсказываю: сегодня опыт удастся. Не верите? Посмотрим...

И кто его разберет, шутил он или верил в свои предчувствия. Да Олег уже и не пытался разобраться в этом. Посмотрим, сказал Старков. Что ж, посмотрим...

Они стащили с генератора полихлорвиниловый чехол, выверили индикаторы, подключили питание. Старков долго устанавливал настройку поля, то и дело сверяясь с записями. Потом Димка — эту почетную обязанность он с первого дня присвоил себе — торжественно зажег электрический фонарик, направив его луч туда, где должно было родиться поле обратного времени, развернуться, захватив все пространство между экранами, расставленными в лесу, и — если повезет, конечно,— продержаться хотя бы минуту: это уже будет победа!

— Готов,— сказал Димка хрипло, и Олег подумал, что он волнуется: кажется, и вправду поверил в предвидение шефа.

— Поехали,— скомандовал Старков и включил генератор.

Стрелка на индикаторе напряженности поля дрогнула и медленно качнулась вправо.

— Только бы задержалась,— умоляюще прошептал Раф.

И стрелка послушалась: застыла на секунду на первом делении шкалы, опять дрогнула и уверенно поползла вправо. Тонкий лучик карманного фонаря вдруг согнулся под тупым углом, ткнулся в пол.

— Есть поле,— снова прошептал Раф, и Олег оборвал его:

— Подожди. Смотри...

Оглушительно — так казалось Олегу — тикал секундомер: десять секунд, двадцать, пятьдесят... И случилось невероятное: луч фонаря медленно передвигался по полу, пока не вернулся в исходное положение — параллель-

но земле, но стрелка на шкале осталась на месте — на красной черте, говорящей о том, что поле стабилизировано.

Первым пришел в себя Старков. Нарочито равнодушно достал сигарету, закурил, сказал презрительно:

— Кто-то здесь не верил в предвидение. Не передумал?

Но Олег не желал играть «в безразличность», не сдержался, стиснул Старкова в объятиях.

— Вы знали, знали, да?

— Откуда? — отбивался Старков. — Отпусти, сумасшедший!

Но на нем уже повисли и Димка, и Раф, подхватили его, подбросили, подкинули еще раз. Они орали что-то нечленораздельное, бесновались, приплясывали. А стрелка по-прежнему прочно держалась на красной черте.

— Ну все, — удовлетворенно сказал Старков, вырвавшись наконец из восторженных объятий своих «подданных». — «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». «Броня крепка, и танки наши быстры». Пойте, мальчики, ликуйте. Сегодня вечером объявляю большой бал-маскарад.

— В честь события склею вам маску Мефистофеля, — подыграл ему Димка. — Накинув плащ, с гитарой под полою...

А вежливый Раф поинтересовался:

— Поле сохраним или выключим?

— Сохраним, — беспечно сказал Старков. — Давайте жить в другом времени.

— А экраны? — не отступал Раф. — Полететь могут...

Старков подозрительно посмотрел на него:

— Что ты так волнуешься за экраны?

— Его очередь настраивать, — мстительно объяснил Олег.

— Чушь, мальчики, чушь! — Старков вставил в самописец новый рулон миллиметровки, еще раз поглядел на стрелку, застывшую на красной черте. — Пошли отсюда. Экраны чинить не будем: полетят — и ладно. В Москве починим. Да, — он обернулся к Рафу, — все же очередь пропускать не след: оставайся-ка ты подежурить у генератора. А через час тебя Дима сменит. Идет?

— А что вы будете делать?

— Дойдем до сельпо, купим кое-какие принадлежности для бала-маскарада.

— Шампанского возьмите, — попросил Раф, устраи-

ваясь на единственном стуле. Перспектива просидеть этот час под крышей явно устраивала его больше, нежели путешествовать под дождем в деревню. — Только не больше часа.

— Терпи, парень, — сказал ему Старков на прощанье. — Робинзонада подошла к счастливому концу. Я же говорил: все пули мимо нас.

Разве мог знать провидец Старков, что его любимое присловье обернется для них в этот день страшным и реальным кошмаром?

### 3

В сторожке Димка набил рюкзак пустыми бутылками. Олег вооружился спортивной сумкой. Старков — по праву именинника — шел налегке.

Они пошли вдоль реки, чтобы — по предложению Старкова — осмотреть пару экранов и понаблюдать за поведением возникшего возле них поля.

— Не за час, так за два обернемся, — сказал Старков. — А с Рафом ничего не случится — подождет: я ему детектив оставил. Жгучие тайны Питера Чини.

Дотошный Олег приступил к выяснению подробностей удавшегося наконец эксперимента.

— Вот скажите мне, — рассуждал он, — если поле стабилизировано, то в каком времени мы сейчас живем? Если в сегодняшнем, в нашем, то, значит, поле никак не влияет на настоящее. А я склонен предположить именно это...

— Почему? — любопытствовал Старков.

— Сторожка на месте. Пустые бутылки — тоже. Мы идем в селпо именно сегодня, а не вчера и не завтра. Лес не изменился: те же деревья, та же осень. И дождь льет тот же, что и до опыта. Логично?

— Нет, конечно. К примеру, сторожка была здесь и вчера, и год назад. И осень началась не сегодня. И дождь уже который день поливает. И в прошлом году небось поливало. И лет десять назад. А то, что мы идем в селпо сегодня, так это — иллюзия. Для нас — сегодня, а на самом деле — позавчера. Логично, философ?

— Но что-то должно было бы измениться, — не сдавался Олег.

— Что именно?

— Не знаю. Ваша теория, между прочим, тоже ничего здесь не объясняет,— позлорадствовал он.

— Моя теория,— наставительно сказал Старков,— говорит следующее: временное поле не меняет настоящее, тут ты прав. Но оно может приносить с собой какие-то элементы своего времени, вероятно прошлого. Какие элементы — этого я не знаю. Вообще-то в моей теории столько белых пятен, что ее скорее можно назвать гипотезой.— Старков поскромничал, но не удержался — добавил: — Правда, гипотезой, подтвержденной экспериментом.

Они свернули в лес, продрались сквозь кусты орешника, выбрались на узкую лесную дорогу — по ней вчера Олег добирался домой,— мокрые с ног до головы: во время дождя из чащи кустарника сухим не вылезешь. Олег встряхнулся по-собачьи, выругался сквозь зубы: проклятая погода, проклятый лес,— и вдруг прислушался.

— Где это?

Где-то совсем рядом, быть может метрах в трехстах, надсадно заревел грузовик. Это был именно грузовик: Олег хорошо разбирался в машинах! — и двигатель ревел потому, что не в силах был вытащить тяжелую машину из липкой дорожной грязи.

— Сели,— констатировал Олег.— Интересно, кто это?

— Пошли посмотрим,— предложил Димка.— Все равно по пути.

Они шли, хлюпая резиновыми сапогами по лужам, Димка громыхал стеклотарой в рюкзаке, что-то приглушенно насвистывая. Старков и Олег вели бесконечный теоретический спор о проблемах обратимого времени. Димку спор не интересовал, он слышал его много раз, может быть только в других вариантах, но суть не менялась.

«Псих Олег,— беззлобно размышлял Димка.— Ну чего он лезет в эту трясику? Старков его слушает, ждет, когда он начнет захлебываться, подтащит к берегу и опять отпускает: побулькай, малыш. У Старкова это называется «тренинг мышления». Судя по всему, я к этому тренингу абсолютно неспособен...»

Он шел впереди — Олег и Старков отстали шагов на десять,— и, быть может, именно поэтому он первым услышал голоса людей с застрывшей машины. Машина время от времени надсадно редела, потом шофер выключил зажигание, и наступила тишина, в которую и про-

рвались фразы, почему-то не русские, а немецкие. Говорили не как преподавательница немецкого в Димкиной школе, а чисто, даже грациозно.

— Пошевеливайся, скотина! — как понял Димка, кричал один надсадно и хрипло, и тоненько, по-скопчески отвечал другой.

— Я послал троих за сучьями, герр оберштурмфюрер. Слышите — уже работают. Через пять — десять минут выберемся.

В лесу раздавался топор дровосека, совсем как в знакомом стихотворении.

— Что за комедия? — обернулся Димка к Старкову. — Киносъемка, что ли?

Старков не ответил. Он отстранил рукой Димку, приложил палец к губам: молчите, мол! — прошел вперед до поворота, остановился, прислушиваясь.

Двигатель снова заурчал, и тот же баритон сказал строго:

— Не мучай машину, болван. Его величество гневается и вполне может залепить тебе пару суток карцера. Ганс с ребятами принесут сучья, и мы вылезем из этой русской грязи.

Олег и Димка с удивлением смотрели на странно побелевшее лицо Старкова: испугался он, что ли?

— Что они говорят? — спросил Олег. Немецкого он не знал.

— Тихо! — вполголоса приказал Старков, и было в этом приказе что-то незнакомое, чужое: пропал Старков-весельчак, Старков-шутник и неунывака, появился другой — властный и жесткий. — Тихо! — повторил он. — Назад в лес!

Они пошли за ним, подчинились — недоумевающе, молча переглядывались, продираясь сквозь мокрый кустарник, остановились у разлапистой высокой березы, еще не потерявшей желтой листвы.

— Ну-ка, давай наверх, — приказал Димке Старков.

И Димка — сам себе удивлялся! — не задавая лишних вопросов, схватился за нижнюю ветку, подтянулся сквозь потоки дождя с дерева, проворно полез вверх.

— Посмотри, кто это, — сказал ему Старков, — внимательно посмотри и быстро спускайся. — Он обернулся к Олегу и пояснил: — Береза высокая. С нее всю дорогу видно: сам проверял...

Димка, уже добравшийся почти до верхушки, издал





какое-то восклицание: удивился не удивился, охнул вроде. А Олег подумал, что Старков почему-то темнит, — знает о чем-то, а говорить не хочет. Ну, что он предполагал увидеть с березы? Застрявшую машину? Так зачем такая таинственность? Выйди на дорогу и посмотри... По-немецки они разговаривают? Ну и что? Может быть, действительно киносъемка. На натуре, как это у них называется.

Он все еще недоумевал, когда Димка буквально скатился вниз, доложил, задыхаясь:

— Две машины. Одна грузовая, фургон: она-то и села. Другая — маленькая, «газик», по-моему. Вокруг — человек тридцать. Подкапывают землю и слегу под колеса кладут. Только... — он замялся.

— Что только? — Старков подался к нему.

— Только одеты они как-то странно. Маскарад не маскарад...

— Форма?

Димка кивнул.

— Черная. Как у эсэсовцев. Может быть, и в самом деле кино снимают.

— Может, и снимают... — протянул Старков, замолчал, о чем-то сосредоточенно думая, медленно закурил.

Молчали и ребята, ждали решения, знали, что оно будет: когда Старков так молчал, значит, жди неприятностей — проверено за четыре месяца.

— Вот что, парни, — сказал Старков. — Может быть, я — старый осел, тогда все в порядке, а если нет, то дела плохи: влипли мы с вами в историю. Сейчас быстро идем домой, забираем Рафа и будем решать...

— Что решать? — чуть не закричал Олег.

Старков поморщился:

— Я же ясно сказал: тихо! А решать будем, что делать в создавшейся ситуации.

— В какой ситуации?

— Дай бог, чтобы я ошибся, но, кажется, наш удачный опыт получил неожиданное продолжение. По-моему, эта машина и эти люди в маскарадных костюмах — гости из прошлого. Помнишь наш спор, Олежка?

Олег вздрогнул: чушь, бредятина, не может этого быть! Прошлое необратимо. Нельзя прокрутить киноленту Времени назад и еще раз просмотреть кадры вчерашней хроники. Теория Старкова верна — бесспорно! Но человеческая психика — даже психика без пяти минут ученого! — не в силах поверить в ее практическое воплощение.

Ну, существует же где-то предел реального? А за ним — пустота, ноль в степени бесконечность, бабкины сказки или просто фантастика.

Олег оборвал себя: рассуждает, как досужие сплетницы на лавочке у подъезда. Та же логика: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Нет такой формулы! Все может быть, если это «все» — наука, а не мистика. А где тогда граница между наукой и мистикой? То, что поддается научному объяснению, — наука. Удобное положение... А если завтра оно объяснит какое-нибудь мистическое явление? Мол, так и так: научное обоснование, графики и таблички, точный эксперимент и — никакой мистики. Такое бывает? Еще как бывает! Все сегодняшние достижения цивилизации когда-то показались бы мистикой даже самому просвещенному человеку. Электрическая лампочка? Ересь, фокусы! Искусственное сердце? На костер еретика врача! Да что там ходить за примерами: временное поле Старкова — тоже в сущности мистика. Или так: было мистикой до сего дня. А сейчас оно действует вполне реально. Вон какой подарочек принесло — берите, радуйтесь... А чему радоваться? Гостям из прошлого? Но они не знают, что попали в будущее. Да и узнали бы — не поверили! А гости, судя по всему, агрессивные. Они существуют тридцать с лишним лет назад, вешают, стреляют, поджигают. Они еще не знают, что их ждет завтра: для них — завтра, для нас — вчера. Они еще уверены в своей непобедимости. Они еще чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Они еще живут — эти сверхчеловечки из учебника новейшей истории...

— Интересно, из какого они года? — вдруг спросил Димка.

— Не все ли равно? — отозвался Олег. — Сорок первый тире сорок четвертый.

— Как раз не все равно. В сорок первом они наступали, а в сорок четвертом драпали. Есть разница?

В разговор вмешался молчавший до сих пор Старков:

— Разница есть, конечно, но для нас она не принципиальна. Год, вероятно, сорок второй — я тогда партизанил в этих лесах. А каратели, может быть, те же самые, что и тогда поджигали и вешали. Главное, что это враги, мальчишки. И мы им — враги. И наплевать им, что вы все еще не родились. Попадись на глаза — пристрелят без сожаления.

— Так что же нам — прятаться и дрожать от стра-

ха? — Олег спросил это с усмешечкой, но и Старков и Димка знали его «усмешечки»: Олег медленно приходил в ярость — верный признак.

И Старков сказал спокойно:

— Прятаться — да. А дрожать от страха, ясно, не будем. У нас три ружья против тридцати автоматов. Соотношение один к десяти. А что такое дробовик против «шмайссера»? Улавливаешь?

— Не улавливаю, — зло отрезал Олег. — И с тремя ружьями кое-что сделать можно. Да и от заряда дробы в глаза не поздоровится.

— Если попадешь, — добавил Старков. — А Димка не попадет, и Раф тоже. А у меня опыт есть, простите за нескромность. И поэтому вы будете подчиняться мне беспрекословно и точно. Вот тогда три ружья смогут принести пользу. Ясно?

Ясно? Конечно, ясно, что ж тут неясного. И нельзя было не подчиниться этому командирскому тону, этой доселе не известной им воле и силе человека, который умел весело шутить и смеяться, умел петь хорошие песни и знал повадки птиц и зверья, любил читать вслух Пастернака и Блока и создавал «сумасшедшие» теории. Но, оказывается, он умел еще быть жестким и сильным, умел приказывать и заставлял повиноваться. Словом, был физик Старков. И не его вина, что он опять превратился в партизанского комиссара Старкова.

— Как ты думаешь, — спросил он Димку, — долго ли они еще провозятся на дороге?

— Минут тридцать — не меньше. Может, и час. Здорово сели: больше чем на полколеса.

— Вот что, — принял решение Старков. — Лезь на елку, следи за ними и жди нас.

— Есть следить и ждать, — отрапортовал Димка, и Старков улыбнулся:

— Вольно, солдат. Не скучай. Мы быстро.

Он хлопнул Олега по спине, подтолкнул вперед, пошел следом, ступая на зависть Олегу почти бесшумно.

— Патроны в ящике под столом, — сказал им вслед Димка. — Берите побольше.

И Олег невольно вспомнил когда-то читанное о патронах, о снайперах, о партизанах в книгах о Великой Отечественной. Она окончилась тридцать лет назад и вновь началась для них — юнцов послевоенных лет, началась неожиданно и страшно в мокром осеннем лесу под



Брянском, который знал и помнил войну: до сих пор еще колхозные ребяташки находят то стреляную гильзу, то ржавую каску. Что ж, возможно, сегодня к их «трофеям» прибавятся и другие — поновей...

4

Раф сидел на табуретке у гудящего генератора и читал Чини, смешно шевеля губами: видимо, переводил текст. Американский сыщик Лемми Кошен успешно боролся с гангстерами вот уже семьдесят страниц, а оставшиеся сто двадцать манили Рафа нераскрытыми тайнами, отвлекая его и от воспроизведенного времени, и от своего реального. Он и забыл, что через полчаса должен смениться.

Войдя в сарайчик, Старков прежде всего взглянул на датчик: стрелка словно заклинилась на красной черте. На экране осциллографа текла ровная зеленая линия: на несколько делений выше расчетной. Поле не исчезало, однако напряженность его выросла раза в полтора. Старков, честно говоря, и не надеялся на такую удачу, когда еще планировал опыт. Но он не ждал и той беды, которую принесла негаданная удача.

Если бы его сейчас спросили, зная о возможности «пришельцев» из прошлого, начал бы он опыт или нет, — Старков не задумываясь ответил бы: нет, не начал. Бог знает, чем грозит пришествие «гостей»! Может быть, они исчезнут так же, как появились. А может быть...

— Почему так рано? — поинтересовался Раф, отрываясь от книги. — Магазин закрыт?

— Закрыт, — сказал Олег. — Дорога к нему закрыта.

— Землетрясение? — сыронизировал Раф. — Лесной пожар? Или речка Незнайка вышла из берегов?

Старков поморщился:

— Не время паясничать. Беда, Раф...

Раф швырнул книгу на пол и встал.

— Что случилось, шеф?

— На дороге застрял грузовик с гитлеровцами, — выпалил Олег.

Раф обиделся:

— Кто из нас паясничает?

Ситуация и вправду была комична: Старков усмехнулся, сказал торопливо:

— Олег не шутит. Гитлеровцы действительно появи-

лись из прошлого. Те же, что шуровали когда-то в этих лесах.

Раф был вежливым мальчиком. Вежливым и немногословным. Когда он что-то недопонимал, он задавал вопрос, как правило, самый точный и самый нужный.

— Поле? — спросил он.

И Старков в который раз удивился его способности воспринимать всерьез то, что другой считал бы неумным и грубым розыгрышем.

— Поле, — подтвердил он. — Неожиданный «подарочек» тридцатилетней давности. Неожиданный и опасный.

Но Рафа, казалось, это не взволновало.

— Вы не предполагали такого эффекта?

— Нет, — сказал Старков.

Ему не хотелось связываться в теоретические рассуждения, да и времени не было, но от Рафа так просто не отделаешься: он должен сначала все для себя уяснить — подробно и точно, а потом принять решение.

— А если отключить поле? — допрашивал он.

— Не знаю, не знаю, — быстро сказал Старков. Не исключено, что искусственное отключение поля уберет обратное время, но эффект «гостей» может и не исчезнуть, — и подумал, что название вполне подходит к случаю. Надо будет впоследствии «узаконить» его. И усмехнулся про себя: о чем ты сейчас думаешь, балбес ученый, когда рядом — опасность, не из детектива, брошенного на пол, а самая настоящая, стреляющая и безжалостная.

— Кончай допрашивать, Раф, — отрезал он. — Будем живы, все объясним. Нельзя выпускать их из сферы действия поля: тогда, скорее всего, они вместе с ним и исчезнут.

— Хорошее доказательство удачного эксперимента, — то ли серьезно, то ли шутя проговорил Раф.

Старков сдержался. Очень хотел дать волю если не рукам, то словам, но сдержался: не время ссориться. Пусть говорит что хочет: мальчишка, сопляк. Умный, способный, но — все-таки мальчишка, с гонором, с фанаберией. Пожалуй, для него этот день будет самым сложным — смешочками не отделаешься.

Старков сдержался, но Олег не любил и не умел прятать эмоции. Он рванулся к Рафу, схватил его за ворот штормовки.

— Думаешь, что лепишь, гад? — задыхаясь, крикнул он. — Там Димка один, а ты здесь вопросыки задаешь...

Старков взял его за руки, потянул на себя:

— Не дури. Пошли отсюда. Время дорого.

Олег неохотно отпустил Рафа, повернулся и направился к выходу. Раф одернул штормовку, пошел следом, на ходу обернулся:

— Что же вы собираетесь делать?

— Задержать их, — помедлив, ответил Старков и, словно сам себя уговаривая, подтвердил: — Вероятнее всего, они направляются в деревню. Она всегда была у них на подозрении — по личному опыту знаю. Деревня за пределами поля. А если им удастся прорваться? Кто знает, что последует. Задержать их надо во что бы то ни стало. Любой ценой.

— И надолго? — Раф уж стоял в дверях.

— Не знаю, — в который раз повторил Старков.

Он понимал, что эта спасительная формула еще не раз избавит его от ненужных, да и маловероятных объяснений. То, что они не нужны сейчас ни ему самому, ни ребятам, было ясно: обстановка требовала действий, а не рассуждений. А вот вероятность этих действий представлялась Старкову хотя и не слишком, но все же реальной. Скажем, ноль целых двадцать пять сотых — немалая цифра, как ни крути! А рассуждал Старков так: напряженность временного поля выросла из-за присутствия «гостей». Так сказать, не учтенный расчетом дополнительный фактор. «Гости» принадлежат полю. С полем появились и с полем исчезнут. Так думал Старков, во всяком случае, хотел так думать. Можно было бы попробовать, конечно, отключить генератор, как предлагал Раф, но Старков боялся: оставшиеся семьдесят пять процентов вероятности отпугивали, требовали повышенной осторожности. В конце концов, генератор не рассчитан на такую высокую напряженность: через час-два экраны начнут выходить из строя, поле исчезнет само собой, и вместе с ним, по всей вероятности, исчезнут и «пришельцы», поскольку вне поля Старков не мыслил их существования.

Вот так он и думал, во всяком случае, хотел так думать.

А что касается вздорной мысли не выпускать их из зоны экранов, так не такая уж она и вздорная: поле полем, но не пропадут же «гости», если выйдут из него. То есть по теории-то должны пропасть, но уж как-то не вяжется это с реальностью. Вот вам тридцать живых и здоровых мужиков, едут себе спокойненько, песни распевают и вдруг — исчезли, испарились. Ну конечно же, конечно,



они существуют в своем времени, только в своем, а в нынешнем их нет, убиты они здесь же или где-нибудь под Орлом или Курском.

Но... и в сотый раз Старков вспоминал это проклятое «но»! А если не исчезнут? Если прорвутся? Что тогда? В нескольких километрах — деревня, еще дальше — другая. Там люди, которые ни сном ни духом не помышляют об опасности. О такой опасности! Они и воевать-то давно разучились, а большинство и не умело, как Раф, Димка или Олег. Их надо предупредить, заставить поверить в реально существующую опасность, какой бы нелепой она ни казалась.

Старков прикинул: кто может пойти? Раф? Пожалуй, он справился бы с этой миссией лучше других: сумеет убедить. Но ведь он сам не очень-то верит в «гостей», куда же ему еще убеждать кого-то!..

Может быть, Олег? Нет, не подходит: не оратор. Думать умеет, стрелять умеет, работать умеет и — еще как, а вот говорить не научился. Это ему попортит кровушки: в науке говоруны подчас стоят больше молчаливиков...

Лучше всего пойти самому. Но это значит оставить трех сосунков, не нюхавших боя, на верную гибель. На почти верную. Бой не любит новичков, как бы храбры они ни были...

Значит, остается Димка. За это время он небось досыта нагляделся на взвод «гостей», поверил в них так, как и сам Старков. А объяснить колхозникам невероятное существование машины, воскрешающей годы войны, пожалуй, сумеет не хуже Рафа.

Но Димка умеет стрелять, а Раф нет. Значит, все-таки Раф?..

Старков вышел из сарая, где по-прежнему гудел генератор, может быть чуть громче, чем следовало бы! — пошел к сторожке. Навстречу ему бежал Олег, обвешанный оружием: карабин Старкова, собственная тулка, в руке — сумка с патронами. Раф шел сзади, перекинув через плечо двустволку.

— Ловите! — Олег на ходу кинул Старкову карабин, и тот поймал его, ощутив холодную сталь ствола.

Вот когда он вспомнил, что не охотничье это оружие — боевое. И может быть, впереди у них — тот самый бой, где он будет очень кстати, этот семизарядный симоновский карабин. А может быть, боя не будет. Старков очень хотел, чтобы его не было...

Димка сидел под деревом и ждал. Он уже вдоволь насмотрелся на беспомощно суетящихся эсэсовцев и решил, что дальнейшее наблюдение за ними довольно бессмысленно: ну, потолкают машину, ну, земли под колеса покидают, веток, хвороста — раньше часа им все равно отсюда не вылезти. Дурак водитель затащил тяжелую машину в заведомо непролазную грязь. Небось начальство не наградит его за это железным крестом. Как там у них делалось? За провинность — на Восточный фронт...

Он усмехнулся: вот она — инерция книжных знаний. Это же и есть Восточный фронт — для них, конечно. Или, вернее, был. Вот так он и выглядел, наверно, осенью сорок второго года. Холодно, дождь моросит, дорога непроходимая, мокрота, лес, болота. Взвод карателей направляется на очередную «операцию» в близлежащую деревню. Всего второй год войны, они еще самоуверенны, только торопятся. Офицеры покрикивают, подхлестывая и без того надрывающихся в болотной грязи солдат. Ясно: бояться партизан.

Хороши партизаны, внутренне усмехнулся Димка. Три дробовика, если двустволку считать за два, да один карабин — единственно стоящее оружие. Зато у этих четырех стволов при всей слабости их огневой мощи есть одно преимущество — эффект внезапности.

И вдруг Димка ужаснулся ленивой будничности этой по сути страшной мысли. Какая, к черту, огневая мощь? Они физики, ученые, а не вояки. Они сюда работать приехали, а не стрелять. В людей стрелять, в таких же, как он, из плоти и крови, как Олег, как Старков, как их сельские знакомцы. Димка даже представить себе не мог, что придется — сейчас или через десяток минут! — вскинуть ружье, хладнокровно прицелиться, поймав на мушку черный мундир на дороге, нажать на спусковой крючок... Сумеет ли он это сделать: ведь не научили. В тире стрелять по мишеньке с кружочками — учили. А в людей — нет. И ненавидеть не учили. И никто пальцем не тыкал: вот, мол, враг, убей его. Просто врага не было. Живого... А в учебнике истории вдохновения немного: такая-то дата, такое-то сражение — выучить и сдать.

Димка любил смотреть фильмы о войне. Он умел красиво поговорить о методе «ретроспективы» в военной теме, о режиссерских находках, об использовании хроники

в сюжетной канве. Но, в сущности, он оставался тем же самым мальчишкой с Можайки, который бегал в «Призыв» на дневное кино «про войну». Так же переживал в душе за героя. Так же рвался за ним в штыковую атаку. Так же вполголоса пел с ними за дощатым столом в землянке.

Все поколения мальчишек когда-то играли «в войну». А потом игра начиналась «всерьез», и вчерашние мальчишки уходили на фронт гражданской, финской, Великой Отечественной. А потом — кто вернулся! — те уже смотрели на своих мальчишек, повторяющих их детство, и думали: не дай бог им пережить с наше...

Димкиному поколению повезло. Вот он — «типичный представитель советской молодежи» — успешно закончил школу, тянет лямку в университете, подумывает об аспирантуре. Война оставалась для него только игрой.

Ах, не доиграл он в нее, не закончил: мать позвала из окна или школьный звонок прозвенел. Только осталась живой в нем детская страсть к оружию всех систем: бах-бах, Димка, я в тебя попал, падай, чур, не игра!..

Так вот она, «чур, не игра», Димка. Все просто в раскладе: вот враг, вот свои — действуй, парень.

А как действовать, если этой зимой путешествовал по ГДР, был в Берлине, в Дрездене, в Росток, пил пиво с прекрасными парнями с физфака Берлинского университета, пел «Катюшу» и «Левый марш», и никто не вспоминал о войне, о том, что, может быть, отец Димки сражался против отцов этих прекрасных парней с физфака, — никому до этого дела не было.

А сейчас есть дело, Димка? Вдруг один из черномундирников станет отцом кого-нибудь из тех немецких ребят? Ты сумеешь в него выстрелить, убить его?

Да нет же такой проблемы, нет: это только стык времен, а не само время, это иллюзия реальности, а не живая жизнь. Ой, Димка, не крути хоть сам с собой: это именно реальность, хотя и вчерашняя. Это враги, Димка, о которых ты знаешь по книгам и фильмам. Это война, Димка, которая все-таки достала тебя.

И ты будешь стрелять, потому что в семи километрах отсюда люди, не подозревающие, что в их край вернулась война. Ты будешь стрелять ради них, Димка, понял?

Он понял. Он встал и пошел навстречу Старкову с ребятами. Он знал совершенно точно, что сумеет выстрелить — первым, если понадобится. А там, как говорит уважаемый шеф: все пули мимо нас!

— Ну, как там? — спросил его Старков.  
— По-прежнему, — сказал Димка. — Где ружьишко?  
— Получи, — Олег протянул ему двустволку и сумку с патронами.

Димка деловито откинул стволы, вогнал в них патроны.

— Надо предупредить колхозников, — сказал он. — Пойти должен Раф.

И Старков удивился даже не тому, что для Димки никакой проблемы не существовало (пойдет Раф и — точка!), а тому, как это было сказано: сухо, коротко — обсуждению не подлежит.

И даже Раф не стал по своему обыкновению возражать и ломаться, спросил только:

— А что я им скажу? Они же не поверят...

— А ты скажи так, чтоб поверили, — объяснил Димка. — И пусть подготовятся к нападению: мало ли что... — Он все же не справился с ролью командира, вопросительно взглянул на Старкова: то ли я говорю?

И Старков кивнул утвердительно, добавил:

— Сюда никого с собой не веди. Надеюсь, помощь не понадобится: боя не будет. А сам останешься в деревне: проследишь за подготовкой к обороне, и без паники.

— Зачем? — запротестовал Раф. — Объясню им все и вернусь...

— Ты знаешь слово «приказ»? — спросил Старков. — Так вот, это приказ. И запомни: мы на войне. А ведь даже в мирное время приказы не обсуждаются. Иди. И будь осторожен. Обойдешь их с севера. На дорогу даже носа не высовывай. И помни: все пули мимо нас...

Раф недовольно — может быть, подчеркнуто, слишком подчеркнуто, — пожал плечами, поднял воротник куртки, пошел ссутулившись, сначала медленно, потом обернулся, улыбнулся неожиданно, сказал озорно:

— Предупрежу и вернусь. Привет! — И, не дожидаясь ответных реплик, рванул в кусты, только брызги посыпались.

Старков тоже улыбнулся: ну что будешь делать, вернется, конечно, не может не вернуться, он и слова-то «приказ» толком не знает, ему не приказывали — просили, требовали, предлагали, а железное «надо» ему вполне заменяли вольные «может быть» и «неплохо бы».

Вот почему Старков все-таки улыбнулся — не до воспитания, нет времени, — пожал плечами, сказал Димке:

— Придется тебе еще раз заняться акробатикой...

Димка кивнул, отдал ружье Олегу, полез на дерево. — Все еще возятся, — сказал он. — Сучьев натащили — вагон. А машина буксует.

Надсадный рев мотора то взрывался, то стихал. До них долетели обрывки невнятных команд, криков и ругани.

— Быстро к дороге, — приказал Старков. — И не шуметь!

Они добрались до небольшого холма недалеко от того места, где лесная дорога поворачивала к реке, пробираясь сквозь кусты орешника и, вырвавшись на полевой простор, бежала к деревне. Отсюда хорошо было видно, как все еще дергался в грязи помятый грузовик с промокшим брезентовым верхом и шла вокруг него все та же солдатская суетня. Пожалуй, скоро вытащат, подумал Старков, и до деревни доберутся хотя и позже Рафа, но все же скорее, чем тот сумеет втолковать колхозникам об опасности. Те даже поверить ему не успеют. Будут хмыкать, посмеиваться, покачивать головами, будут с жалостью смотреть на мальчишку и советовать ему приберечь свои шутки до первого апреля. Да что рассуждать: хорошо, если для колхозников вся эта история осталась бы глупой шуткой зарвавшегося физика, который даже и не думал о таких последствиях своего «эпохального» опыта.

Старков лег на мокрую траву, махнул рукой ребятам: ложись, мол, тоже, — раздвинул ветви орешника, выставив ложневатый ствол карабина.

«Вот и вернулась к тебе война, — горько подумал он, — не оставляет она тебя: ни в воспоминаниях, ни наяву. Воспоминания привычны: ими можно играть, как детскими кубиками, складывать пирамидки, а надоест — рассыпать. А явь — это похуже. Это неожиданно и потому опасно. Боишься, Старков? Нет, конечно. Хотя их и вчетверо больше нас. Нет у меня к ним жалости, к этим возвращенным Временем фрицам, как и тридцать лет назад тоже не было. Сейчас у нас сорок второй на дворе — запомни. Фашисты идут к Волге. На Северном Кавказе — бои. Ленинград осажден. Отечество в опасности, Старков! Ты помнишь эту фразу? Вспомни ее хорошенько, перевари в себе. В опасности, понял, политрук?»

— Слушать мою команду, — шепотом приказал он. — Не стрелять без приказа. Лежать молча. Пока...

Он боялся, что ребята начнут стрелять раньше времени. Знал, знал, что все равно им придется стрелять —

как же быть иначе? — и все же старался оттянуть этот момент. Не потому, что опасался промахов. И в мужестве их не сомневался. Ведь в годы войны такие же мальчишки и стреляли, и шли в атаку, и стояли насмерть, если требовалось. Но Старкову казалось, что до сознания его ребят все еще не дошла по-настоящему реальность возвращенного Временем прошлого. В их готовности к бою был какой-то элемент игры или, точнее, лабораторного эксперимента. Вероятно, им думалось, что стрелять придется хотя и в живых, но все же не «настоящих» людей, — те уже давно истлели и даже кости их не соберешь в этих лесных болотах. А Старков знал, что с отрезком возвращенного военного времени вернулись и его будни, тяготы, кровь и смерть. И если эти живые, по-настоящему живые гитлеровцы прорвутся к селу, будут и стрельба, и резня, и мертвые дети, и повешенные старики. Не о таком эксперименте он думал, потому и боялся за своих не переживших войны пареньков.

Он подтянул карабин к плечу, прижался щекой к его мокрому прикладу, поймал на мушку медленно, с трудом вращающееся по глине переднее колесо поднимающейся из грязи машины, нажал на крючок. Карабин громыхнул неожиданно сильно в шуршащей тишине дождя. Грузовик резко повело на середину дороги, он влез колесами в наезженные колёи, дернулся вперед и замер, заглох, видимо, шофер выключил зажигание.

«Вот и все,— безразлично и буднично подумал Старков.— Война объявлена...»

## 6

Раф удачно выбрался из леса, минуя дорогу, побежал напрямик через клеверное поле: черт с ним, с клевером, зато выгадывалось километра полтора. Некоторое время Раф слышал ревущий в лесу грузовик, потом звук исчез: то ли мотор заглох, то ли просто он отошел достаточно далеко от «театра военных действий».

В конце концов, как еще иначе назвать сегодняшнее приключение? Раф искал термины: мини-война, операция «Время». Или так: физики шутят...

Хороши шутки, если тебя подстрелят, как зайца. Вопреки предположению Старкова Раф, хотя и подыскивал подходящие термины для «лабораторного эксперимента»,

все же ни минуты не сомневался в опасности ситуации: горящая спичка все равно взорвет бак с бензином, даже если тот прибыл из прошлого. Конечно, лучше всего было бы затаиться, уйти в лес, не делать глупостей и не вызывать огонь на себя. Раф не верил в сверхъестественное. Он верил в законы физики. И еще — в собственную логику. А она ему подсказывала, что «гостей из прошлого» держит здесь временное поле и за его пределами они просто не смогут существовать. Исчезнут, вернуться в свой сорок первый или какой там год. Естественно, определенный риск существовал: могут и не вернуться. Вот тогда и следовало что-то предпринимать. Но вероятность «невозвращения», по мнению Рафа, едва ли составляла пять-шесть процентов.

Однако со Старковым не поспоришь: он уперся на своем и не отступит, пока сам не убедится в ошибке. Ну что ж, пусть убедится. Предоставим ему такую возможность. Тем более что колхозников и вправду надо предупредить: даже пять процентов вероятности могут принести беду.

Конечно, можно было бы сразу отключить поле и тем самым проверить прочность железной логики Рафа. Но здесь он понимал и Старкова: пять процентов могли вполне превратиться в сто. Не исчезни «гости», так их потом не вернешь никакими силами: попробуй настрой генератор так, чтобы временное поле совпало именно с тем временем, которое властвует сейчас в зоне экранов. Нет, спокойней подождать, пока один из этих экранов потеряет настройку и перегорит, а тогда исчезнет и поле. Раф полагал, что произойдет это скоро. И может быть, его миссия даже не понадобится и он до конца срока практики будет ходить у колхозников в роли Иванушки-дурачка.

Впрочем, роль эта не слишком волновала Рафа: дурачок так дурачок. Гораздо важнее, чтобы «дурачку» все-таки поверили. Хотя бы наполовину. Или даже на треть. Чтобы никого не застали врасплох эти чертовы пять процентов.

Раф даже поежился от мысли, что «пришельцы» могут добраться до деревни. Глупая мыслишка, нелогичная, но страшноватая. Он отогнал ее, отмахнулся, стал прикидывать, как убедить председателя вооружить людей. Причем вооружить, не раскрывая истинной причины опасности...

Тут он осекся: а почему, собственно, не раскрывая? Пойдет вздорный слух? Ну, вздорный или нет, а слух пойдет все равно. В конце концов колхозники должны знать правду об эксперименте и его последствиях. Но, может быть, не сразу, не сейчас. Правду должен узнать председатель, мужик умный, воевавший вместе со Старковым и лучше других осведомленный о его научной работе в здешних лесах. К тому же его слушаются и ему верят, и такой хозяин округи наверняка придумает что-нибудь надежное, чтобы предупредить людей о грозящей опасности. Еще лучше помогли бы выстрелы — автоматные, у гитлеровцев «шмайссеры», а не дробовики, но на семикилометровом расстоянии их не услышишь...

Раф выбрался наконец на дорогу, тяжело побежал, скользя на липкой глине, свернул по траве к председателю дому: хорошо, что председатель жил здесь, а не в центральной усадьбе. И хорошо, что сегодня — воскресенье, а стало быть, он дома, а не в поле или на ферме. Должен быть дома...

Раф не ошибся: председатель был дома. Он сидел в комнате под старомодным фикусом и смотрел телевизор. Председательское семейство, состоящее из двух близнецов десяти лет, жены и тещи, сидело чуть поодаль от фикуса и тоже смотрело передачу. Телевизор был новый, недавно купленный в кредит, сверкающий коричневым лаком и никелированными ручками, и председателю было явно наплевать на то, что показывали: важен факт, а не содержание. А показывали металлургический завод. На экране лился расплавленный металл, гремел прокатный стан и сновали рабочие с мужественными лицами. Председатель был очень увлечен передачей и не сразу заметил Рафа, остановившегося на пороге. А когда заметил, сказал приветливо:

— Здорово, студент. Садись и смотри. Интересно.

Он прекрасно понимал, что Раф явился вовсе не затем, чтобы изучать жизнь металлургов. Но в деревне не принято было эдак с бухты-барахты приниматься за дело. Сначала требовалось некоторое вступление, так сказать интродукция, и телепередача вполне подходила для этой цели. Но Раф не имел права соблюдать веками установленный сельский этикет. Он подошел к председателю, оставляя грязные следы на крашеном полу, наклонился, сказал на ухо:

— Беда, Петрович. Вырубай шарманку. Времени нет.



И сумел он сказать эти будничные слова так, что председатель не стал вспоминать об этикете, протянул руку, выключил телевизор, спросил в наступившей тишине:

— Случилось что?

— Случилось, случилось,— быстро проговорил Раф.

Председательское семейство настороженно молчало, ожидало продолжения. Раф с сомнением посмотрел на них, потом перевел взгляд на председателя. Тот понял.

— Пойдем со мной,— сказал он.

Встал и пошел в другую комнату, подождал, пока туда вошел Раф, плотно прикрыл дверь.

— Говори.

И опять Раф заколебался: с чего начать? Не придумал ничего лучше, как бухнуть сразу:

— Фашисты в лесу, Петрович!

— Ты сегодня температуру мерял? — голос председателя звучал спокойно, но слышались в нем угрожающие нотки: как так, из-за дурацких шуточек человека от воскресного отдыха отрывать!

— Да не вру я,— заорал Раф и вдруг успокоился, пришел в себя: — Опыт мы ставили. Знаешь?

— Ну, знаю. Старков рассказывал. Время хотите вспять повернуть...

Раф усмехнулся про себя: примитивно, но в общих чертах верно.

— Уже повернули.

— Удался, значит, опыт?

— Даже слишком. В общем, такие дела, Петрович: генератор создает границу между нашим временем и прошлым. На этот раз мы попали, видимо, в сорок второй год...

— Самое пекло здесь было,— сказал председатель.— Вместе с твоим Старковым фашистов били. Я — партизанским «батей», он — комиссаром. Каратели тогда две соседние деревни сожгли. Одни печи остались. Лучше и не вспоминать.

— Придется вспомнить,— жестко сказал Раф.— Чего-то мы не учли в расчетах, и сквозь эту временную границу проскочили наши «гости» из прошлого. А какие — сказал уже.

Председатель задумался.

— А может, все-таки ошибка? Может, марево? В болотном тумане всякое показаться может.

— Не тяни, Петрович,— отрезал Раф.— Все самое настоящее. Увидишь Старкова — подтвердит. Да и наш Димка с дерева наблюдал. И машины немецкие, и форма немецкая. Как в кино.

— В кино по-всякому одеть можно,— вздохнул председатель. Очень уж ему трудно было поверить в старковское чудо.

— Мы тоже сначала подумали, что кино,— сказал Раф,— только это, отец, совсем не кино.

— Может, рабочим каким немецкую форму выдали? — все еще сопротивлялся председатель.— Со складов, чтоб зря не лежала.

— С каких складов? — уже рассердился Раф.— Из «Мосфильма» или из театра какого-нибудь? И настоящие автоматы выдали? Интересно, зачем?

— Да-а...— протянул председатель, полез в карман, достал смятую «беломорину», коробок спичек, закурил, пустил дым к потолку.

Он никогда не торопился с решениями, долго обдумывал, взвешивал, примеривался, а уж когда решал, то — прочно и твердо. Он курил и молчал, и Раф молчал. Молчал и думал о том, что делается в лесу. Не хотел думать, не верил в то, что думалось, и все-таки думал, думал, думал, и сжималось что-то в груди, натягивалась струночка — не порвать бы...

— Вот что, студент,— сказал наконец председатель.— Сколько их там?

И Раф вздохнул облегченно: поверил-таки. Да и не мог не поверить. Не такой мужик председатель, чтобы не понять, когда шутят — пусть глупо, пусть подло,— а когда всерьез говорят. Понял он — даже не то, что произошло на самом деле, а то, что и вправду пришла беда и что с бедой этой можно сладить только сообща. Как и тогда, в настоящем сорок втором, когда председатель — ровесник Старкову — ушел в партизаны, а после войны строил колхозы на Брянщине.

— Человек тридцать,— быстро сказал Раф.— Грузовик и маленькая легковушка с офицерами.

— А вас трое...— не то спрашивая, не то утверждая, проговорил председатель, и Раф перебил его:

— Да не в том дело! Для наших опасности нет: лес большой да и не полезет Старков на рожон,— тут он сам не очень верил в свои слова.— Главная опасность в том, если фашисты в деревню прорвутся.

— Могут...— опять не то спросил, не то подтвердил председатель, и опять Раф вмешался:

— Маловероятно: это же чужое время. Оно существует только в пределах действия генератора, а значит, «пришельцы» не смогут из этих пределов вырваться.

Но председателю непонятны были доводы Рафа. Он в науке не слишком разбирался, зато точно знал: есть машина, есть тридцать человек со «шмайссеррами» и никакой дробовик их не остановит.

— Мало или не мало,— сказал он,— а людей предупредить надо. Не поверят, конечно, в ваши штуки со временем. О бандитах говорить будем, о бандитах в бывшей немецкой форме. Где-нибудь старый трофейный склад ограбили, а теперь в село идут. Не очень мудро придумано, но если на серьез братья — поверят. Главное, чтобы подготовились к встрече.

— Вот и я о том же,— закричал Раф.— И побыстрее.

— Горячку не пори,— председатель встал, взял со стула дождевик.— Пошли по дворам.

Они прошли через комнату, где председательское семейство ожидало окончания таинственного разговора.

— Вот что, бабы,— на ходу распорядился хозяин.— Тут дела такие, что лучше вам из дому не показываться. Заприте двери, ставни закройте и сидите тихо.— Подумал, что надо бы объяснить не очень понятный приказ, и добавил: — Тут в округе банда объявилась. Милиция из города выехала уже, по следу идут. Так что лучше погодить. Понятно?

И, не дожидаясь ответа, вышел в сени, сорвал со стены двустволку, взял сумку с патронами, сунул под плащ.

— Теперь они носа не высунут,— шепотом сообщил он Рафу.— Тут меня вроде слушаются — и дома, и в народе... Ты вот что, иди по левой стороне улицы, а я по правой. Говори: председатель зовет, дело есть. Пусть ружья берут. Через десять минут — на околице.

— Послушайте...— сказал Раф. Он не умел и не любил о чем-нибудь просить, а тут надо было, нельзя не просить: что же он, хуже других? — Послушайте... У вас лишнего ружья не найдется?

— Кому?

— Мне. Не взял из Москвы,— соврал Раф.— Забыл, понимаешь. А как же сейчас без оружия?

— Да, брат, без оружия сейчас нельзя,— председатель вроде бы поверил наигранной беспечности Рафа,

а может, и нет,— кто знает хитрого мужика,— только снял с плеча двустволку свою.— Держи.

— А ты, Петрович?

— Я у Фрола возьму. У него несколько. Да бери-бери, тебе говорят.— И только спросил невзначай: — Ты с этой системой знаком?

Раскусил он, раскусил напускную беспечность студента, только не хотел обижать, позорить сомнениями: знал, что не время сейчас,— может быть, бой впереди. И Раф понял это, и был благодарен тактичности председателя, который — известно было! — и кричать любил, и поматериться, и высмеять неумеху. А тут смолчал. И Раф не стал что-то объяснять или оправдываться, кивнул в ответ: знаком, мол. Да и видел он не раз, как легко обращался с такой же двустволкой Димка — дело нехитрое,— закинул небрежно на плечо, толкнул дверь на улицу:

— Пошли...

А председатель остановился вдруг, посмотрел на него просительно:

— Парень, а ты не разыгрываешь?

— Тогда идите домой,— зло сказал Раф,— и досматривайте телевизор. И спокойно, и понятно, и чертовщины никакой нет. А то, что наши в лесу — трое против тридцати, так это так, между прочим, пошутил, значит.

— Эх, не понял ты меня,— председатель даже рукой махнул.— За такие шутки я б тебе голову свернул. Я же поверил тебе: не мог не поверить. Только наука ваша для меня — китайская грамота. Вот она, моя наука: когда сеять да когда жать. А выше — ни-ни... Ты не злишь, парень: мы же, как хохлы в поговорке, пока рукой не пошупаем — не поймем... Ну, да ладно, давай поторопимся.

## 7

Старков ошибался: война не была объявлена. То ли за ревом двигателя не слышен был выстрел, то ли еще какая-нибудь причина, только дверца машины хлопнула и долговязый шофер наклонился над колесом.

— Что там еще? — крикнул ему кто-то из передней машины.

— Должно быть, прокол,— виновато ответил шофер, ощупывая покряшку.

Старков поймал его на мушку: удобная мишень,— задержал прицел и... опустил карабин. Подумал: не время сейчас, получена новая отсрочка, причем совсем уж неожиданно. И сам усмехнулся: хитришь, солдат, испугался по живой мишени хлопнуть, отвык за тридцать лет. Отсрочка отсрочкой, а вот что будешь делать, когда и она кончится.

А отсрочка явно получалась недолгой. От все еще сидевшей в грязи машины донеслись лающие немецкие крики. Старков мысленно перевел.

— Ефрейтор, слышал выстрел? — спросил кто-то из легковушки.

— Никак нет, господин оберштурмфюрер, — ответил ефрейтор, не вылезая, однако, из теплой кабины грузовика.

Это явно не понравилось офицеру.

— Ко мне! — приказал он.

Рыжий ефрейтор выпрыгнул из кабины и, смешно переваливаясь на коротких ногах, побежал по глине к легковушке. Он остановился около нее, согнулся угодливо, и Старков подумал, что его обтянутая черным кителем спина — тоже неплохая мишень. Он-то лишь подумал об этом, усмехнулся про себя — сдержив эмоции, политрук, — и вздрогнул от грохота выстрела. Черная спина ефрейтора дернулась, он неестественно выпрямился, схватился за брезентовый верх легковушки и, не удержав своего тяжелого тела, медленно сполз на дорогу.

— Кто? — в ярости повернулся Старков и осекся: ему весело улыбался Олег.

— Как я его? Теперь начнется...

«Теперь начнется», — тоскливо подумал Старков.

И еще подумал, что парень в общем-то не виноват: немецкого не знает, потому и не понял, что только сейчас получил в подарок минут пятнадцать отсрочки и вот отказался от подарка, накликал беду...

В общем не виноват. А в частности? Старков смотрел на улыбающееся лицо Олега, перезаряжающего ружье, и подумал о той необычайной легкости, с которой молодой парень только что убил человека. Да не человека же, сам себе возразил Старков, — гитлеровца, убийцу. Но это ты знаешь, что он — садист и убийца, ты его помнишь, или не его — ему подобных, ты их знаешь, а Олег? Для Олега все эти понятия — теория, страницы из учебника, и тем не менее...

Старков отмахнулся от этой мысли, забыл о ней. Начались дела поважнее...

— Ахтунг! — крикнул эсэсовец, выскочивший из своей легковухи и уже спрятавшийся в кустарнике. — Партизанен. Файер!

И Старков тоже полувыкрикнул, полушепнул:

— Огонь!

Эсэсовские каратели прыгали из кузова и ныряли в лес. Старков поймал на мушку одного — в прыжке — и выстрелил: есть! Еще один, еще, еще... Рядом бабахал Олег, то и дело перезаряжая тулку, вполголоса приговаривал:

— Попал... Попал... Ах, черт, мимо...

На Димкиной стороне было тихо, а может, это только показалось Старкову — он и разбираться не стал, некогда, — перезарядил карабин, припал щекой к ложу.

Немцы из-за кустов открыли по ним огонь. Звонко и раскатисто лаяли автоматы, где-то над головой — прицел неточен! — свистели пули и, собственно говоря, отвечать уже не было смысла. Срезанные выстрелами «пришельцы» остались лежать у машины, а остальных просто не было видно. А стрелять по звуку — пустая трата патронов.

Черномундирный оберштурмфюрер тоже не был профаном. Автоматные очереди сразу же прекратились, и внезапная тишина, повисшая над лесом, показалась Старкову странно нереальной, будто кто-то выключил звук, а изображение на экране осталось: та же разъезженная дорога над горкой, те же кусты орешника на обочине, брошенные машины и трупы около них.

Старков посчитал: трупов было семь. Четырех срезал он сам, а трое, стало быть, приходится «на долю» ребят. Скорее всего Олег: Димка, кажется, вовсе не стрелял — то ли испугался, то ли не успел.

— Быстро отходить, — шепнул Старков и, пригнувшись, побежал в глубь леса, петляя среди деревьев.

Он понимал, что их торжество долго не продлится. Звук выстрела из автомата или карабина не спутаешь с выстрелом из охотничьего ружья. А плохо вооруженные партизаны вряд ли сильно напугают карателей. Сейчас Старков не сомневался, что они выловили из прошлого именно взвод карателей. Вот таким же мокрым осенним днем лет тридцать назад ехал этот взвод по такой же мокрой осенней дороге, может быть, так же застрял на полчаса, может быть, тоже встретил партизан — настоя-

щих! — а может быть, и прорвался к деревне. Если так, то кто-то из колхозников наверняка сохранил память об этом заурядном, но страшном эпизоде минувшей войны.

Минувшей? Опять оговорка. Кто знает: точно ли совпадает время в настоящем и в прошлом и равняются ли два часа, проведенных карателями в дне нынешнем, двум часам дня давно минувшего. А может быть, вернувшись в сорок второй год — Старков все-таки верил в это возвращение! — кто-то из карателей обратит внимание на то, что их время с т о я л о, что вернулись они в ту же секунду, из которой отправились в долгое путешествие по временной петле. Кто знает капризы времени, его неясные законы, поведение? Да кто, в конце концов, знает, что такое само время? Никто не знает, думал Старков, а его теория — лишь робкая попытка постучаться в толстую стену, за которой — неизвестность, загадка, ночь...

— Стойте! — вдруг шепнул Олег. — Слышите?

Где-то позади хрустнула ветка, зашуршали о траву капли с потревоженного кем-то дерева.

Старков бесшумно шагнул за куст, за ним — Димка и Олег. Через несколько секунд на маленькую полянку, где они только что стояли, осторожно вышел человек в черной эсэсовской форме. Он озирался, сжимая в руках мокрый от дождя «шмайссер», потом шагнул вперед — и захрипел в не слишком вежливых объятиях Олега.

— Штиллер! — сказал ему по-немецки Старков, уткнув в грудь немцу дуло своего карабина. — Во зинд андере? — И прибавил по-русски: — Остальные где?

Немец отрицательно покачал головой, скосил глаза на старковский палец, застывший на спусковом крючке. Старков понял его и медленно повел крючок на себя.

— Найн, найн, — быстро сказал немец и поднял руки.

— Эс ист бессер, — одобрил Старков. — Мы тебя не убьем. Нихт эршляген. Ты откуда? Фон во?

— Бо-ро-ви-чи, — немец тщательно выговорил трудное русское слово. — Айн кляйне штатт. Гестапо.

— Районный центр, — сказал Старков и снова спросил: — А сюда зачем? Варум, варум? — и обвел рукой вокруг.

— Их вайс нихт.

— Не знает, — перевел Олегу Старков и снова пошевелил пальцем на спусковом крючке.

— Аусфалль. Этрафэкспедицион, — пояснил немец.

— Вылазка. Карательная акция,— повторил по-русски Старков.

Немец явно не врал. Командование обычно не посвящало солдат в подробности операций. Карательная акция — достаточное объяснение, тем более что подобные акции — обычное дело для таких вот черномундирных «орлов», нахально храбрых с безоружными женщинами и трясущихся от страха под дулом карабина или автомата.

Старков достал из кармана носовой платок, критически осмотрел его. Платок был далеко не первой свежести, но гигиена здесь не обязательна.

— Открой пасть,— сказал Старков немцу и сам показал, как это сделать.

Тот послушно ощерился, и Старков толково забил платок ему в рот, потом, вытянув из его брюк ремень, кинул Димке.

— Свяжи руки.

Связанного немца положили под елку, и заботливый Димка прикрыл ему лицо пилоткой.

— Чтобы дождь не мочил,— объяснил он.

— Можно, я возьму его автомат? — спросил Старкова Олег.

— Возьми, конечно. Запасные обоймы они держат в подсумке.

— Нашел,— сообщил Олег.

— Вот что, ребята,— подумав, сказал Старков.— Судя по этому викингу, они решили прочесывать лес поблизости. Грузовик почти вытащили, но явно еще задержатся. Поэтому пробирайтесь-ка навстречу Петровичу с его отрядом — два лишних бойца пригодятся. Старайтесь обойти карателей с тыла — лес знаете.

— А вы? — почти одновременно спросили Олег и Димка.

— Пойду к немцам.

— За пулей в голову?

— Все пули мимо нас,— засмеялся Старков.— Считрю. По-немецки немного умею, но вида не покажу. Постараюсь задержать их подольше,— может, какой-нибудь из экранов сорвется.

— Как это задержать? — удивился Олег.

— Найдем способ,— усмехнулся Старков и добавил отрывисто: — А вы идите, как условились. Это приказ.



Отдав свое оружие ребятам — в последний момент Старков решил, что карабин ему не понадобится, — он снял исподнюю рубашку и, размахивая ею, как белым флагом, пошел наперерез через кусты к застрявшему грузовику.

Увидя человека, размахивающего рубашкой, эсэсовцы, кроме тех, что разбрелись по лесу в поисках партизан, угрожающе подняли автоматы.

— Хальт! — скомандовал один из них.

— Шпрехен зи руссиш? — крикнул Старков.

Из легковушки вылез уже знакомый издали оберштурмфюрер с длинным прямым носом и клоком рыжих волос, спускавшихся по-гитлеровски на лоб. Он иронически оглядел застывшего с поднятыми руками Старкова.

— Кто ты есть? — спросил он лениво. — Партизан? Мы не разговаривать с партизан. Мы их эршиссен. Пиф-паф.

«Могут и расстрелять, — подумал Старков. — Без переговоров. Пиф-паф — и все. Да нет, пожалуй, не расстреляют так сразу. Покуролесят хотя бы из любопытства. Оно у носатого на морде написано. А мне важно затянуть канитель. Задержать, задержать их во что бы то ни стало. Да подольше, пока не полетят к черту экраны». Он уже рассуждал не как ученый Старков, а как партизанский политрук Старков, под дулами нацеленных на него автоматов придумывавший что-нибудь заковыристое.

— У меня есть сообщение, господин офицер, — сказал он нарочно дрожащим от страха голосом, хотя страха-то у него и не было: не все ли равно, как помирать, если приходится помирать.

— Со-об-ще-ние, — повторил по слогам носатый. — Миттейлунг. Хорошо. Геен зи хир. Близко. Еще близко.

Старков подошел, чуть прихрамывая — у него уже было на этот счет свое соображение — и не опуская рук.

— Говори, — услышал он.

Ну как говорить с призраком? Даже не с призраком, а с искусственным материализованным покойником. Да и покойники-то не ведают, что они уже тридцать лет как покойники, а если кто и жив сейчас, так не знает, что ему сейчас придется «эршиссен» Старкова. Странное состояние полусна-полуреальности охватило его. Но дула

автоматов отразили искорки солнца, выглянувшего на мгновение из-за свинцовой пелены туч. Сталь этих автоматов была совершенно реальна.

— Я сказать: говори Заген, заген,— повторил носатый.

— В лесу партизан нет,— сказал Старков.— Была только группа разведчиков. Трое вместе со мной. Двоих вы кокнули.

— Что есть кок-ну-ли?

— Пиф-паф,— ответил, стараясь не улыбаться, Старков.

— Во ист партизаненгрупп? Отряд, часть? — добавил носатый.

— Ушли к железной дороге. В деревне одни старики и дети. А штаб отряда за Кривой балкой. Примерно там,— и Старков показал в противоположную от деревни сторону.— Сорок минут туда и обратно.

Он нарочно выбрал не слишком отдаленный отсюда район. Потерять час-два на проверку носатый бы не рискнул. А сорока минут вполне достаточно. Да и до деревни надо потом добраться: клади еще тридцать минут по такой грязи. Никакие экраны столько не выдержат. Правда, его, Старкова, могут и расстрелять, когда вернутся ни с чем из-за Кривой балки посланные туда солдаты, но что ж поделаешь: людей в деревне надо сбегать. И опять думал это не физик Старков, а политрук Старков образца сорок второго года.

Носатый посмотрел в указанную Старковым сторону.

— Дорт? — удивился он.— Повтори.

— За Кривой балкой.

Носатый пошевелил губами, достал из нагрудного кармана в несколько раз сложенную карту, приложил ее к дереву и, пошарив глазами, ткнул пальцем в какую-то точку.

— Штаб? — повторил он.— Вифиль зольдатен? Сколько охранять?

— Человек десять.

— Цеен. Зер гут.

И тут же усомнился:

— А если ты врать, почему я верить? Где автомат?

— Бросил в лесу, когда бежал к вам.

— Зачем к нам?

— Всякому жить хочется. Я один, а вас тридцать. И леса не знаю. Чужой я здесь.

— А почему партизан?  
— Силком взяли, когда из города уходил. А я беспартийный да еще белобилетник.  
— Что есть бело-би-летник?  
— Освобожден от военной службы по причине негодности. Хромаю. Немцы говорят: ламе.  
— Пройти мимо.

Старков, припадая на правую ногу, прошел под наведенными на него автоматами мимо носатого и вернулся на место, где стоял раньше.

Эсэсовец подумал, еще раз взглянул на карту, позвал ефрейтора и быстро проговорил что-то по-немецки, из чего Старков понял, что двадцать человек направляются к Кривой балке, а его особу будут сторожить два автоматчика.

Носатый взглянул на часы и пролаял на своем искалеченном русском:

— Если нет штаба — архенген. Сук видеть? — он кивнул на толстый осиновый сук над головой Старкова. — Висеть, ясно?

— Ясно, — вздохнул Старков и спросил: — А закурить дадите?

Эсэсовец швырнул ему сигарету. Старков поймал и закурил от предложенной автоматчиком зажигалки. Дрянь сигарета, но курить можно, и он не без удовольствия затянулся.

Сорок минут. А там, кто знает, может быть, и поле исчезнет со всей вырванной из прошлого сволочью.

## 9

Лес они действительно знали: каждый кустик, каждый холм, каждую тропинку в зоне экранов исходили за четыре месяца — хоть кроки по памяти составляй. Поэтому и Олег, и Димка точно представляли себе, как и куда им нужно добраться. В двухстах метрах отсюда пролегал неглубокий овраг. Если пройти по нему до конца, можно выйти к дороге там, где она тянется из леса к деревне. Туда прочесывающие кустарник эсэсовцы, конечно, сразу не пойдут. Не найдя «партизан» поблизости, они вернутся к машине.

Расчет оправдался. По оврагу ребята прошли без приключений: как они и предполагали, каратели не стали

всерьез прочесывать лес, постреляли по кустам где погуше и пошли назад. Тем более что «партизаны» на огонь не ответили. Словом, все шло по плану, задуманному Старковым.

Они уже добрались до опушки, где дорога сворачивала к деревне. Только бы не нарваться на гитлеровцев! За кого могли их принять, если у Олега висел на груди автомат, отобранный у пленного «гостя». Значит — сражение, а исход его неизвестен. И неизвестно тогда, будет ли выполнен приказ Старкова.

Вдали снова заурчала машина. Олег замер: должно быть, вытащили. Тогда каратели обгонят их через десять минут и прорвутся к деревне.

Даже предупрежденные Рафом колхозники подойти не успеют. Значит, надо что-то придумать. И Олег неожиданно предложил:

— Пробирайся к деревне один. Одному сподручнее и скорее. Меньше шума. Пройдешь в кустах по опушке — не заметят

— А ты куда? — удивился Димка.

— Вернусь к машинам.

— Так ведь Старков приказал...

— Не всякий приказ следует понимать буквально. Старков приказал присоединиться к вооруженным колхозникам. Мы и присоединимся. Только по отдельности. Сначала ты, потом я. Если Старкову не удастся задержать машины, попробуя я.

— Каким образом? — Димка все еще ничего не понимал.

— Во-первых, у меня «шмайссер», во-вторых, стреляю я без промаха. В-третьих, меня беспокоит судьба Старкова. Словом, спорить не о чем и некогда. Сыпь к деревне напрямик сквозь кусты. А я пошел.

Димка хотел вмешаться, но не успел. Где-то далеко в лесу раздавались короткие автоматные очереди, преследующие единственную цель — напугать до сих пор не обнаруженного противника и успокоить себя. Кто-то кричал, кто-то ругался по-немецки, но слов разобрать было нельзя. Да Олег и не знал немецкого. Его интересовало только поведение Старкова.

До машин он добрался быстро. Пригнувшись, побежал вдоль стены орешника, поравнялся со стоявшей на дороге легковушкой и почти бесшумно раздвинул кусты, выглянул на дорогу. Эсэсовский офицер со сплуснутым

длинным носом и рыжим вихром на лбу сидел на пенечке в расстегнутом плаще. Против него, покуривая, стоял Старков, а в стороне два автоматчика. Один из них намертво держал его под прицелом «шмайссера», другой обменивался сигаретами с вышедшим из открытой легковушки шофером. Еще три автоматчика позади уже выкарабкавшегося из трясины грузовика отдыхали на поваленной бурей сосне. Солдаты помалкивали, время от времени озираясь по сторонам. Ясно было, что невольная задержка всех раздражает. И быть может, оберштурмфюрер уже жалел, что отослал отряд куда-то за Кривую балку — название, которое на немецкий и перевести невозможно. От сорока минут осталось всего четверть часа. Тогда он повесит этого партизана и двинется с отрядом к деревне. Носатый еще раз взглянул на часы и зевнул.

Вот тут-то Олег и принял решение. Мгновенной короткой очередью он срезал двух автоматчиков и шофера. Другая прострочила зевавшего оберштурмфюрера. Все это произошло так быстро, что растерявшиеся эсэсовцы, отдыхавшие позади грузовика, не успели ничего предпринять. Олег перемахнул через кювет с водой и прыгнул в открытую легковушку, что-то крикнув Старкову. Тот, не успев удивиться, сразу понял, что от него требовалось. Вырвав из рук убитого автоматчика его «шмайссер», он дал очередь по эсэсовцам, которые залегли за стволом сосны. «Ко мне!» — крикнул из легковушки Олег, и Старков в два прыжка очутился в машине. Двигатель завелся в пол-оборота.

Олег врубил сразу вторую передачу и нажал на акселератор. Машина взвыла — много газа, пробуксовала секунду и рванулась вперед.

Быстрота всего происшедшего исчислялась мгновениями. Но эсэсовцы уже опомнились и открыли огонь по машине. Поздно! Страх перед неожиданным налетом «партизан» парализовал их так, что они едва успели воспользоваться прикрытием сосны, чтобы открыть огонь, теперь уже бесполезный. Они даже не сообразили, что в их распоряжении еще оставался освобожденный от грязевых тисков грузовик, и, петляя между кустами, только палили уже совершенно бесцельно по уходившей вперед легковушке — кучка потерявших командира, смертельно напуганных солдат.

Оставшись в одиночестве, Димка медлил недолго. Приказ есть приказ. Не понимая и даже не пытаясь понять, что задумал Олег, Димка знал одно: как можно бесшумней, скорей и верней связаться с колхозниками. Продираясь сквозь заросли орешника, он вдруг услышал выстрелы. Где-то впереди, видимо на дороге. Он остановился — заскрипели сломанные кусты. Сквозь них он увидел, как промчалась по проселку, как взбесившаяся кошка, желто-зеленая пятнистая легковушка. Почему одна подумал Димка, ведь без грузовика с солдатами она станет легкой добычей колхозников. Совсем рядом просвистели пули, и он отметил, что стреляли из леса. Остановился, обернулся, не целясь выстрелил по черной пилотке, мелькнувшей в глубине леса, побежал дальше.

...Он не слишком хорошо соображал, что делал. В нем жила только ярость, но не слепая и пылкая, а холодная и расчетливая. Она, и только она, руководила его поступками. И может быть, потому, что они потеряли привычный здравый «гражданский» смысл, ярость придала им странную, не знакомую доселе логику: спрятаться за кустом, выстрелить, сменить патроны старковского карабина, короткая перебежка и — снова выстрел. Вероятно, так же рождалась логика боя в партизанских отрядах — тогда, в Великую Отечественную. Ведь в отряды эти приходили не кадровые военные, порой такие же мальчишки с «гражданским» здравым смыслом. И смысл этот так же уступал место холодной ярости, ненависти к врагу, а значит — мужеству, бесстрашию, подвигу.

На дороге уже никого не было. Выстрелы раздавались из леса со всех сторон, кроме той, куда уехала легковушка. Она уже, наверно, вышла из зоны экранов — тут метров двести до границы поля, не больше. А что с Олегом, со Старковым? Может быть, это они участвуют в сражении, от которого ушел Димка. Может быть, это их, а не его ищут автоматные очереди эсэсовцев. Он спрятался за ствол дуба, выглянул из-за него. Метрах в двадцати среди мокрой зелени листьев мелькнула черная куртка. Димка выстрелил, перебежал к другому дереву, выстрелил еще раз и вдруг услышал крик за спиной:

— Хальт! Хенде!

Медленно поднял руки вверх — в правой карабин, обернулся.

На него смотрел черномундирный немец, выставив вперед дуло пистолета.

И снова Димка подумал, что ему не страшен ни этот эсэсовец, ни его пистолет. Подумал и удивился: как же это? Ведь эсэсовец — не артист кино, не призрак и пули в его пистолете настоящие — девять граммов свинца...

Димка отвел правую руку назад и с силой швырнул карабин в нациста. Потом сразу пригнулся, прыгнул в сторону, и вдруг что-то ударило его в бок, потом в плечо, обожгло на секунду. Он остановился удивленный, прижал руку к груди, смотрел, как расплывается под пальцами черно-красное пятно, мокрое и липкое. И все кругом стало черно-красным и липким, погасли звук и свет. И Димка уже не услышал ни грохота еще одного выстрела, ни шелеста шагов поблизости, ни монотонного шума дождя, который пропустил сильнее и чаще.

## 11

Председатель с удивлением смотрел на убитого эсэсовца в ненавистном черном мундире, на его нелепо скрюченную руку, сжимавшую черный «вальтер», на ствол своего дробовика, из которого еще вился синий дымок.

А Раф бросился к Димке, тормозил его, что-то кричал и вдруг умолк, с ужасом увидев темное пятно крови на груди и тонкую малиновую струйку, ползущую на подбородок из уголка рта.

— Димка, Димка,— бессмысленно прошептал Раф и заплакал, ничего не видя вокруг себя.

И даже не понял, когда председатель грубо оттолкнул его,— а просто сел на мокрую землю, грязным кулаком размазывая слезы по лицу. А председатель привычно — с сожалением, что пришлось вспомнить эту старую привычку,— наклонился над Димкой, прижал ухо к груди, послушал сосредоточенно и улыбнулся:

— Жив!

Потом рванул штормовку, ковбойку, пропитавшуюся кровью майку. Сказал Рафу:

— Эй, парень, приди в себя. У вас в сторожке бинты есть?

— Какие бинты? — всхлипнул Раф. — Ведь бой идет...

И вдруг осекся: кругом стояла тугая непрозрачная тишина, по которой гулко били частые капли дождя.

— Что же это? — изумленно спросил он, посмотрев туда, где только что лежал труп убитого гитлеровца: трупа не было.

Лишь трава на том месте, где он лежал, еще осталась примятой. И валялся рядом выброшенный председателем использованный ружейный патрон.

— Сбежал, что ли? — спросил Петрович. — Не похоже: я не промазал...

Сзади захрустели кусты. Раф обернулся и вздохнул облегченно: на полянку вышли Старков и Олег. Возбужденные, взволнованные, похожие на стайеров, закончивших многокилометровый пробег нога в ногу, почему-то радостные и, в отличие от стайеров, совсем не усталые. И у того и у другого болтались на груди немецкие автоматы. И тут они увидели Димку на траве и председателя, стоявшего перед ним на коленях.

— Что с ним? — Старков бросился вперед, склонился над раненым.

— Жив-жив, — сказал председатель. — Не суетись. Пусть лучше кто-нибудь добежит до сторожки, бинты возьмет. Или простыню на худой конец...

— У нас есть бинты, — быстро сказал Олег. — Я сейчас сбегаю.

Пока он бежал, Старков с председателем осторожно раздели раненого Димку. Все еще всхлипывающий Раф принес во фляжке воды из ручья, и председатель умело промыл раны. Димка в сознание так и не приходил, только постанывал сквозь зубы, когда председатель бинтовал ему грудь и плечо.

— Хотя рана и не опасная, но парня в больницу надо, — сказал председатель. — И побыстрее. Кто за машиной пойдет?

— А зачем за ней ходить? — откликнулся Олег. — Мы ее рядом оставили. У реки.

— Что оставили? — удивленно спросил председатель.

— Легковушку. Мы ее у фашистов отбили.

Старков с любопытством посмотрел на него. Вообще теперь, когда состояние Димки уже не вызывало особых опасений, Старков мог спокойно размышлять о том новом, что открылось в его ребятах. И пожалуй, Олег «открылся» наиболее неожиданно...

— По-твоему, машина тебя так и ждет? — спросил Старков.

— Ждет, куда денется, — лениво протянул Олег.



Он тоже успокоился, увидев, что Димка жив, и теперь явно наслаждался своим преимуществом: он что-то знал, а Старков — нет. Более того: от его знания что-то зависело — очень важное. Но этим «что-то» была Димкина жизнь, и Олег, не ломаясь по обыкновению, объяснил:

— Я, когда за бинтами бегал, видел ее.

— У реки? — спросил Старков, и Олег понял смысл вопроса, кивнул согласно:

— Точно. Метрах в ста от зоны экранов, — потом кивнул на Димку: — Несите его к дороге, а я машину пригоню.

Легковушка оказалась целехонькой, только верх ее во многих местах был прострелен. Председатель сунул палец в одно из отверстий пониже, спросил Олега:

— В рубашке родился, парень?

— Ага, — хохотнул тот, — в пуленепробиваемой. — И к Рафу: — Садись, плакса, на заднее сиденье — поможешь мне...

Он тронул машину и осторожно повел ее по дороге, стараясь объезжать кочки и рытвины. И, даже выехав из леса, не прибавил скорости: лишние четверть часа не играли для состояния Димки особой роли, а тряска по плохой дороге ощутимее на большой скорости.

— Лихой парень, — сказал председатель. — Такие в войну особо ценились. Так сказать, в первую очередь.

— И гибли тоже в первую очередь, — откликнулся Старков.

— Ну, не скажи: этот умеет осторожничать. Смотри, как раненого повез — не шелохнул.

— Умеет, — подтвердил Старков.

Олег действительно умел. Умел рисковать — на самой грани, на тонком канате, когда спасает только чувство баланса. У Олега было оно — это чувство, и он отлично им пользовался. Как в цирке: канатоходец под куполом качнется в сторону, и публика ахнет, замирая от страха. И не знает дура публика, что все это — только умелый ход, хорошо рассчитанный на то, чтобы она ахнула, чтобы взорвалась аплодисментами — цените маэстро! Он рисковал, этот канатоходец, — еще бы! — но чувство баланса, умение быть осторожным на г р а н и не подводит.

Почти не подводит.

— А куда фашисты подевались? — осторожно спросил

председатель: он, видимо, считал, что ученый имеет право не отвечать на наивные для него вопросы.

Старков так не считал и охотно объяснил:

— Их время кончилось. Какой-то из экранов не выдержал, сгорел, временное поле исчезло, а вместе с ним — и гости из прошлого. Полагаю, что они сейчас находятся в этом же лесу, только в сорок втором году.

— Живые?

— А может, и мертвые, если нарвались на партизан.

— Так мы же и партизанили в этих лесах.

— Не одни мы. Возле этого села могли орудовать и другие.

— Значит, исчезли,— повторил задумчиво председатель.— Назад вернулись. А как же машина?

— Машина вышла из зоны действия поля, поэтому оно и не захватило ее.

Председатель все еще не понимал.

— А если бы они вышли, как ты говоришь, из этой зоны, то и они могли бы остаться?

— Могли бы,— кивнул Старков.— Только мы им помешали.

— Это верно,— согласился председатель.— Правда, по-твоему, по-ученому, я понимать не могу. В голове не укладывается.

Старков усмехнулся:

— У меня тоже не укладывалось.

А если честно, так и сейчас не укладывается. Как в добрых старых романах, проснуться и сказать: «Ах, какой страшный сон!» Но добрые старые романы мирно пылятся на библиотечных полках, а «трофейная» машина с простреленным кузовом везет в райбольницу парня рождения пятидесятых годов, раненного пулей, выпущенной в сорок втором.

— А что ты колхозникам сказал? — спросил он.

— Про банду в старой немецкой форме. Ограбили, мол, где-то трофейный склад. Говорят, есть такой в городе. Для кино.

— И поверили?

— Кто же не поверит? Раз сказал,— значит, так. Доверяют мне люди.

— Так ведь же обнаружится, что банды никакой нет. Разговоры пойдут, милиция встрепетается, а бандитов как ветром сдуло.

— Вот ты и растолкуешь, чтоб зря не болтали. Я на-

род созову, а ты объясняй. Завтра в клубе и соберемся. Я расскажу, почему про банду соврал. Кстати, и не соврал: была банда. Разве не так?

— Так-то оно так,— согласился Старков,— только поймут ли меня?

— А ты попроще, как бывало, помнишь? Ты комиссар, всегда с народом умел разговаривать. Если не забыл, конечно. Милицию тоже позвать придется. Дело такое — не скроешь.

Старков кивнул согласно, пожал руку, пошел не топясь к сторожке: генератор надо выключать, зря электроэнергию не переводить, да ребят подождать,— вспомнил реплику Петровича о милиции. Верно ведь — дело то уголовное по мирному времени. Ну что, подследственный Старков, как оправдываться будем?

А оправдываться придется. За опасный эксперимент. За «отсутствие техники безопасности» — так пишут в инструкциях? За Димку. За Рафа с Олегом. За себя, наконец...

А что за себя оправдываться? Перемудрил, переусердствовал ученый муж. Как там в старом фокусе: наука умеет много гитик. Ох, и много же гитик — не углядишь! За ходом опыта не углядел, за ребятами не углядел. А результат?

Есть и результат — никакая милиция не опровергнет. Его теория доказана экспериментально, блестяще доказана — от этого результата не уйти!

...Старков дошел наконец до сторожки, где по-прежнему гудел генератор. Только самописцы писали ровную линию — на нуле и на нуле же застыла стрелка прибора, показывающего напряженность поля. Напряженность — ноль. Старков выключил ток, посмотрел на индикатор экранов: опять седьмой полетел, никак его Олег не наладит.

Он сел на табуретку, подобрал с полу английский детектив, брошенный Рафом. С пестрой обложки улыбался ему рослый красавец с пистолетом в руке. Старков вспомнил: красавец этот ни разу не задумался перед выстрелом. Стрелял себе направо и налево, перешагивал через трупы, улыбался чарующе. Ни разу в жизни не выстреливший,— наверное, даже из «духовушки»! — Раф почему-то любил это чтиво. И любил с увлечением пересказывать похождения очередного супергероя. Вероятно, психологи назвали бы это комплексом неполноценности:

искать в книгах то, чего нет и не будет в самом себе.

Нет и не будет? Психологи тоже люди, а значит, не застрахованы от ошибок. По существу, Раф должен завидовать Димке или тем более Олегу — их сегодняшним подвигам. А ведь сам он сделал не меньше: его миссия была потруднее лихой перестрелки, затеянной в лесу. Он сумел убедить Петровича собрать и вооружить людей, заставил его поверить в случившееся, хотя оно было невероятней, чем все слышанные когда-то председателем сказки, да еще и вооружился сам, никогда не стрелявший, не знавший даже, как прицелиться или нажать курок. Он знал только, что готовился к бою, к жестокой военной схватке, о которой лишь читал или слышал на школьных уроках. Знал и не остался в деревне вместе с детьми и женщинами, а пошел в бой с дробовиком против «шмайсеров».

Кстати, два из них остались у Старкова с Олегом вместе с «трофейной» машиной из прошлого. Все это придется, конечно, сдать. А жаль. Машина им пригодилась бы, да и Олег уж очень лихо ею управляет.

Лихой парень Олег. Отчаянный и бесшабашный. Старкова почему-то всегда коробила эта бесшабашность. И пожалуй, зря коробила. Радоваться надо было, что не перевелись у нас храбрецы, которыми так гордились в годы войны и которые, если понадобится, повторяют подвиг Матросова и Гастелло. Это в крови у народа — героизм, желание подвига. Так и не думай о том, что твоих студентов в школе этому как следует не учили. Когда политрук подымал взвод или роту в атаку, он не читал солдатам длинных продуманных лекций. Он кричал охрипшим голосом: «Вперед! За Родину!», и люди не ждали других слов, потому что все другие слова были лишними. А подвиг боится лишних слов, отступает перед ними. Подвиг ведь не рассуждение, а действие. Таков и подвиг Олега. Он не знал, что седьмой экран на пределе, что поле, а вместе с ним и гости из прошлого вот-вот исчезнут. Он принял единственно верное решение — совершил почти невозможное.

О своем подвиге Старков и не думал. А ведь если бы экран не сдал, то через какие-нибудь полчаса вернувшиеся ни с чем из-за Кривой балки гитлеровцы повесили бы его на том же суку, под которым он стоял, уверяя, что партизанского штаба в деревне нет. Сейчас он даже не вспомнил бы об этом: какой еще подвиг — просто ожила

где-то спрятанная в душе «военная косточка», которая давалась людям не в семилетке или десятилетке, а прямо на поле боя. Ведь и тебя, Старков, и председателя никто, в сущности, не учил воевать, а просто взяли вы в руки винтовки и пошли на фронт. И здорово воевали — такие же мальчишки, как Димка, Раф и Олег. Так вот и оказалось, Старков, что нет никакой разницы между тобой и твоими студентами: бой показал, что нет ее. Нет стариков и нет мальчишек — есть мужчины. Проверка боем окончена.

Он встал и вышел из сарая. Дождь кончился, и серая муть облаков расплзлась, обнажая блекло-голубое небо. Где-то в лесу знакомо урчал «трофейный автомобиль», и Старков медленно пошел ему навстречу





# ВРЕМЯ ЕГО УЧЕНИКОВ

ПОВЕСТЬ

1

Почему Старков так любил осень? Этот промокший насквозь лес, растерявший за лето все привычные свои звуки, кроме сонного шуршания дождя? Эту хлюпающую под ногами кашу, холодную кашницу из мокрой земли и желтых осенних листьев? Это низкое тяжелое небо, нависшее над деревней, как набухший от воды полог походной палатки?

Пушкинская осень — желтое, багряное, синее, буйное и радостное, спелое, налитое... А Старков почему-то любил

серый цвет, карандашную штриховку предпочитал акварели и маслу.

Раф спросил его как-то:

— Почему все-таки октябрь?

А тогда еще было самое начало сентября, начало занятий в институте, начало преддипломной практики, которая все откладывалась из-за непонятных капризов Старкова.

— Легче спрятать следы, — ответил Старков, походя отшутился, перевел разговор на какие-то институтские темы, а обычно дотошный Раф не стал допытываться.

В конце концов, каждый имеет право на прихоть. Тем более что она — эта непонятная старковская прихоть — никак не мешала делу. На эксперимент Старков положил ровно месяц, а срок практики у них — до конца декабря.

— Все успеете, — говорил Старков, — и отчет об эксперименте оформить, и даже диплом написать. Да и чего его писать? Поделим отчет на четыре части — вот вам по дипломной работе каждому. Да еще какой работе: комиссия рыдать станет...

Он всегда был оптимистом, их Старков, ненавидел нытиков и перестраховщиков, истово верил в успех дела, за которое брался. А разве можно иначе? Тогда и братья не стоят. Так он считал, и, так же, в общем, считали его студенты — Олег, Раф и Димка, которые год назад безоговорочно поверили в идею учителя, проверили ее в лесу на Брянщине, снова вернулись сюда, чтобы установить генератор обратного времени в той же лесничьей заброшенной избушке, смонтировать экраны-отражатели временного поля.

Прошлогодний эксперимент считали неудачным. Поле нащупали, стабилизировали его в километровой зоне экранов, и давно ушедшее время сорок второго военного года возникло в реальном и прочном времени нынешнего дня, их дня — дня веселых и беззаботных студентов семидесятых годов, дня ученого Старкова, лишь твердой памятью своей возвращавшегося в тяжкие дни партизанского комиссара Старкова. Именно здесь, на Брянщине, в партизанском отряде, начинал он свой долгий путь в науку, еще не зная, не ведая, что замкнется этот путь кольцом, вернется к началу — в тот самый сорок второй год, когда постигал он азы великой науки — суворовской «науки побе-

ждать», науки не сдаваться, не отступать перед трудностями.

Стабилизированное поле казалось неуправляемым, и взвод фашистских карателей прожил два с лишним часа в чужом для них времени, до которого на самом деле многие из них не дожили, не дошли, сраженные пулями партизан, быть может, пулями, выпущенными из автомата самим же комиссаром Старковым. Он твердо усвоил свою науку: не отступил, не сдался. Да и ребята его не подвели тогда. Каратели так и не вышли из леса, вернулись в свое время, а Старков со студентами вновь взялся за расчеты, перестроил генератор, провел серию опытов в институтской лаборатории, дождался любимого своего октября, чтобы повторить эксперимент «в лесу прифронтовом», но повторить его на совсем новой основе.

Сейчас они сидели в жарко натопленной избушке — все четверо да еще председатель колхоза, который командовал тем отрядом, где служил комиссар Старков, — сидели вокруг плохо оструганного стола, крытого старенькой клеенкой, а в мутное квадратное оконце бился холодный октябрьский дождь — уже постоянный спутник их не шибко веселых прогулок по Времени.

— Не нравится мне все это, — хмуро сказал председатель, разглядывая полустершийся узор на клеенке.

— Что именно? — спросил Старков.

— Да игры ваши со временем. Прошлый раз себя чуть-чуть не угробили, и деревне опасность была. А сейчас что будет?

Старков не знал, что будет сейчас. То есть о самом эксперименте он знал все, а вот о поведении его участников, которое не предугадать... Он посмотрел на студентов. Раф уставился в окно, что-то высматривал за мутным стеклом, залитым водяными потеками, усиленно делал вид, что разговор его не касается, не прислушивается он к нему. Димка внимательно изучал плакат на стене, подаренный колхозным киномехаником. На плакате всю грустила большеглазая дива, летели желтые осенние листья, прямыми пунктирными линиями был нарисован дождь — ничуть не похожий на тот, настоящий, за окном. И только Олег в упор глядел на Старкова, улыбался, ждал ответа, а может, и знал его, да только не хотел помогать шефу: кому вопросик подкинули, тот и выкручиваться должен, а мы слушаем, поучимся уму-разуму у старших товарищей.

«Хороши помощнички, — обозлился Старков, — жде-



те от меня дипломатических уверток, говоря по-простому — вранья. Черта с два! Не дождетесь!..»

Правда всегда убедительней любого вымысла, считал он. Да и зачем обманывать председателя; пользоваться его, мягко говоря, небогатыми знаниями современной физики? За три с лишним года войны Старков прочно поверил в интуицию своего командира отряда, ставшего теперь председателем колхоза в Брянской области, в его «легкую руку» поверил, в его редкое умение почти точно угадывать зыбкий процент риска в любом важном деле. А дела у партизан были тяжкие, не чета нынешнему, все-таки — экспериментальному.

— Что будет? — раздумчиво протянул он. — Всякое может случиться, Петрович. Но одно скажу точно: никакой опасности для деревни не жди. — И, уже увлекаясь, как обычно, когда речь заходила о его теории, продолжил: — В прошлый раз мы воссоздали в зоне экранов сорок второй год. Сейчас мы поступим наоборот. Временное поле перенесет на тридцать с лишним лет назад наше время, наш день. В прошлый раз мы не сумели справиться с полем, даже не ведали, что может случиться, если просто вырубить генератор. Сегодня мы сможем точно контролировать время переноса, при малейшей опасности отключить установку, прекратить опыт. В прошлый раз мы монтировали экраны-отражатели по кругу с центром в точке действия генератора. Нынче мы выставили экраны по лучам-радиусам сектора, расходящимся от той же точки. Что это даст? Прежде всего, мы не ограничиваем себя хотя бы по одной координате. За пределами линии экранов поле не действует. Но по оси сектора мы растягиваем его действие на многие километры, а практически — бесконечно. Понял?

Председатель усмехнулся.

— Я за этот год, что вы в институте химичили, за физику взялся. Кое-что из институтского курса вспомнил, кое-что новенькое подчитал. — И, заметив иронический взгляд Рафа, который оторвался от своего окна, соизволив так обнаружить интерес к беседе, сказал сердито: — А ты не ехидничай, студент. Я не к защите диссертации готовился, а к разговору с комиссаром, — он так и называл Старкова комиссаром — по старой памяти. — Чтобы не сидеть дурак дураком. Короче говоря, переиграли вы суть опыта: не они к нам, а мы к ним. Так?

— Так, — подтвердил Старков.

— Я тут вчера походил по вашим владениям, на экраны поглядел... Скажи, комиссар, ты их специально на северо-восток ориентировал?

Старков только руками развел: дотошен «батя», поймал комиссара на хитрости.

— Специально, Петрович.

— А кто пойдет?

Вот он — вопрос, которого ждал Старков, ждал и боялся, потому что так и не нашел на него однозначного ответа.

— Не знаю,— честно сказал он.— Давайте решать вместе.

Тут уж Олег не выдержал своего великолепного молчания, взмолился:

— Ой, да не разводите вы здесь «парижских тайн». Что вы там придумали, профессор, выкладывайте.

— Дай-ка я скажу,— вмешался председатель, а Старков кивнул согласно: выкладывай, Петрович, раз аудитория просит.

И только подумал про себя, что обидится на него аудитория, что скрыл он от них свой тайный умысел, дотянул до последнего дня. А почему скрыл? Может быть, потому, что военная память, память о тяжелом сорок втором принадлежала только ему, и не хотел он делиться ею с мальчишками пятидесятых годов, боялся, что упрекут они его в сугубо личном подходе к цели эксперимента? Может быть, и так. Оттого и время выбрал осеннее, и избушку эту лесную. А ведь подход-то не совсем личный. связан он прежде всего с ним самим, с бывшим партизанским комиссаром Старковым и касается лично его, пожалуй, больше, чем кого-либо из присутствующих, ох как касается! Если только прав он в этом втором эксперименте.

— Вы знаете,— говорил председатель,— что в сорок втором году в этих местах действовал наш партизанский отряд. В селе, где сейчас мой колхоз, была базовая явка отряда. Обратили внимание небось: ни одного старого дома в деревне нет, все заново отстроены? Не мудрено: когда каратели совершили набег на нее, они все пожгли, ничего не оставили. Хорошо еще, успели нас свои люди предупредить, жителей мы к себе забрали.

— Всех? — спросил Димка.

Председатель нахмурился:

— Не всех, к сожалению... — Обернулся к Старкову: — Помнишь Стаса Котенко? — И объяснил ребятам: — Ста-

ростой он в деревне был. Вроде бы фашистский ставленник, а на деле — наш колхозник, коммунист, невероятной отваги человек. Мы ему тогда твердили: уходи, Стас, все равно деревня «засвечена». А он: погодим маленько, может, и выкрутимся. Мол, я у гитлеровцев на хорошем счету, кое-какая вера ко мне у них есть. Вот и погодил...

— Убили? — подался вперед Димка.

— Повесили. Как раз в октябре сорок второго. Его и еще пятерых.

— А вы куда смотрели, — голос Димки даже сорвался от возмущения.

Председатель покачал головой:

— Не горячись, парень. Мы не смотрели, мы дрались. Да только мало нас было в то время. Основные силы отряда ушли в район Черноборья на соединение с отрядом Панкратова. А здесь остался обоз и взвод охранения — двадцать девять бойцов во главе вон с ним, — он кивнул на Старкова, помолчал немного, покусал губы — разволновался, вспоминая. — Обоз они потом привели в Черноборье. Да только вместо двадцати девяти бойцов пришли одиннадцать. А пятерых привезли — раненых. Комиссара даже хотели на Большую землю отправить: легкое ему прострелили да две пули из «шмайссера» в ногу застряли. Только разве его отправишь? Уперся и — ни в какую. Залатали потом, нашелся умелец. Не свербит к непогоде?

Старков потер ладонью грудь, улыбнулся:

— Все пули мимо нас, батя.

— Стало быть, не все. Не спасла тебя твоя поговорочка.

— Да разве это пули? Так, пчелки... Жив я, батя, и жить до-олго собираюсь.

— А сперва посмотреть хочешь на себя молодого?

Старков посерьезнел, сел прямо, руки на стол положил — так он лекции в институте начинал читать: минут пять выдержит, посидит смирно, голос ровный-ровный — не повысит, а потом забывает о роли мудрого педагога, вскакивает, ерошит волосы, носится у доски — мальчишка мальчишкой.

— Нет, Петрович, не хочу, — тихо сказал он. — Не имею права.

— Парадокс времени? — усмехнулся председатель. — Слышал, как же.

— Не того парадокса я боюсь, Петрович... Я себя самого боюсь, сегодняшнего, умного да опытного. Физи-

ка Старкова боюсь, кто наверняка не даст комиссару Старкову сделать те ошибки, что были сделаны.

— А почему бы не поправить комиссара? Хотя нет,— председатель вспомнил прочитанное за зиму,— не имеешь права: изменяя прошлое, невольно изменишь будущее.

— Не то, Петрович, недопонял ты, или я не объяснил тебе суть опыта. Мы не путешествуем в прошлое, в то прошлое, которое было у нас. Мы вроде бы создаем его точную модель, копию, матрицу. Не знаю, как это получается, но наш опыт никак не влияет на реальную жизнь. Мы в институте в испытательной камере делали, например, такую штуку. Сажали в камеру белую мышь, фиксировали ее там на определенный отрезок времени, а через сутки восстанавливали в камере этот отрезок, умерщвляли ее, возвращались в свое время — а она жива-живехонька.

— Может, не ту мышь убивали?

— Другой в камере не было. Этот эффект мы проверили сотни раз, он неизменен. Поэтому и предположили, что наша установка дает возможность вернуть не само время, а какую-то его вариацию, точную вариацию. И реальную до мелочей: мышь-то все-таки в нашем опыте погибала.

— А если не мышь? Если человек?

— Это все-таки не наше время, Петрович, вернее, не наша линия времени. Хочешь узнать, что будет, если я вернусь в сорок второй год и, скажем, убью самого себя — молодого?

— Допустим.

— И допускать нечего. Ничего не будет. Сегодняшняя мышь, то есть физик Старков, останется невредимой. Но ты верно заметил о моем путешествии: не имею права. Морального права не имею. Права помешать моему аналогу самостоятельно выбирать дорогу жизни. А скорее, просто боюсь этой встречи...

Председатель растерянно смотрел на Старкова. Видно, не хватало ему знаний по физике, полученных из тех пяти-шести книг, что одолел он за зиму, не мог он представить себе другого времени.

— Где же она будет, встреча эта?

— Не будет ее. А если б и была, то где-то в иной плоскости, где есть свой Старков, свой лес, свой отряд.

— Второй Старков?

— А может, десятый. Двадцатый. Сотый. Кто знает —

сколько их, этих плоскостей времени, линий, как мы их у себя называем?

— И везде одно и то же? Везде война, везде бой, везде повешенный карателями Стас?..

— Не знаю. Вот ребята вернутся — расскажут...

Слово сказано: «Ребята вернутся». Все давно решил Старков: и что именно он останется вести поле, и что именно студенты пойдут в прошлое, в его прошлое. Давно решил, да только не хотел сознаваться в том, потому что жила где-то в глубине души тщетная надежда оправдать для себя свое путешествие в сорок второй год.

Но кем он придет к тому Старкову? Старковым нынешним, «остепененным» ученым с громким именем, с прекрасным и светлым вариантом возможного будущего? Не имеет он на то права, не должен отнимать у молодого комиссара жизненной необходимости пройти свой путь — по ухабам, по рытвинам, но свой, не навязанный кем-то, не подсказанный. Или явиться к нему сторонним советчиком, разумным покровителем и помощником, потому что не сможет нынешний Старков остаться лишь наблюдателем — равнодушным и хладнокровным. Пустая затея. Слишком хорошо он себя знает: и себя сегодняшнего, и себя молодого. Один не устоит, вмешается в жизнь другого, а другой не примет вмешательства, по молодой горячности еще и «шлепнет» физика. Хочется умереть, Старков?

Да не в том дело, господи! Жить хочется, но жить — «как на роду написано», так, кажется, в старину говорилось. А встреча двух Старковых напрочь перевернет «написанное на роду» и одному и второму.

А если все-таки затаиться, ничем не выдать себя, просто быть, просто увидеть, просто почувствовать, не вмешиваться ни во что? Сможешь, Старков? Нет, наверное, не умел он существовать в раковине, даже если эта раковина сделана из самых высоких и гуманных побуждений.

Значит, вывод один: пойдут ребята. Но все ли? Они ведь еще толком не знают, куда пойдут.

— В семи-восьми километрах точно на северо-восток находилась основная база партизанского отряда вплоть до его соединения с панкратовцами, — Старков снова выпрямился, положил руки перед собой, говорил сухо, чуть монотонно — читал лекцию. — Двадцать шестого октября, как вам уже сказал командир отряда, основные силы ушли в Черноборье, где Панкратов готовил крупную операцию. Таков был приказ с Большой земли. В районе

деревни остался обоз и двадцать восемь бойцов с командиром. Предполагалось, что — по выполнении панкратовской операции — отряд вернется к старому месту базировки, потому что партизаны не хотели терять контроль над этим районом, где тем более сохранялась явочная деревня под нашим наблюдением. Мы знали, что в деревню будут отправлены каратели, но считали, что их силы не превысят одного взвода. Однако у гитлеровцев, как оказалось, были сведения о местоположении отряда, и к деревне была выслана мотострелковая рота, усиленная взводом пулеметчиков. Бой, как вы понимаете, был неравным. Может быть, его вообще не следовало принимать...

— Ты что, Старков, — председатель удивленно смотрел на него. — Как это не следовало? Ведь в деревне оставались наши? Что ж, бросить их, по-твоему, следовало, а?

— Мы им ничем не помогли, батя, — тихо сказал Старков, махнул рукой, резко поднялся, отбросив ногой табурет, зашагал по тесной комнатке — три шага от стены к стене. — Что было, то было, нечего ворошить. Давайте решим, кто пойдет на искомую линию Времени. Ну, я слушаю, — он обвел взглядом сидящих за столом.

Олег опять улыбнулся — широко и беззаботно:

— Я пойду, шеф.

— И я, — откликнулся Димка.

Раф аккуратно поправил очки, спросил вежливо:

— Вы справитесь с установкой в одиночестве?

Председатель неожиданно расхохотался:

— Ну, орлы! Ну, герои! Все, видишь ли, пойдут...

А знаете ли вы, соколики, на что рветесь? Там страшно. Там стреляют.

Раф удивленно взглянул на него:

— Мы не вчера из детского сада, уважаемый товарищ председатель. Не надо нас пугать.

— Да чего болтать, — Олег тоже поднялся, подошел к Старкову, встал рядом, обнял его за плечи. — Если вы не против, шеф, все и пойдём. Гоните инструкции.

Старков, честно говоря, и не ждал, что кто-то из них дрейфит, откажется идти. Хотя предлог и был — первый сорт: Старкову одному придется трудновато, установку должны обслуживать как минимум двое. Но он не решился напомнить об этом ребятам. В конце концов, сам справится, не впервой.

И тут подал голос председатель:

- А не тряхнуть ли и мне стариной, а, комиссар?
- Ну уж нет,— сердито сказал Старков.— Будешь мне помогать.
- Да я не умею,— взмолился председатель.
- Научу,— и не сдержался, добавил ехидно:— Ты ж у нас физику решил изучать. Пользуйся случаем, пополняй знания.

## 2

Эксперимент назначили на утро следующего дня. К выходу во Время готовились прочно и основательно. Председатель принес из дому старенькую, стертую на сгибах карту-двухверстку, разложил на клеенке, вооружился линейкой и карандашом.

— Запоминайте маршрут,— сказал он,— карту с собой брать не будете.

— Это почему? — удивился Димка.

Начитанный парень Раф большой знаток детективно-приключенческого жанра покровительственно похлопал его по плечу.

— Когда мы попадем к партизанам, нас, вероятнее всего, обыщут и найдут карту.

— Ну и что?

— Темный ты человек, Димка. Никакого понятия о конспирации. Ну посуди сам, откуда у обыкновенных мальчишек может быть точная карта местности?

— Да еще выпущенная в сорок девятом году,— вставил Олег, внимательно следивший за чертежными манипуляциями председателя. Тот ориентировал карту по компасной стрелке, отметил точкой избушку лесника, высчитал азимут, прочертил по линейке красную линию маршрута.

— Верно,— сообразил Димка.— Четыре года как война кончилась.

— Не только в том дело,— терпеливо объяснял Раф.— Да будь она датирована тридцать девятым годом, все равно ее нельзя брать. Кто нас мог снабдить картой? Партизаны? Значит, необходимо знать все о партизанском движении в здешних местах. Вряд ли наш уважаемый профессор был менее дотошным в то время. Он мгновенно поймает нас на неточности или, что хуже, на незнании обстановки и преспокойно поставит к стенке.

Старков подумал, что Раф вряд ли преувеличивает. Комиссар Старков не стал бы церемониться с подозрительными типами, даже перепроверять их не стал бы: времени не было, фашисты вот-вот подойдут, бой впереди, некогда разбираться. Ну, не к стенке, это уж слишком. А вот повязать голубчиков накрепко, кляп — в рот, сунуть в одну из обозных телег под солому — вполне реально. А эта реальность лишит участников эксперимента свободы действий — и в буквальном смысле, и в переносном.

— Легенда вам нужна, — сказал он, а Раф немедленно откликнулся:

— И не просто достоверная, а вызывающая минимум контрвопросов. Подумайте, профессор, вспомните ваше партизанское прошлое. Кем бы мы могли к вам явиться?

«Допустим, в расчете времени мы не ошиблись, — ду-<sup>1</sup>мал Старков. — Допустим, отряд уже ушел в Чернобырь. Нас — двадцать девять. С нами — десять телег обоза, десять лошадей и, если мне память не изменяет, жеребенок. Допустим, мы еще не знаем, что каратели придут именно сегодня. И сколько их будет — не знаем. Но то, что их следует ждать, известно доподлинно. И мы их ждем: для того и остались. И вот появляются трое парней... Откуда?»

— А может, не стоит им идти в отряд? — подал голос председатель. — Может, затаятся они где-нибудь, посмотрят, послушают и — назад? Ведь ты же их со своей дурацкой подозрительностью сразу за провокаторов примешь.

— Это ты сегодня мою подозрительность называешь дурацкой, — усмехнулся Старков. — А тогда она тебе совсем не мешала.

— Так то тогда... — туманно протянул председатель.

Олег оторвался от карты, на которой красной нитью протянулся семикилометровый путь от избушки до предполагаемой базы отряда, вмешался в разговор:

— Не подозрительность дурацкая, а, простите, весь ваш спор. Я, например, не собираюсь отсиживаться в кустах. Предлагаю версию. Мы пришли из деревни Ивановки, которая в сентябре сорок второго была полностью сожжена гитлеровцами.

— Где это — Ивановка? — спросил Димка.

— В пятидесяти километрах южнее. Теперь там колхоз имени Якова Лескова.

— Нам за двадцать, — сказал Раф. — Резонный вопрос: почему мы не в армии?

— Потому что мы — партизаны из отряда Лескова.



— А на кой черт мы явились сюда?

— Отряд Якова Лескова, базировавшийся около Ивановки, в том же сентябре был полностью уничтожен фашистами. У Лескова было всего пятьдесят четыре бойца, из которых тридцать шесть — костяк отряда — не сумевшие выйти из окружения солдаты пехотного полка. Остальные — колхозники из Ивановки. Отряд просуществовал всего три месяца, не успел выйти на соединение ни с одним крупным партизанским подразделением, был выдан фашистам предателем и разбит наголову в бою под Ивановкой двадцать первого сентября. Яков Лесков — капитан Красной Армии — посмертно награжден орденом Отечественной войны, его именем назван колхоз, — он повернулся к Старкову. — Вы должны были знать о его существовании, но никого из людей Лескова никогда не видели. Точно?

— Точно, — сказал Старков. — Мы знали о них.

Он с удивлением смотрел на Олега. Откуда тот узнал о существовании отряда, о деревне Ивановке, о которой даже многие местные колхозники не слышали: она расположена на территории другого района.

— Откуда сведения? — Раф опередил его вопрос.

— Всяким прогрессом движут интуиция и интерес, — Олег явно упивался неожиданной для друзей ролью знатока военной истории, умной ролью, думал Старков, очень уместной и вызывающей уважение. — Две недели назад, как вы помните, я мотался в город за конденсаторами. Конденсаторы я не достал, но зато полдня просидел в краеведческом музее и теперь кумекаю в партизанском движении в районе не хуже Петровича или шефа. Тогда у меня и сложилась модель легенды, с которой мы пойдем в прошлое.

— Погоди-погоди, — прервал его Старков, — а откуда ты знал мой план? То, что вы пойдете именно в наш отряд и, кстати, в эти же дни? Я каюсь, ничего вам не говорил...

— Впрямую — не говорили. Но примерная дата выхода была известна. О существовании вашего отряда мы еще в прошлом году узнали. Петрович не раз рассказывал о нем. Из того, куда мы ориентируем экран-отражатели, тоже вывод сам собой напрашивается. Идти без легенды, без точного знания обстановки — пустой номер, не на прогулку собираемся. Вот я и решил все продумать заранее. А то на охоту ехать — собак кормить... — все это он

произнес с этакой ленцой в голосе: мол, что поделаешь, приходится объяснять очевидное, предельно ясное, если сами не разбираются.

Он подвинул табурет к стене, прислонился к плакату с грустящей девицей, оглядел слушателей: ну, что еще непонятно?

— А парень-то — хват, — с восхищением протянул председатель.

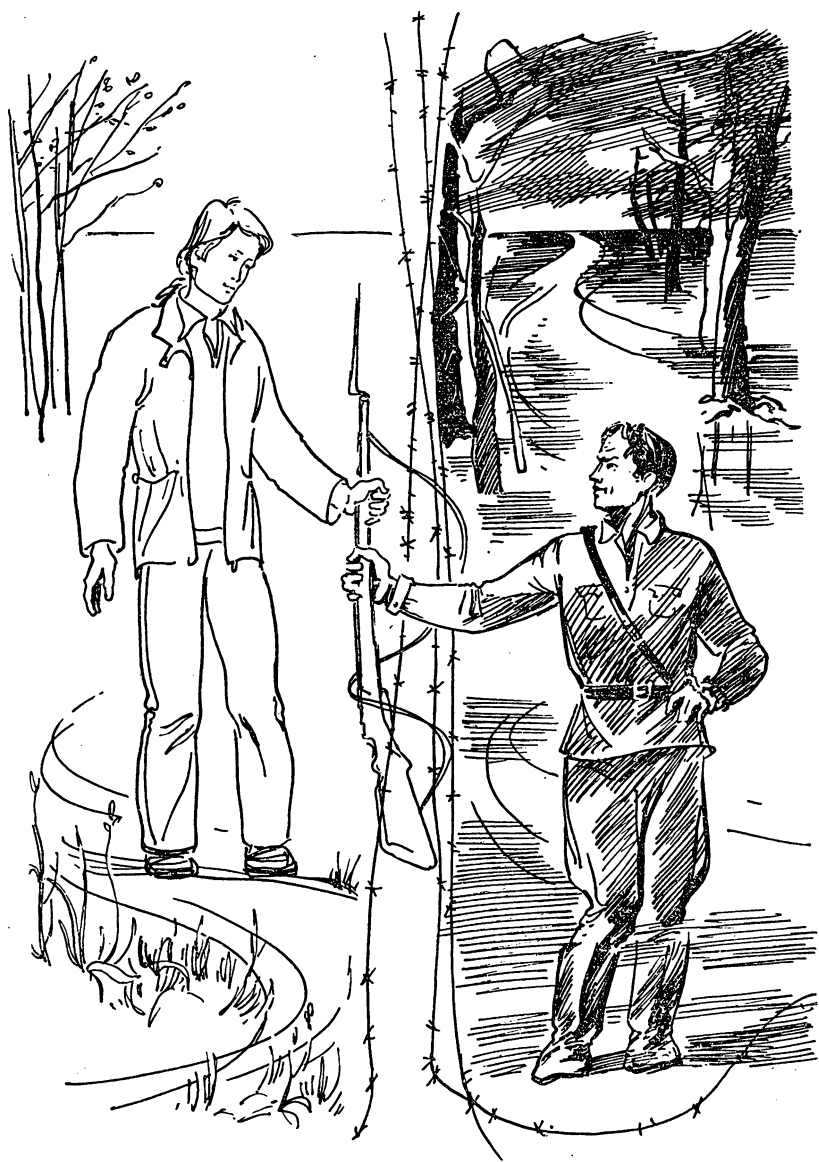
— Хват — не то слово, — сказал Старков.

Ему казалось, что он прекрасно знает своих студентов, их непростые характеры, их привычки, их интересы. С известной самоуверенностью он даже пытался прогнозировать поведение каждого в ситуациях, которые сам же устраивал им — в институтской лаборатории, на экзамене, даже в домашней обстановке. И почти никогда не ошибался в прогнозах, может — самую малость, какую и в расчет принимать не стоит. Выходит, обманывал ты сам себя, комиссар, спешил с выводами. Раф, мол, умница, теоретик с хорошим будущим, спокойный, даже несколько медлительный, рассудок у него преобладает над чувствами. Димка — погорячее, вспыльчивый, неусидчивый, легко увлекающийся и легко меняющий свои увлечения. А Олег... Олег посложнее, это и прошлогодняя проверка боем показала отлично. Его поступки труднее предугадать, и все-таки ты пытался это делать, и вроде бы получалось. Но получалось-то в простых случаях, не требующих, выражаясь языком математики, дополнительных вводных — на том же экзамене или в лаборатории. Придумал ты себе схемы, Старков, и хочешь втиснуть в их тесные каркасы живые и совсем не стандартные характеры. Опять-таки возвращаясь к математическим терминам: характеры, не поддающиеся алгоритмированию. Да и разве возможно построить модель человеческого характера, даже самого бесхитростного? Нет, конечно! Всегда она будет беднее и однозначнее живого аналога. Плохой из тебя комиссар, Старков, просто никудышный. Самоуверен ты и толстокож. А может, на пенсию тебе пора, на покой, цветочки на даче разводить, а с людьми только за обеденным столом встречаться, где застольные условности вполне позволяют несложный прогноз несложного поведения соседей?

— А может, мне на пенсию пора? — Старков и не заметил, как спросил это вслух.

Олег засмеялся:

— Время жить и время самобичеваться. У нас сейчас



время жить, профессор, а самобичеваться потом будем, если причины найдутся. Пока их нет и не предвидится. Все хорошо, прекрасная маркиза. Давайте-ка лучше разберемся в нашей легенде. Я спрашиваю, вы отвечаете, все хором и каждый соло. Идет?

— Идет,— хором откликнулись Раф и Димка. Они охотно приняли игру, предложенную Олегом, ничуть пока не сомневаясь в том, что это все же игра.

И трудно было упрекнуть их в легкомыслии, потому что не могли, не умели они представить себе жестокую реальность, в которую их поведет эксперимент. В конце концов, это — та же лаборатория, та же испытательная камера, но перенесенная в осенний холодный лес, бесконечно раздвинувшая свои прозрачные стенки. И они — хозяйева положения, экспериментаторы, а белая мышь в камере по-прежнему жива и здорова и лопает крошки хлеба с ладони. И все хорошо, прекрасная маркиза, все расчудесно.

— У меня сомнение,— сказал Олег.— Кем лучше быть: коренными жителями Ивановки или окруженцами?

— Лучше окруженцами,— сказал Димка.— Кто-то из отряда Петровича мог бывать в Ивановке, знать ее жителей.

— Согласен. Значит, все мы — москвичи, московские студенты, ушедшие в действующую армию и ставшие впоследствии бойцами отряда Лескова. Подробности об отряде никто у Старкова не знал, так что здесь мы можем дать волю фантазии — в умеренных пределах, конечно.

— Если станут спрашивать,— добавил Димка.

Председатель хмыкнул, взглянул на Старкова, а тот ответил незамедлительно:

— Станут-станут. Или вы меня не знаете?

Они его знали отлично. И, что хуже, он сам себя знал, и характер свой дотошный и подозрительный, и неумение отвлечься от главного дела, вдумчиво разобраться в том, что именно отвлекло. А главным делом для него тогда была деревня. И каратели, которых ждали со дня на день. И обоз, который необходимо сохранить, довести до Черноборья. А трое сомнительного вида партизан — лесковцев, трое сопляков, так не вовремя подвернувшихся на пути, как раз отвлекающий момент. И может, не разбираться в нем, не взвешивать их показания на аптекарских весах? Сгодятся и хозяйственные, где увесистая гиря замечательной комиссарской бдительности все перевесит.

...Ах, Старков, Старков, куда ты посылаешь своих ребят, не обученных лгать хитро и правдиво, даже когда речь пойдет об их собственной жизни? Не знают они ей цену, не лежали они часами в засадах, не ждали ежеминутно выстрелов в спину, не знали, что лес этот, тусклый осенний лес, чертовски опасен — и для врагов, и для своих. Они пойдут по нему, как ходили всегда — легко и беззаботно, не ожидая ни взрыва мины на тропе, ни внезапной автоматной очереди из мокрых кустов орешника, ни даже окрика: «Стой!», когда надо именно стать, и поднять руки, если в упор на тебя смотрит черное дуло «шмайссера», и говорить что-то, и ждать момента, чтобы выбить этот «шмайссер» из рук врага, успеть поймать его на лету, бросить на землю тренированное страхом и мужеством тело и стрелять, стрелять. Впрочем, это они умеют, особенно Олег...

— Мы вас знаем, — сказал Олег, — и сделаем небольшую скидку на ваш нераздумывающий комиссарский возраст. Не беспокойтесь, комиссар, все пули мимо нас

Если бы так! Если бы верна была глупая старковская поговорочка...

— Ладно, — решил он, — бог не выдаст, как говорится. Давайте отрабатывать подробности.

Пока Старков «гонял» Олега и Рафа по карте, заставлял их по многу раз мысленно проходить завтрашним маршрутом, рассказывал о возможных партизанских постах и дозорах, описывал бойцов, которые остались тогда с ним, председатель с Димкой отправились в деревню за экипировкой. Они вернулись часа через два, нагруженные потрепанными телогрейками, стоптанными кирзовыми сапогами и прочими принадлежностями возможного партизанского туалета. Решили, что Димкина выцветшая ковбойка в дело сгодится, как и грубошерстный свитер Рафа, а Олегу председатель выдал собственную гимнастерку, штопаную-перештопаную, с темными следами споротых погон.

Олег осмотрел ее и отложил в сторону.

— В чем дело? — обиделся председатель. — Не понравилась?

— Не годится, — отрезал Олег. — Какие, к черту, погоны в сорок втором году?

— Ах, беда какая! — перепугался председатель. — Старый дурак. Ну а ты, паренек, прирожденный разведчик.

Что ж, начало хорошее, думал Старков. Олег внимателен и собран, вкус предстоящего приключения не за-

глушает в нем осторожности. Заметил следы погон, знает, что в сорок втором офицерские знаки различия носились в петлицах.

— Тогда хоть рубаху возьми,— председатель рылся в куче добра, собранного в его доме и в доме соседа.— Хорошая рубаха, неподозрительная.

Полосатую темно-синюю рубаху Олег одобрил, как одобрил и старые диагоналевые брюки, и солдатские галифе, и невесть как сохранившуюся довоенную кепочку с пуговицей на макушке. Вооружившись бритвой, оглядел всю одежду, спорол фабричные метки, отодрал у сапог куски подкладки, на которой обнаружились чернильные артикулы, отругал председателя за то, что притащил новую простыню — на портянки.

— Мы же не одни сутки в пути. Откуда у нас портянки девственной чистоты? В своих пойдем.

Он только ненадолго забыл о своей серьезности, когда началась примерка обмундирования, хохотал вместе с ребятами над длинным очкариком Рафом, у которого председателевы брюки мешком висели на тощем заду, потом отобрал у него кожаный ремешок, сходил в подсобку, вынес оттуда моток веревки, отрезал на глаз кусок.

— Веревочкой подпояшешься. Так похоже будет: свои порты не сохранил, пока из окружения шли, а эти в деревне достал — уж какие были.

Старков вспоминал своих бойцов, думал, что Олег подсознательно держится верной линии. В самом деле, какую одежду они носили в те годы? Своя рвалась и снашивалась, а магазины — увы! — не работали, вот и перебивались чем попало, даже — чего греха таить — с мертвых снимали. Он смотрел на студентов: в общем, ничем особенным они не отличались от тогдашних своих ровесников. Разве что волосы подлиннее — так ведь лес это, ни парикмахерских тебе, даже бани порой не было. За минувший месяц лица их обветрились, руки огрубели от монтажной работы — ссадины на них взбугрились коричневой коркой.

— О вещмешках подумайте,— напомнил председатель.— Что понесете?

В вещмешки уложили помятые солдатские кружки, откопанные хозяйственным Димкой в председательском сарае, в сундуке, пару обмылков, опасную бритву с обломанной ручкой — одну на троих, каждому — по смене стиранных портянок, еще какие-то мелочи, которые могли

сохраниться у солдата, крупную соль в тетрадном листке, сахарный песок в чистой тряпиче.

— А как быть с документами? — спросил Раф.

И снова Олег опередил ответ Старкова и не ошибся.

— Какие документы? Свой комсомольский билет возьмешь? Когда тебя принимали в комсомол? В шестьдесят восьмом? Нет, старик, документы свои мы зарыли в землю, когда выходили из окружения. Где зарыли — запомнили. А вообще чего мы ждем? Ну-ка, вернитесь, комиссар, в сорок второй год. Перед вами — три подозрительных типа, которые называют себя лесковцами. Допрашивайте.

Старков усмехнулся: стоит попробовать. Он представил себе землянку в один накат, тусклый язычок коптилки, колченогий стол, на котором — почти такая же карта, как здесь. Он сидит на низком топчане, с трудом пытается побороть сонливость: двое суток не спал, вымотался. Перед ним — трое парней в драных ватниках, усталые, осунувшиеся от долгого перехода лица.

— Кто такие? — спросил он и сам удивился и резкому тону своему и внезапно охрипшему голосу — как после бессонницы и махры-глоткодерки. И председатель взглянул на него с удивлением, будто услышал что-то знакомое, давно забытое, наглухо забитое в черном провале прошлого.

— Солдаты мы, — быстро ответил Олег. — Вас искали, — улыбнулся счастливо, переступил с ноги на ногу — сесть никто не предложил, сказал вроде бы облегченно: — Вот и нашли...

И покатился допрос по накатанным рельсам, и, похоже, не было ошибок в ответах студентов, хотя отвечал чаще Олег, в котором и Раф и Димка молчаливо признали командира.

— Лады, — сказал наконец Старков, хлопнул ладонями по столу. — Давайте ужинать и спать. Утро вечера не дряннее. Подъем в шесть ноль-ноль. — И к председателю: — Не проспи, Петрович.

### 3

Утром Олег отказался завтракать и ребятам запретил.

— Мы в отряд должны оголодавшими прийти. Какая в дороге жратва? Вода да хлеб, если пожалеет кто из

деревенских. А то нальют нам в вашем отряде похлебки, а мы морду воротить станем. Куда это годится?

Бриться тоже не стали, оделись тщательно, выстроились позади Старкова, севшего у генератора.

Старков щелкнул тумблером автонастройки поля, стрелка на индикаторе напряженности качнулась и поползла вправо.

— Есть поле,— скучным голосом сказал Раф.

Стрелка прочно встала на красной черте.

— Ну, с богом, как говорится.— Старков встал и повернулся к ребятам: — Как связь?

Олег вытащил из кармана пластмассовую коробочку дублера-индикатора. С его помощью в зоне действия временного поля можно было передать сигнал на пульт. Дежурный — сегодня им оставался Старков — принимал сигнал и вырубал питание. Поле в этом случае исчезало, и участники эксперимента благополучно возвращались в свое время. Олег нажал кнопку на дублере, посмотрел на пульт. Там зажглась красная лампочка: сигнал принят.

— В порядке.

— Вы это...— председатель почему-то стал заикаться: от волнения, что ли? — не тащите ее в отряд, коробочку вашу. Схороните где-нибудь, а то найдут...

— Знаем,— отмахнулся Олег, спрятал дублер в карман, вскинул на плечо легонький вещмешок: — Тронулись,— и пошел к двери, не оборачиваясь. Ребята за ним, только Раф чутко задержался на пороге, сказал:

— Не волнуйтесь, товарищи. Все будет тип-топ.

Потом, когда они отошли от избушки метров за сто, еще раз оглянувшись, увидел: Старков и председатель стояли у открытой двери, смотрели им вслед. Раф помахал рукой на прощанье, вытер лицо рукавом телогрейки, пошлепал вслед за Олегом и Димкой, уже нырнувшими в мокрые заросли орешника. Ему было почему-то жаль Старкова, а почему — не знал. Да и анализировать, копаться в себе, в жалости своей не хотелось. Не до того было. Они шли по лесу, под ногами хлюпала насквозь пропитанная водой земля, осенняя земля сорок второго года. Где-то далеко отсюда шли бои, фашисты вышли к Волге. Окна старого арбатского дома, где с детства жил Раф и где он еще не успел родиться, были заклеены крест-накрест белыми полосками бумаги. Мать Рафа ушла на дежурство в свою больницу. Отец... Где был отец в это время? Наверно, уже под Сталинградом, командовал взводом. Они еще не по-



знакомились с матерью, это произойдет много позже, после победы, когда отец вернется в Москву, снова поступит на третий курс мединститута, откуда он ушел на фронт в июне сорок первого года. И было ему тогда всего двадцать. Господи, да Раф, выходит, старше его!

Раф усмехнулся этой внезапной догадке.

«Кому из нас труднее, отец? Тебе — потому что ты сейчас в самом пекле войны, и впереди у тебя Сталинград и Курская дуга, потом Варшава, а потом Будапешт, и не знаешь ты ничего ни о своем будущем, ни о маме, ни обо мне? Или все-таки мне — потому что это не мое время, я чужой в нем, меня просто-напросто нет на свете? Выходит, не чужой. И это мой лес, и моя война, и я тоже не знаю, что впереди будет...»

Олег, обогнавший их, вдруг остановился, огляделся.

— Километра два осталось. Давайте-ка здесь и сховаем дублер. Место знакомое, приметное, — он вытащил коробочку, положил ее в заранее приготовленный полиэтиленовый пакет, сел на корточки, начал копать под раздвоенной березой землю подаренной председателем финкой с пестрой наборной рукояткой.

— Не рано ли? — осторожно спросил Раф. — Если что случится, два километра пилить придется.

— А что случится?

— Мало ли... — пожал плечами Раф.

— Вот что, парни... — Олег бережно опустил в ямку пакет с дублером, сгреб на него мокрую землю, набросал листьев, выпрямился, отряхивая руки. — Мы должны вернуться через двенадцать часов. Это максимальный обусловленный срок, когда шеф вырубит поле. Раньше я возвращаться не намерен. Что бы ни случилось. Есть возражения?

У Рафа, пожалуй, были возражения. Он не любил рисковать вслепую, просто не умел, не приходилось ему рисковать в его короткой двадцатидвухлетней жизни. Он готовился стать физиком-теоретиком, да и был им уже — по духу, по призванию, и твердо знал, что всякий эксперимент, тем более опасный, необходимо продумывать до мелочей, предусматривать любые случайности, рассчитывать их и даже планировать наперед. Но то, на что они шли, уже вышло за рамки самого необычного эксперимента. То была жизнь, а жизнь наперед не считаешь. И он не стал возражать Олегу. Сейчас они — партизаны, и впереди — встреча с людьми, которым, может быть, завтра

предстоит бой, тяжелый бой, последний. Стыдно знать о том и трусливо держаться за спасительную коробку дублера: вы, мол, сами по себе, а мы ни при чем, у нас другие задачи. Другие? Нет, Раф, не хитри сам с собой: одни у вас задачи, одни цели. Хотя бы на полсуток. Прав Олег.

И Раф сказал:

— Какие могут быть возражения?

И Димка молча кивнул. А Олег улыбнулся широко и радостно, — видно, все-таки ждал возражений! — ухватил друзей в медвежьи объятия, стукнул лбами:

— Молодцы, гаврики. Их там двадцать девять, как шеф рассказывал, да нас трое. Уже тридцать два. И кое-что мы умеем. Так почему бы не использовать это «кое-что»?

Он отпустил ребят и снова пошел вперед, уже осторожнее, посматривая внимательно по сторонам, приглядываясь к каждому дереву, к любому кусту. Сколько раз они здесь ходили? Десятки. И был тот же дождь, и те же продрогшие деревья, и, казалось, ничего в мире не изменилось с тех пор, как Старков включил генератор. Раф даже начал подумывать, что не сработало поле, хотя сам многократно проверял настройку, а себе он верил, внимательности своей верил, скрупулезной точности. Но они шли дальше, и ничего не происходило, никто не высказывал на тропу, не пугал автоматом, не кричал сакраментальное: «Стой! Кто идет?» Раф совсем успокоился, что-то насвистывать стал, но Олег оборвал его:

— Тише! Не дома...

И вовремя.

Они продрались сквозь кусты, в который раз осыпавшие их холодной дождевой водой, выбрались на поляну и замерли. Перед ними стояли три человека — один тоже в телогрейке, в ушанке не по сезону, другой — в выгоревшей плащ-палатке, третий — в шинели со споротыми петлицами. Три автомата наперевес, три черных стальных зрачка. Недружелюбные колючие взгляды.

— Ну-ка, ручки... — один из людей качнул автоматом, и Олег медленно поднял руки вверх. Раф и Димка сделали то же. — Проверь их, Севка.

Небритый Севка перебросил автомат на спину, бесцеремонно ощупал карманы, провел по груди, по бедрам ладонями, отобрал вещмешки, по очереди развязал их, заглянул в каждый.

— Вроде пустые, — сказал он, по-волжски окая.

— Куда путь держите? — спросил первый, тот, что в плащ-палатке, не отводя, однако, дуло автомата.

— За грибами,— зло сказал Олег.— Погода, понимаешь, грибная.

Севка хлопнул себя по бокам, захохотал тоненько.

— Масляток им захотелось. Есть маслятки,— вернул автомат на грудь, взял наизготовку.— Только не по вкусу будут, больно горькие масляточки-то.

— Не паясничай,— оборвал его первый.— Возьми их вещмешки. Отведем к комиссару, пусть сам разбирается. Грибники, так вашу...— выругался, сплюнул.— А ну, живей! Рук не опускать.

Партизан в шинели пошел впереди, оглядываясь поминутно, а первый с Севкой шли сзади, подталкивали автоматами в спину, и Раф невольно ускорял шаги, потому что был твердо уверен: эти выстрелят, особенно весельчак Севка, который явно не привык раздумывать, предпочитал действовать с налету и преспокойно расстрелял бы пришельцев, если бы не приказ первого. Раф вспомнил: Старков рассказывал о Севке, называл его лихим и бесшабашным парнем, прекрасным боевиком. Он, кажется, из Брянска, детдомовец. А первый — Торопов, так, помнится? Учитель географии. А третий, в шинели? Кто его знает... Может, его Старков и не называл, не вспомнил.

Так они прошли минут пять — молча, с поднятыми руками. Руки с непривычки затекли, Раф попытался украдкой пошевелить ими, но Севка сильно ткнул его автоматом:

— Не балуй.

— Руки устали,— тихо сказал Раф.

— Отдохнешь еще, коли дадут. Недолго осталось.

Осталось и вправду недолго. На огромной лесной поляне стояли телеги, крытые рваным брезентом, поодаль, привязанные к длинной слеге, прибитой к двум елям, теснились лошади — шесть или восемь, Раф не успел сосчитать. Из землянки навстречу им вышел партизан в матросском бушлате, увидел неожиданную процессию, остановился:

— Тю, Севка шпионов поймал.

— Где комиссар? — спросил его Торопов.

— У себя.

Торопов нырнул в низкий вход в землянку, пробыл там с полминуты, выглянул:

— Давай их сюда. Матвей, постой у входа.

Матвей опустил автомат, поднял воротник шинели,

спрятал в него лицо. Севка подтолкнул Олега, пробурчал:

— Пошевеливайтесь. Комиссар ждет.

Нагнув головы, они спустились по земляным ступеням в сырой полумрак землянки. Раф остановился у порога, огляделся. Черные бревна стен, низкий потолок, стол, на столе — коптилка, невысокое желтое пламя качнулось в латунном снаряжном патроне. За столом на топчане — двое. Раф пригляделся. Один — Торопов. Он снял плащ-палатку, остался в цивильном бобриковом пальто, какое, видно, носил еще до войны. Второй — бородатый, в расстегнутой гимнастерке. Жарко ему, видите ли. Комиссар?

— Кто такие? — хрипло спросил комиссар, и Раф вздрогнул.

Ждал он этого, все знал, и все-таки странно было услышать в холодной, почти нереальной песенной землянке голос Старкова. Значит, это был именно Старков — неузнаваемый, даже не помолодевший, а какой-то иной, незнакомый. Борода его, пожалуй, старила, но и изменяла начисто. Если бы не голос, Раф ни за что не узнал бы его.

— Кто такие? — повторил комиссар, и Олег быстро ответил:

— Солдаты мы. Вас искали, — улыбнулся, переступил с ноги на ногу, сказал облегченно: — Вот и нашли...

— Какие солдаты? Откуда?

— Из отряда Якова Лескова. Слыхали?

— О Лескове слыхал. А к нам зачем?

Олег закусил губу.

— Трое нас осталось, — глухо, сквозь зубы.

— Как это?

— Проще некуда, — в голосе Олега была злость: и на комиссара, задававшего неумные и ненужные вопросы, и на судьбу свою, заставившую пережить гибель отряда. — Нет больше Лескова. Убит капитан. И все убиты! — выкрикнул, даже голос сорвался.

— Ну-ну, — Старков стукнул кулаком по столу, патрон подпрыгнул, пламя мигнуло, закачалось. — Без истерик! Что с отрядом?

— Нет отряда. Выдала какая-то сволочь. Четвертого дня нас окружили у Ивановки, караул сняли, брали спящих, как куропаток. Нас-то и было всего ничего: полсотни бойцов. Все полегли. А мы вот живы...

— Та-ак, — протянул Старков. — Жаль Лескова. Да только не надо ему было самодеятельностью заниматься.

Соединился бы с нами. Или с Панкратовым. Полсотни бойцов — не сила.

— А что сила? Армия сила? Вам легко говорить, вы небось давно партизанили. А мы с Лесковым из окружения шли — не выбрались. Застрали в Ивановке, колхозники к нам присоединились — так хоть воевать начали, а не драпать. Знаете, что значит для нас — бить врага? Дорвались мы, понимаете? Дождались. Капитан выходил на соединение к вам, да вот не успел. Говорил: еще одна операция и — баста. За три месяца — сколько операций, не сосчитаешь. Аэродромные склады, железнодорожная ветка, четыре взвода карателей. Это как запой...

— Допились...

Олег резко шагнул вперед, схватился за стол, закаменело лицо в свете коптилки, ходили желваки по щекам.

— Слушай, комиссар, или кто ты есть, ты Лескова не суди. Он со своим делом справлялся. Знаешь поговорку: о мертвых или хорошо, или...

— Или. Встань на место! А то тебя Севка пристрелит ненароком. А дело свое Лесков не доделал. На войне погибнуть легче всего. Ты выжить попробуй. Да не на печке схорониться, а на передовой.

— Так нет здесь передовой.

— Есть. Везде, где бой, там и передовая. Ты мне лучше скажи, почему тебя не убили, орел лихой? Сумел выжить?

— Уйти сумел.

— А оружие где потерял?

— Патронов не было. Да и что за оружие — один «шмайссер» на троих. Закопали его по дороге.

— Кто будете?

— Я же говорю: солдаты. Москвичи. Из роты капитана. С самого начала с ним были.

— Москвичи? Студенты или рабочие?

— Студенты. Третий курс физфака.

— Ты смотри: земляки, выходит. А я тоже хотел в МГУ на физфак поступить, да война помешала. Ничего, наверстаю...

Раф смотрел на Старкова и удивлялся: совсем, оказывается, молодой парень казался много старше лет своих, и совсем не потому, что борода прибавляла годы. Рассуждал он как взрослый, опытный, много проживший человек. Война его состарила, оборвала юность, заставила стать не по возрасту мудрым. В конце концов, комиссаром его

выбрали не за молодость, а, скорее, вопреки ей. Потому что именно вопреки ей он и повзрослел не по годам. Все они — мальчишки, ушедшие на фронт со школьной скамьи, сразу перескочили из детства в зрелость, не ждали ее, не звали — она сама к ним пришла. И Раф, и Олег, и Димка уже года на два, на три постарше Старкова. Но на сколько лет он обогнал их? Как считать — год войны за три? за пять? Кто из них смог бы стать комиссаром пусть маленького, в тридцать человек, но все же самостоятельного воинского подразделения? Может быть, только Олег...

Раф и не подозревал в Олеге таких способностей. Честное слово, перед комиссаром стоял не студент физфака, а именно партизан, солдат, усталый от долгого бессонного похода в тылу врага, ожесточенный гибелью товарищей, обозленный недоверием партизан. И Рафу вдруг показалось, что Олег не играет роль, а живет в ней: действительно устал он, ожесточен, обозлен. И все эти чувства не поддельны, не придуманы — выношены и пережиты. Хотя, вероятно, это только казалось Рафу. Просто хорошо развитое воображение, прекрасная память, которую принято называть эйдетической, да плюс желание выглядеть достоверно помогали Олегу в его игре. Все-таки в игре. А нынче получается мистика, фантазмагория какая-то, в которую рациональный реалист Раф никак поверить не мог.

— Документы у вас есть? — спросил Старков, размягченный довоенными воспоминаниями, мечтой своей, пока не осуществленной.

Олег зло усмехнулся.

— Может, тебе паспорт показать? У самого-то документы имеются?

— Имеются, — прищурился Старков. Он снова стал комиссаром, бдительным и строгим.

— А у нас нет. Зарыли мы их, когда из окружения топали.

— Говоришь, солдаты вы? Не из саперов ли?

— Пехота.

— А мне показалось — саперы. Землю копать любите. То оружие зароете, то документы.

— Знаешь, комиссар, — Олег даже рукой с досады махнул, и опять запрыгало в патроне пламя, тени на бревнах пошли в пляс, придавая всей сцене некий мистический колорит, так противный Рафу, — если не веришь, прикажи твоему Севке вывести нас под дождик и шлеп-

нуть по очереди. Тем более что у него такое желание на лице написано.

Старков засмеялся. И Торопов растянул тонкие губы в улыбке. И Севка у стены хохотнул баском. Почему-то смешной сочли они досадливую обреченность Олега.

— Шлепнуть — дело нехитрое, — лениво сказал Старков. — Это успеется. Никуда вы отсюда не денетесь, да и Севка за вами присмотрит. Как, Севка?

— Можно, — подтвердил Севка.

— Вот и посмотри. А там поглядим, что вы за солдаты-партизаны такие... Есть хотите?

Раф вспомнил, что они так и не позавтракали, проглотил слюну и сделал это достаточно громко, потому что Старков опять засмеялся.

— Разносолов не обещаю, а каши дадим. Отведи-ка их, Севка, к Макарычу. И глаз не спускай.

— Будет сделано, — гаркнул Севка, приказал: — Давай пошевеливайся, гвардия, — впрочем, вполне миролюбиво приказал.

#### 4

Каша была с дымом, с горьковатым запахом костра, закопченного котелка, обыкновенная солдатская «кирзуха», необычайно вкусная каша. Они сидели на поваленном березовом стволе, обжигались мисками, дули на ложки, уписывали кашу пополам с дождем.

— Хлебца у нас нема, извиняйте, — сказал Макарыч.

Он сидел напротив, на полешке-кругляше, выложил на колени тяжелые руки, склонил по-птичьи голову набок, смотрел жалостливо. Что ему были подозрения комиссара или мрачный взгляд бравого Севки! Он был поваром — по профессии или по партизанской необходимости — и видел перед собой только голодных парней, здоровых ребят, которым не каша нужна, а добрый кус мяса и горбуха с маслом и солью, а ничего такого предложить не мог и мучился оттого.

Городской житель, привередливый гурман Димка в жизни не едал такой странной каши, отвернулся бы от нее в обычное время, брезгливо поморщился бы, а сейчас — ничего, ел — похваливал, поскреб алюминиевой ложкой по миске, спросил вежливо:

— Добавки не найдется?

— Как не найдется,— засуетился Макарыч, вскочил со своего полешка, отобрал миску, скрылся в землянке, вынес оттуда полную.— Кушайте на здоровьечко.

«Хорошо, что не завтракали,— подумал Димка, уплетая добавку,— хоть голодные по-настоящему...»

А что понарошку? Да все вокруг, считал Димка. И лес этот, и землянки — партизанские декорации, и толстый добряк Макарыч, и даже герой удалец Севка — все выделось элементами какой-то странной, но чертовски интересной игры. И бородач Старков — ждал Димка — сейчас выйдет из своей землянки, отклент фальшивую бороду, улыбнется знакомо, скажет: «Как я вас разыграл? А вы поверили, остолопы».

Вот он и вправду вышел, не застегнув гимнастерку, лишь набросив на плечи короткую шинель, придерживал ее полы руками. Подошел к студентам. Олег встал, вслед за ним поднялись Раф с Димкой, стояли навытяжку, держали миски у пояса, как кивера гусары.

— Садитесь,— кивнул Старков.— Кто из вас в радио разбирается?

Это тоже было из области игры: вопрос Старкова, который мог с закрытыми глазами починить любой радиоприемник или магнитофон, даже в заводскую схему не заглядывал.

— Все, наверно,— пожал плечами Димка.

— Пойдем со мной,— он повернулся и пошел к себе, не оборачиваясь, уверенный, что приказ будет выполнен, иначе и думать не стоит.

Димка быстро отдал Макарычу миску с недоеденной кашей, побежал за комиссаром, оглянулся на бегу. Олег смотрел ему вслед, сузил глаза щелками, сжал губы, будто напоминал, не подведи, Дмитрий, не сорвись. Жалел он сейчас, ох как жалел, что не может пойти вместе с Димкой, проконтролировать его действия, а еще лучше — заменить его. Нет, это выглядело бы слишком намеренным, и он остался сидеть на березке, неторопливо зачерпывал кашу, смаковал вроде, на комиссарскую землянку больше и не взглянул.

«Вот и отлично,— с каким-то злорадством подумал Димка.— Тоже командир нашелся. Все сам и сам. А мы — малышки на подхвате. Фигушки вам...»

На столе рядом с коптилкой стояла маленькая походная радиостанция с гибкой коленчатой антенной, ротная рация, очень похожая на те, что Димка изучал в ин-



ститутском кабинете радиодела. Только те были поновее, здорово модифицированные, но принцип-то, в общем, не изменился за три десятилетия. А в конструкции хорошему физику грешно не разобратся.

— Что стряслось? — спросил хороший физик Димка.

— Трешит, — как-то виновато сказал Старков, и опять Димка поймал себя на мысли, что притворяется он умело, правдиво, даже талантливо, но притворяется — он, Старков, для которого такую рацию починить ничего не стоит, раз плюнуть. Но нет, не притворялся комиссар, пока не умел он чинить рации. Все это придет потом, позже, а сейчас Димка знал в тысячу раз больше него.

— Ножичек дайте, — сказал он и тут же мысленно похвалил себя, что не отвертку попросил — ножичек. Действительно, откуда в лесу отвертку взяться? Да и забыл Димка, прочно забыл о ее существовании за полтора года войны, службы в пехоте, боев в партизанском отряде, где именно нож стал для него главным и, порой, единственным техническим инструментом.

Он взял протянутый Старковым складной нож, быстро отвернул заднюю крышку. Так и есть: примитив, ламповая схема на уровне средневековья. А пыли-то, пыли!

— Без пылесоса не обойтись, — машинально произнес он и ужаснулся, сообразив: Старков еще не мог знать, что такое пылесос. Или знал? Разве удивишь, когда у нас появились всякие там «Ракеты» и «Вихри»... Подняв веки, внезапно отяжелевшие, глянул на комиссара, тот улыбался.

— Хорошая, должно быть, штука. Пы-ле-сос, — смакуя слова, по слогам произнес он. — Кончится война, наладим производство, будет тогда чем радиоприемники чистить.

Эта нехитрая шутка почему-то развеселила Димку, он засмеялся, уткнув нос в несвежие внутренности рации, подумал, что далеко еще, ох далеко юному комиссару Старкову до мудрого и остроумного профессора Старкова. Это поначалу он показался им взрослым и опытным. А на деле — мальчишка, который и видеть-то ничего не видел, и кругозор неширок, и знания небогаты. Все это придет, но потом, позже, и удивит он ученый мир своей теорией обратного времени, а пока до физического факультета — почти три года войны.

Димка копался в рации, изредка поглядывал на Старкова. Тот сидел на углу топчана, что-то писал в потрепанную тетрадь огрызком карандаша. Димка знал, что он пишет. Шеф как-то говорил им, что в годы войны самым близким собеседником для него был дневник. Начал он его вести как раз в отряде, таскал в вещмешке «сквозь боевые бури», как он сам выражался, прикрывая смущение высокопарной фразой. А чего смущаться? Был бы Димка поусидчивее, тоже вел бы дневник. Хотя о чем ему писать? Как сессию сдавал? Как в Карелию в турпоход ездил? Как жег спину на сочинском пляже? Скукота, обыденность! А по старковским запискам какой-нибудь историк вполне мог бы диссертацию сочинить. Олег вон предлагал шефу отнести дневники в журнал — в «Смену», или в «Юность», или в «Новый мир», а то в «Знамя». С руками оторвут. А шеф смеялся: рано, дескать, мемуары публиковать, еще пожить не успел, главного не сделал.

Димка не вытерпел, поднял голову:

— Дневник ведете?

— Вроде того,— Старков отложил блокнот, посмотрел удивленно.— Как ты догадался?

Догадался... Сказать бы ему, что не догадался вовсе, а знал точно. Как он на то среагирует? Нет, Димка, держи язык за зубами, бери пример с Олега, с великого конспиратора — под статью прославленному Штирлицу, не трепись попусту — не в университете сидишь. Это все-таки Старков, самый что ни на есть настоящий, и не делай скидок на его молодость, на неопытность в общении с изворотливыми студиями семидесятых годов. Характер-то у него старковский. Честно говоря, не сахар — характерец, пальца в рот не клади.

— Глаз у вас был какой-то нездешний,— сказал Димка.— С таким глазом ни приказы, ни листовки не сочиняют. Вот письмо если? Письма еще такого глаза требуют...

Сказал он так в шутку, а Старков помрачнел, насутился:

— Некуда мне письма писать. Мать перед войной умерла, а отца я не помню.

И это знал Димка, рассказывал им Старков о своем детстве, о матери, не дожившей до июня сорок первого всего двух месяцев, об отце, убитом кулаками в суровые годы коллективизации. Знал, да не вспомнил, ляпнул

бестактно. Правильно Раф говорит, что язык у Димки на полкорпуса любую мысль опережает.

— Извини, друг,— пробормотал Димка, даже не заметил, что обратился к Старкову на «ты». Как-то само собой вырвалось, но и выглядело это естественно, потому что война всегда нивелирует возраст. Да и чего здесь было нивелировать, если разница в годах между ними — года три всего, никакая это не разница, даже война тут ни при чем.

— Чего там...— протянул Старков и вдруг спросил: — Ты своих товарищей давно знаешь?

— Давно,— сказал Димка.— Учились вместе.

— И этого здорового? Как его?..

— Олег. С ним тоже с первого курса.

— А потом?

Правда кончилась. Начиналось зыбкое болото легенды.

— Что потом? Военкомат. Фронт. Окружение. Отряд,— он повторял придуманные Олегом этапы их биографии, повторял с неохотой не потому, что боялся выдать себя незнанием, неточностью какой-нибудь, а потому что не хотелось ему врать Старкову. Честно говоря, идея эксперимента была Димке не очень-то по душе. С какой радостью сейчас он рассказал бы комиссару, об университете, о студенческих турнирах КВН, о Старкове бы рассказал — каким он станет через тридцать с лихом лет, о его теории, о председателе, который в одном «сегодня» увел отряд в неведомое Чернобырье, а в другом — сидит в лесниковой избухе, мается, наверно, неизвестностью, клянет шефа почем зря: на кой черт отправил сосунков под фашистские пули.

А сосунки тоже маются от той же неизвестности, и, может быть, только супермен Олег ждет этих пуль, надеется, что удастся ему проявить себя в настоящем деле, в мужском занятии. А физика, видите ли, не настоящее дело. Там, видите ли, никакого риска не наблюдается. Так и шел бы в военное училище, куда-нибудь в десантники, рисковал бы себе на здоровье и отечеству на пользу. Хотя он и в физике умудрился найти самую рискованную тропку, помог ему Старков со своим генератором...

Димка поймал себя на том, что не совмещает он в собственном представлении Старкова-партизана и Старкова-ученого. Не может он себе представить, что это

есть один и тот же человек. И не хочет представить. Воображения не хватает, сказал бы Олег. Да не в воображении суть, мил человек Олеженька, воображения у Димки хоть отбавляй. А суть в том, что разные они люди — партизан и ученый. Фамилия у них одна, верно. И биографии сходятся. Даже отпечатки пальцев совпадают — линия в линию. Так что же, возраст мешает, пресловутые тридцать лет? Мешает возраст, спору нет. Но, главное, — и Димка был твердо в том уверен, — характеры у них неодинаковые. Партизан Старков казался мягче, спокойнее, не виделась в нем нервная ожесточенность Старкова-физика, сильного человека, фанатика найденной им идеи.

Сейчас Димка ощущал некое превосходство над комиссаром, которое ни на миг не появлялось в отношениях с профессором. Профессор для Димки был богом, добрым и всемогущим богом из древнегреческой мифологии, где, как известно, боги прекрасно уживались с простыми смертными, делали подчас одно дело, но все же оставались богами — малопонятными и прекрасными. Димка ничуть не стеснялся своего преклонения перед профессором, даже гордился этим чувством, выставлял его на показ. А комиссар был ровней ему — никакой не бог. Димка удивлялся, за что партизаны выбрали комиссаром Старкова. Не Торопова, например, который и постарше был, и опытнее, а именно Старкова — в его щенячьи девятнадцать лет.

Удивляться-то Димка удивлялся, но предполагать мог: за характер и выбрали. Как раз за тот самый старковский характер, которого не мог пока углядеть в комиссаре Димка. И сила, и фанатизм в добром смысле слова, и ожесточенность, и воля, и решительность — все, вероятно, было у комиссара. Просто качества эти проявлялись в деле. В том деле, каким занимался Старков, какому был предан до конца.

Димка знал физика. А перед ним в полутемной землянке сидел партизан, боец, которого Димка впервые видел. И с делом его знаком не был. Но никакой мистики не существует, Димка, и партизан и ученый — один и тот же человек, пусть сей факт и не укладывается в твоём сознании. А ты бы смог представить комиссаром твоего Старкова? Димка усмехнулся: да он и так комиссар, чье слово — закон для студента. То-то и оно...

Но неразумные чувства противились строгой и точ-

ной логике. Димка аккуратно зачищал ножом контакты у лампы, поглядывал на Старкова, видел все того же парня, ровесника, которого и борода не спасала, и завидовал ему смертельно. «Ты ужасно легкомысленный», — говорила Димке мама. «Трепло ты великое», — осуждал его Раф, беззлобно, впрочем, осуждал, не без симпатии. А сам Старков подводил итог: «Быть бы тебе великим ученым, если бы не твоя несобранность».

Все они были собранные, серьезные, деловые. А Димка — нет. И он завидовал сейчас мальчишке Старкову, потому что все-таки тот стал комиссаром, проявив все вышеперечисленные распрекрасные качества, которые Димка в нем не желал признавать.

— Ну, вот и все. — Димка привинтил крышку, повернул тумблер. Рация запищала, пошел грозовой фон. — Работает.

— Спасибо, — сказал Старков, протянул руку.

Пожатие было сильным, Димка поморщился, украдкой потер ладонь.

— Я пойду?

— Валяй. — Старков уже не смотрел на него, уселся перед рацией, прижал к уху эбонитовую чашку наушника, крутил ручку настройки.

Димка стал лишним. Ну что ж, он мальчик воспитанный, мешать не станет. Поднялся по земляным ступенькам, вдохнул холодный воздух, сощурился.

«Дождик-дождик, перестань, — закрутилась в голове детская считалочка, — мы поедем... Куда? Далеко не уедешь: вон Севка с автоматом сидит. А что, если остаться?..»

А что, если остаться здесь, со Старковым, пройти с ним до конца войны, до Победы, поступить на физфак в МГУ, разработать вместе теорию обратного времени? Дурацкая мысль, подумал Димка. Как останешься, когда в Москве — привычная жизнь, мама, девчонки, диплом на носу. И главное, через полсуток Старков из будущего вырубит поле, и Старков из прошлого канет в прошлое. Без Димки. Вздор, вздор, будь реалистом, Дмитрий, не распускай слюны.

Он медленно пошел к землянке Макарыча. Сам Макарыч азартно резался в дурака с Олегом, с размаху шлепал на расстеленную прямо на земле плащ-палатку засаленные рваные картишки. Олег курил козью ножку — как свернуть сумел? — явно выигрывал. Севка с лю-

бопытством наблюдал за игрой. Рафа не было: видно, в землянку залез. Димка подошел, сел тихонечко на бревно. Он уже не ощущал того пьянящего азарта, с которым начал путешествие во времени. Неизвестно, почему пришла тоска — холодная и тусклая, как этот день.

— А где все? — спросил он у Севки.

— Кто?

— Ну партизаны.

Севка смотрел на него с подозрением, недружелюбно.

— Где надо, там и располагаются, — мрачно сказал он.

— Дурак ты, Севка, — в сердцах ругнулся Димка. — С бдительностью перебарщиваешь. Кому я доносить пойду?

— Кто тебя знает? — хитренько улыбаясь, протянул Севка. — А за дурака можно и схлопотать.

— От тебя, что ли?

— А чем я плох? — Севка встал.

Димка тоже вскочил, но Олег, не глядя, поймал его за руку, потянул на место.

— Сядь, — приказал он, именно приказал, бросил карты на брезент. — И ты уймись, — это уже Севке. — Сейчас только драки не хватало. Своих бить будем?

— Знать бы, что своих, — буркнул Севка, однако сел, поставил автомат между ног, оперся подбородком о дуло.

— Придет время — убедишься.

Олег явно надеялся на то, что время это придет и что докажет он глупому Севке всю бессмысленность его подозрений. А впрочем, плевать ему было на Севку и на подозрения его плевать. Он просто ждал боя. Боя, ради которого он пошел сюда.

И дождался.

## 5

Где-то совсем рядом послышался топот копыт. Макарыч поднял голову, прислушался. Севка снова встал, взял автомат наизготовку.

— Рытов, что ли? — спросил он.

— Кто же еще? — сердито сказал Макарыч. — Видать, стряслось что. Ишь — гонит. Весь лес переполошил.

На поляну влетел всадник, осадил коня, прыгнул на землю, побежал к землянке Старкова.

— Чего там, Рытов? — окликнул его Севка.

А Рытов только рукой махнул, нырнул в землянку. Брошенный им конь зафыркал, затряс головой, пошел к коновязи. Привязанные к слеге лошади заволновались, переступали с ноги на ногу, дергали поводья.

Из землянки выбежал Старков, Рытов — за ним.

— Севка, — крикнул Старков, — подымай людей! Немцы!

Он спустился в соседнюю землянку, а из леса уже бежали люди — по двое, с разных сторон, с автоматами, с карабинами, кто-то даже с дробовиком.

«Вот и началось», — облегченно подумал Олег.

Да, он ждал боя — Димка не ошибся. Этим боем он и жил последний месяц, ездил в райцентр, сидел в музее, корпел над архивными папками, над запыленными папками с казенными титулами «Дело №...», хранившими пожелтевшие документы — письма, копии наградных листов, приказы, листовки, писанные от руки воспоминания, писанные корявым почерком, с ошибками и описками, писанные людьми, для кого автомат и граната были много привычнее авторучки или карандаша.

Что он хотел от этого — пока предполагаемого — боя? Славы? Но перед кем? Перед бойцами отряда, которые проживут с Олегом только полсуток, мимолетные двенадцать часов, забудут его напрочь и славу его лихую и зыбкую забудут — те, кто выживет. Нет, не славы он искал, не гнался за ней, а если и мечтал о славе, то не о военной. Он был физиком, настоящим физиком — вопреки сомнениям Димки, и слава талантливого ученого привлекала его значительно больше любой другой мирской славы. Если, впрочем, привлекала. Так мог подумать кто угодно — Димка, Старков, приятели по факультету, не он. Сам он не слишком часто вспоминал о ней.

И не самоутверждения хотел он. Уж чего-чего, а всякими там комплексами Олег не страдал. Что умел — то умел, а умел немало. А коли не получалось что-то, знаний не хватало или опыта, то не мучился от бессилия, не страдал, не опускал рук, а раз за разом повторял это «что-то», пока не говорил себе: могу! И — точка. А комплексы — для слюнтяев и лодырей. Как там у классика: талант — это терпение. Внесем поправку: и терпение тоже. Потому что — как считал Олег — талант суть сумма качеств, данных природой и скорректированных лич-

ностью. Итак он был личностью, а личность не нуждается в самоутверждении.

И остается предположить единственное: бой, которого Олег ждал с великим нетерпением, был ему нужен... просто так. Как этап в биографии, какого могло и не быть — семидесятые годы на дворе! — но раз случился, то мимо пройти нельзя. Риск — вот что любил Олег. Ту самую зыбкую грань, за которой — неизвестность, а значит — опасность. Опасность провала, просчета, неудачи. Опасность для жизни, наконец. Но зато победа в обстоятельствах, не подвластных прогнозам, — вдвойне, втройне сладка. А если ты ее рассчитал — свою победу, — запрограммировал, заранее выстроил, то цена ей невелика. Скучно. Книжный человек Раф цитировал как-то стих о «езде в неизвестное». Так себе стишок, рукоделье на подушке. Но запомнилась Олегу одна строка: «Не каждый приедет туда, в неизвестное». Верно, не каждый. А Олег приедет. Должен приехать. Ради этого стоит жить. Он и к Старкову пошел, потому что вся его теория обратного времени — езда в неизвестное. Старков — это сила, считал Олег. И если не молился на него, как восторженный Димка, то уважал его безоглядно. Как и должен уважать талантливый ученик талантливого учителя. Старков тоже любил риск. В конце концов, вся его жизнь была — риском. Начиная с сорок первого военного года, когда он мальчишкой пришел в партизанский отряд. Тем самым бородатым мальчишкой, который сейчас собрал на поляне невеликий личный состав отряда. В отличие от Димки, Олег не делил Старкова пополам: на партизана и физика. Олег чуждался подсознательных эмоций, обуревавших приятеля, и относился к комиссару с той же ученической почтительностью, как и к профессору. Что ему было до молодости комиссара! Он твердо верил: зелень узнают не по возрасту, а по цвету. Он и на собственный возраст скидок не делал.

...Они втроем по-прежнему сидели на мокром бревне, смотрели на неровный разномастный строй бойцов на поляне, прислушивались к тому, что говорил Старков. Слышно было плохо: комиссар говорил тихо-тихо и слова его гасли в монотонном шуршании дождя.

— ...обойдется... на рожон не лезть... предупредить... — даже не целые фразы, а отдельные слова доносились до землянки Макарыча.

Олег сам складывал из них предложения. Получа-



лось так: все обойдется, не стоит лезть на рожон, необходимо предупредить жителей деревни. Что ж, если Олег верно понял Старкова, тот не рвался первым вступать в бой, выбрал политику выжидания. Верное решение. Сил у отряда мало, главная задача — сохранить обоз и помочь деревне. Если гитлеровцы не собираются идти к ней, пройдут мимо, то и бог с ними. Другое дело, если это — те самые каратели, которые существовали в действительном — не моделированном — сорок втором году. Олег спрашивал Старкова о точном дне сражения. Тот не помнил даты. Не мудрено: в те дни о календаре некогда было вспоминать. Но все события, все грустные перипетии сражения Олег — со слов Старкова — знал наизубок. И все могло повториться — как тогда. Дополнительным фактором было присутствие здесь их самих — гостей из будущего. Тем самым дополнительным фактором, который перечеркивал всю запрограммированность событий, столь ненавистную Олегу. И хотя Старков строго-настрого приказал им ни во что не вмешиваться, Олег скептически отнесся к приказу. Что ж, по-вашему, сидеть сложа руки, с холодным любопытством наблюдать за тем, как убивают людей, не помочь им? Ну нет, фигушки!

Олег встал — нарочито лениво, медленно пошел к комиссару. Тот уже закончил инструктаж, и партизаны разошлись. Пятеро из них, забрав автоматы, ушли в лес, — видимо, на разведку. Остальные разбрелись по полюю, томясь ожиданием, собирались малыми группками, курили, с любопытством поглядывали на незнакомцев. Кто-то — заметил Олег — уже подошел к Рафу с Димкой, сел рядом, завел разговор.

— Что случилось, комиссар? — спросил Олег Старкова. — Может, поделишься всеведением?

— Отчего бы нет? — Старков будто впервые видел Олега, осматривал его с головы до ног, изучал, что-то прикидывал в уме. — Наша разведка обнаружила фашистов километрах в четырех отсюда.

— Много ли?

— Девять человек в пешей цепи. Идут осторожно, высматривают. Похоже — дозор.

— А основные силы?

Старков пожал плечами.

— Не видно. Где-то позади. Гитлеровцы не рискуют ходить по лесу малым числом.

— Вас ищут?  
— Сдается, что так и есть.  
— Они знают о вашем местоположении?  
— Точно — вряд ли. Ориентировочно — наверняка.  
— Примешь бой, комиссар?  
— Не хотелось бы... Сколько их там? А нас — три десятка.

— Плюс три единицы.  
— Себя считаешь?  
— А ты не считаешь?  
— С устным счетом не в ладах.  
— Не приbedняйся, комиссар. Не до красивых слов, а скажу: рассчитывай на нас. Да и сами мы прохладиться не станем. Приставишь Севку, скрутим его и — в бой. Ты проверить нас хотел, комиссар? Так вот она, проверка, куда точнее.

Олег напрягся, видел, что Старков готов отступить: три лишних человека ох как не помешают.

— Не дрейфь, комиссар. Ты нас всегда кокнуть успеешь, сжели не по-твоему будет.

— Вы без оружия, — отступал Старков, — а у нас лишнего нет.

— А бой на что? Добудем.

— Ладно, посмотрим, — вроде бы сдался Старков. — Будете при мне.

— Есть! — гаркнул Олег, даже Раф с Димкой услышали, глянули на него: что он там задумал?

— Ждите команды, — сказал Старков, пошел к землянке, куда уже скрылся Торопов.

Да только не сдавался Старков, Олег сие понимал прекрасно. Сыграл этакую неуверенность, мучительные колебания, а на самом деле все давно решил. Бессмысленно оставлять пришельцев под чьим-то присмотром, даже под самым строжайшим глазом. Бой и вправду — лучшая проверка. Если друг, его помощь пригодится. А враг — так в бою партизанская пуля достанет.

Олег уселся на бревно рядом с друзьями, сказал им:

— Уломал комиссара.

— Поверил? — спросил Раф.

— Поверить не поверил, а проверить решил.

— Бой всех проверит, — сказал партизан, сидевший напротив. Это он давеча прискакал на поляну с вестью о немцах.

Парень лет девятнадцати-двадцати, черный, цыгани-

стый, даже с медной серьгой в ухе буравил Олега взглядом, а глаза тоже черные, непрозрачные, колющие глаза. Улыбался в сто зубов.

— Дело говоришь,— поддакнул ему Олег.— Звать как?

— Василием нарекли. А по фамилии — Рытов.

— Сам-то откуда?

— Степь мне матушка. Эх, и приволье там!.. А тут точки тесно, душно... — он передернулся.

Что-то наигранным было в его поведении, искусственное. И голос с надрывом, с ноткой истерики, и банальщина насчет степи-матушки, и мимика третьесортного актера из провинции, и серьга в ухе. Олег сказал зло:

— Не задохнешься в лесу?

— Терплю, из сил выбиваюсь. А ты, громила, не шути шутики с Васенькой, обжечься можно.

— Ладно, поберегусь,— отмахнулся Олег, подумал: что-то все здесь на ссору набиваются. И рыжий Севка, и Васенька этот, лицедей липовый.

Севка — тот хоть естественный, вся его задиристость — от молодости да глупости, от избытка сил молодецких. А этот — хитер, себе на уме. Старков ничего не говорил о нем. Может, забыл? Он всех и не назвал, не вспомнил. Мудрено ли: сколько времени утекло! Да и остались тогда с обозом под началом Старкова люди случайные. Не сам он их выбирал из двухсот с лишним бойцов отряда Петровича. А сродниться не успел: и пяти дней вместе не прожили. Так что на многих самим придется характеристики составлять и Старкову подсказывать. На Рытова, к примеру...

— Карабинчик бы сюда,— мечтательно протянул Димка, представил, видать, старковский карабин, зажмурился.

— А что ж это вы безоружными по лесу шастаете? — съехидничал Рытов.— Аль посеяли где?

— Тебя не спросили,— огрызнулся Димка, которому надоел цыган со своими прибаутками.

И снова Олег вмешался:

— Не только по лесу шли, в деревни заходили. С оружием опасно. Зарыли мы его.

Не хотел он ссор и скандалов, избегал их, сторонился — не к месту они, не ко времени. В другой раз не стал бы церемониться с подначиком, показал бы ему

пару приемов самбо, а сейчас не стоило. И не потому, что любая грызня или — не дай бог! — драка осложнила бы их пребывание в отряде. Не это главное, хотя и это со счетов сбрасывать не годится. Олег понимал, что любое происшествие внутри отряда может лишить его сплоченности, организованности, взорвать и без того напряженную атмосферу. Тут искры малой достаточно. Да еще накануне боя! Нет, лучше смолчать, смириться, пусть цыган задирается, еще зачтется ему.

— А оружие мы достанем, — успокоил Димку Олег. — У немцев автоматы неплохие, хотя и не сравнить их со шпагинскими. Кучности нет, а убойная сила — не придерешься.

— Может, без стрельбы обойдемся? — спросил Раф.

Ах, как не хотелось ему стрелять, тяготила его предстоящая схватка, никогда не любил он ни драк, ни боев, даже фильмы про войну не смотрел.

— Будем надеяться, — сказал Олег.

И Рытов не вмешался, не вякнул чего-нибудь про трусость, потому что сам понимал опасность, чувствовал ее. Не для себя опасность — для отряда, для трех десятков не шибко вооруженных людей, для вовсе безоружных и беззащитных жителей деревни.

— Давно партизанишь? — миролюбиво спросил Олег.

Рытов сощурился, грязной ладонью потер грудь под растянутым воротом рубахи. Блеснула под пальцами тонкая цепочка.

— Третий месяц на исходе.

— А раньше?

— Бродяжил по тылам у фашистских гадов. Сыпал им солюшку на хвост.

— И много насыпал?

— Курочка по зернышку... Где дом подожгу, где черепушку камнем прошибу, где вещички «помою»...

— Цепочку тоже «помыл»?

Рытов помрачнел, запахнул ворот, зажал его в кулаке.

— Не суй нос куда не след. Материна цепочка.

— А мать где?

— Нету матери... — он отвернулся. Видно было, как натянулась кожа на скулах, заплесали желваки. Проговорил глухо: — Убили ее. Год с того прошел. Она шла, никого не трогала, а они на машине, мимо, полоснули очередь... Просто так, от нечего делать. Я ее у дороги

и похоронил... — Он повернул к Олегу искаженное яростью лицо: — Знаешь, как я их ненавижу?

— Знаю, — сказал Олег.

Он смотрел на Рытова и думал, что ошибся, вероятно, в парне. Вся его опереточная «цыганистость» — только поза, не слишком убедительная игра во взрослого, много повидавшего человека, за которой — изломанная войной судьба мальчишки, кутенка, чижа, потерявшего мать, бездомного, вечно голодного, ожесточенного, злого.

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать стукнуло...

Девятнадцатилетний комиссар, девятнадцатилетний боец. Война не смотрит в метрики, не отдает предпочтения мудрости и опыту, не разбирает — где отцы, а где дети. Она берет за шиворот вчерашнего школьника, швыряет в водоворот событий — плыви. И надо плыть, надо выплыть, не сдаться, преодолеть свою беспомощность, неумелость, слабость. И придет мудрость и опытность, потому что руководит таким мальчишкой всемогущее чувство ненависти, которую по справедливости назвали святой. Именно оно руководило мальчишкой Кошевым и мальчишкой Матросовым, мальчишкой Гастелло и всем юным Ваней Солнцевым, чьи имена еще неизвестны их ровесникам, сражающимся на фронте, в подполье, в партизанских отрядах. Чувство ненависти и чувство любви. Любви к Родине, к матери, к дому своему. Ненависти к врагам, посягнувшим на эту любовь.

Девятнадцать лет... Честно говоря, Олег дал бы Рытову побольше — года на три-четыре.

— Погибнуть не страшно? Ты же не жил еще...

Тот зыркнул глазом, будто ожег.

— Погибать не собираюсь. Еще поплясать охота, на гитаре струны поласкать. Да чтоб под конем степь простыней стлалась.

Опять театр. «Ромен» или оперетта? Да пусть играет — нет в том худа. Как там в песне: «Не хочется думать о смерти, поверь мне, в семнадцать мальчишеских лет». В эти годы и вправду петля хочется, танцевать, любить. А он не допел, не долюбил — не успел, не научился. Успеет?

Где-то вдалеке раздалась короткая автоматная очередь, словно рванули полотно, пополам разорвали. Василий вскочил.

— Наши?

Смолк автомат, и снова пришла тишина — напряженная тишина ожидания. Из леса вышли двое партизан, высланных Старковым в дозор. Старков пошел им навстречу, перекинулся парой слов, обернулся:

— Отряд в ружье!

Быстро и бесшумно выстроились в короткую колонну, потекли в мокрый лес. Димка, Раф и Олег пристроились в хвост. Случайно или нет — сзади них шли Торопов с Севкой, шли замыкающими.

## 6

— Что он хочет делать? — спросил Димка Олега.

— Кто? — не понял Олег.

— Наш милый шеф.

Привычное определение и здесь не стало натянутым: Старков оставался их шефом, только в новой — партизанской — ипостаси.

— Полагаю, уводит людей.

— Куда?

— Не куда, а откуда. От немцев уводит.

— А деревню, значит, побоку?

Олег пожал плечами:

— Не думаю. Непохоже это на Старкова.

— Ты бы спросил...

— Считаешь, что он мне скажет? — огрызнулся Олег, но все-таки вышел из строя, стал пробираться вперед, к Старкову.

— Эй, куда? — взволновался Севка.

— По ягоды, — бросил Олег, не оборачиваясь.

Севка рванулся за ним, но Раф поймал его за рукав.

— Да не суетись ты! К комиссару он...

Севка выдернул рукав, вернулся в строй, шел позади, что-то ворчал под нос — недоволен был самостоятельностью Олега.

Олег догнал Старкова, пристроился рядом.

— Может, поделишься планами, комиссар?

Старков шел, втянув голову в поднятый воротник шинели, смотрел на мокрые, обшарпанные носы своих сапог, помалкивал. Олег не повторил вопроса, ждал.

— Какие там планы... — Старков по-прежнему не поднимал лица. — Поживем — увидим.

Темнит комиссар, не хочет делиться с посторонним военной тайной. Да какой тайной? Через полчаса-час все тайны станут явью — и для своих и для посторонних. Что задумал Старков? Олег мог предположить, что комиссар пошел на какой-то отвлекающий маневр, хотел отвести гитлеровцев от деревни, принять их удар на себя. А если не деревня — цель карательного отряда? Если эта цель — сама партизанская база? Все это можно было бы решить точно, если знать численность атакующих. Для деревни хватило бы и взвода. Для базы необходима рота, если не больше.

— Увидеть-то мы увидим, — сказал Олег. — Боюсь, как бы поздно не было. Не надо играть в прятки, комиссар, не в школьном дворе войну организуем. Ум хорошо, а вечно умнее.

Старков хмыкнул, оторвался от изучения собственных сапог.

— А я на отсутствие умов не жалуюсь. Вон у меня их сколько, — кивнул назад, где неторопливо тянулась колонна отряда.

— Со всеми посоветовался?

— С кем надо.

— Может, и я пригожусь?

— Попробуй.

— Фашистов много?

— Хватает. На каждого из нас по трое выйдет.

Олег присвистнул.

— Ого! Выходит, рота!

— Выходит. Три бронетранспортера.

— Автоматчики?

— Если бы только! Еще и пулеметов пять стволов.

— Сдается мне, что не в деревню они направляются.

— Вот-вот. Их наш отряд интересуется.

— Видимо, весь отряд, а не твой взвод охраны.

— Верно.

— И они не знают, что отряда нет.

— Логично мыслишь, товарищ, — не без издевки сказал Старков. — А я добавлю к твоей логике: тот, кто навел на нас фашистов, не знал, что отряд ушел к Черному бору.

— Подозреваешь кого?

— Тебя вот подозреваю. Ты тоже не знал об этом.

Олег засмеялся. Искренне засмеялся, без натянутой улыбки. Его забавлял и этот разговор, и сердитая недовер-

чивость Старкова, хотя он и понимал его, прекрасно понимал, сам на его месте точно так же подозревал бы чужака.

— Ладно, комиссар, допустим: я — шпион. Тогда на кой черт мне идти в лес, рисковать, нарываться на твою пулю, если за мной — рота со взводом пулеметчиков. А я — вот он весь да еще с двумя «провокаторами». Какой смысл в том, а, комиссар?

— Смысла особого нет, — осторожно сказал Старков.

— То-то и оно. Хочешь совет? Наплюй на свои подозрения. Оставь людей здесь: место вроде подходящее, густое место, не три десятка — три сотни укроешь. А мы с тобой да еще с учителем или с Рытовым прогуляемся до немцев. Поглядим, куда они намылились.

Старков оглянулся. Люди шли один за другим — почти вплотную, без уставных интервалов, шли молча: слишком велико было напряжение. «Два наихудших занятия: ждать и догонять», — вспомнил Олег. А тут не просто ждешь — ждешь опасность, может быть смерть. Куда хуже!

Старков поднял руку. Колонна остановилась. Партизаны подтягивались к своему комиссару, вытирали мокрые лица — рукавами телогреек, пальто, шинелей, просто ладонями, ждали.

— Передохнем малость, — сказал Старков. — Не курить, громко не разговаривать, оружие из рук не выпускать. Старший — Рытов. Мы с ним, — указал на Олега, — пойдем на разведку. Петр Сергеевич, — это к Торопову, — пойдете с нами.

Олег поймал Димкин взгляд, в котором — удивление, нетерпение, обида. Кивнул легонько, едва заметно пожал плечами: мол, не я так решил, потерпите ребята.

— Немцы — километрах в трех отсюда, — негромко произнес Рытов, глядя куда-то вбок.

Ему не хотелось оставаться старшим в группе, бездействовать, выжидать. Он не понимал, почему комиссар предпочел взять в разведку не его — аса, опытного бойца, а неизвестного сомнительного парня. Сомнительного во всем: и возник неведь откуда, и кто такой — неясно, и каков в бою — никто не знает.

Но Старков не собирался давать объяснения по этому поводу. Он просто сунул руки в карманы и пошел, не оборачиваясь, даже не усомнившись в том, что его приказ может быть нарушен. И Олег подхватился за



ним, и Торопов закинул автомат за спину, следом пошел. И только успел сказать Рытов:

— Будь осторожным, комиссар...

Кого он наказывал сторожиться — немцев? Олега?..

До немцев они дошли довольно быстро. Три бронетранспортера, негромко урча, легко катили по грязной, податливой, но никем не разъезженной, лесной дороге. Сзади — колея в колею — полз крытый брезентом грузовик. Из-под брезента над бортами устрашающе торчали тупые дула пулеметов. Впереди процессии, то и дело оскользаясь на мокрой глине, шли трое черномундирных солдат — автоматы наизготовку.

Старков присел на корточки за кустами, осторожно раздвинул ветки, поморщился от холодных капель, осыпавшихся на лицо.

— Уверенно идут, — сквозь зубы проговорил он.

— Вроде в деревню... — Торопов присел рядом, уложил автомат на колени.

— Эта дорога ведет в деревню? — спросил Олег.

— Ага, — Старков, не отрываясь, смотрел на машины.

— А к базе так не попасть?

— Метров через восемьсот в лес уйдет тропка, — сказал Торопов. — По ней и к базе можно прийти. Только тропка та в кустах скрыта, ее знать надо. Да и не пройдут по ней машины, пешком придется.

— Спешатся, — Олег пригляделся: идущий впереди солдат все время заглядывал в планшет. — Карта у него там, что ли?

— Нет, не карта... — Торопов сощурил глаза. — Похоже: кроки. Видишь: он — то в планшет глянет, то по сторонам. Сверяет ориентиры. Значит, какая-то сволочь им кроки сняла...

— Знать бы какая... — протянул со злостью Старков.

— Живы будем — узнаем. — Торопов легонько хлопнул комиссара по плечу. — Двинулись. Только тихо. — Чуть пригнувшись, пошел вперед, бесшумно ступая в своих, казалось бы, грубых кирзовых бусах.

Лесной житель, думал Олег, пробираясь за ними. Пожилой сельский учитель географии, который лучше всего знал географию окрестностей своего села, каждую тропу здесь знал, каждый куст, сызмальства привык ступать по лесу так, чтобы не потревожить зверье, не спугнуть птицу неверным шагом, хрустом нечаянно сломанной ветки. Интересно: охотник ли он? Или носил до

войны ружьишко по лесу так просто, на всякий случай, не снимал с плеча, жалел живность? Лет через двадцать он наверняка станет приверженцем модной с конца пятидесятых годов фотоохоты, накопит на дорожное фоторужье, украсит стены школьного класса самодельными наглядными пособиями на фотобумаге. Если останется жив... Как он точно сказал: живы будем — узнаем. В рассказанном Старковым варианте прошлого Торопов погибал. Олег мало верил в то, что их вариант будет сильно отличаться от старковского. Но немногословный мягкий Торопов был ему симпатичен, и он упорно гнал от себя мысль, что прошлое повторится и учитель все же погибнет. Впрочем, Олег надеялся, что сумеет сам посмотреть за ним, отвести его от пули. Жаль только, что не спросили у шефа подробности гибели каждого...

— Стоп,— неожиданно прошептал учитель, замер, прислушиваясь.

И, будто по его знаку, остановились на дороге машины. Солдат с планшетом обежал спутников, тыча то в кроки, то в сторону леса.

— Там как раз тропа начало берет,— Торопов вытянул худую шею, смотрел во все глаза на дорогу.— Вот у той сосны.

Из бронетранспортеров по-прежнему никто не вылезал. Трое солдат долго о чем-то препирались, потом один из них почему-то на цыпочках двинулся к сосне, оставшиеся вскинули автоматы, готовясь прикрыть его огнем — в случае чего.

— Эх, полоснуть бы по ним...— мечтательно сказал Олег, поймал злой взгляд Старкова, стушевался.— Сам знаю, что нельзя, не вчера родился.

Посланный «на закланье» солдат раздвинул ветки орешника, заглянул в чашу, скрылся на минуту, потом выглянул на дорогу, гаркнул:

— Хир!

— Нашел гад,— выругался учитель.— Точно им кроки составили.

Солдат выскочил из леса, неуклюже переваливаясь побежал к переднему бронетранспортеру, взобрался на подножку, что-то рассказывал сидящему в кабине, взмахивал рукой. Потом соскочил на землю, предупредительно открыл дверь машины. Оттуда вылез офицер в длинном кожаном пальто с витым серебряным погоном, спрыгнул на дорогу, покачнулся. Солдат поддержал его.

— Гауптштурмфюрер,— сказал Старков.

— Невысоко они нас ценят,— усмехнулся Олег.—  
Могли бы кого поглавнее прислать.

Офицер прошел вдоль борта, заглянул внутрь, сказал что-то, потом махнул рукой, и из бронетранспортеров посыпались эсэсовцы, строились повзводно около машин. К гауптштурмфюреру подбежали четверо офицеров,— видно, пониже чином. Олег не разбирался в эсэсовских знаках различия, а спросить у Старкова не решился. Выслушав командира, офицеры вернулись к своим взводам, а гауптштурмфюрер уселся на подножку машины, поглядывал на свою роту. Солдаты проходили мимо него, ныряли в лес, скрывались из виду. Последними прошли пулеметчики, вскинув на плечи тяжелые стволы с раскоряченными ногами-подставками. Около машин осталось человек восемь — охрана. Гауптштурмфюрер лениво поднялся, похлопал по плечу здорового рыжего унтера — вроде бы на прощанье? — тоже пошел к тропе.

— Все ясно,— сказал Олег.— Не деревня им нужна, а база. Сейчас они рассыплются цепью, попытаются окружить отряд, залягут и пустят в ход пулеметы. Есть смысл вернуться к ребятам, обождать, пока фрицы уйдут ни с чем.

— Парень дело говорит,— подтвердил Торопов.

Старков покачал головой.

— Тот, кто им дал кроки, наверняка сообщил и о наших постах наблюдения. Сначала они попытаются снять посты и снять без шума. А постов-то нет. Дураку станет ясно, что дело нечисто.

— Ну и что? — спросил Олег нетерпеливо.

— А то, что ни стрельбы, ни атак не будет. Вышлют разведку, обнаружат пустую базу — и все.

— Еще лучше: без шума уйдут.

— Если уйдут. Боюсь, что они со злости в деревню рванут. Тем более, она им давно глаза мозолит.

— Гадание на кофейной гуще,— сказал Олег.

— Даже если так,— Торопов сердито посмотрел на него,— мы обязаны предусмотреть все варианты.

— Что же вы предлагаете?

Старков усмехнулся.

— Ты у нас — главный советник. Валяй, советуй,— сам-то он наверняка уже принял решение.

— Веди отряд к деревне. Можно устроить засаду в хатах,— Олег размышлял вслух.— Хотя это неэффек-

тивно: мало нас, нельзя запирать себя в четырех стенах, ограничивать свободу маневра. Нет, лучше засесть на околицах, впустить фрицев в деревню и тогда ударить со всех сторон. За нами — эффект неожиданности.

— Соображаешь, голова. Вот и давай, беги к ребятам. Поведешь отряд.

— Я? — Олег растерялся, не ожидая такого поворота.

— Ты, ты. А Петр Сергеевич тебе поможет, подстрахует.

— А ты как же?

— Останусь, погляжу малость. А у околицы встретимся. Я вас там подожду.

Олег перехватил удивленный осуждающий взгляд учителя, брошенный на Старкова, рассердился, встал.

— Спасибо за доверие, комиссар.

— А я не тебе доверяю. Я твоей голове доверяю. И Петру Сергеевичу, без согласия которого ничего не предпринимай.

Но даже эта не слишком ласковая фраза не испортила Олегу радостного настроения.

— Так точно! — гаркнул он, спохватился, огляделся: не услышали бы на дороге. Нет, все было тихо. Понизил голос: — Не опаздывай на свидание, комиссар. Пошли, Петр Сергеевич.

## 7

До отряда добрались быстро и без приключений. Прежде чем отдать приказ партизанам, Олег шепнул учителю:

— Скажите им, Петр Сергеевич. А то не поверят...

Тот кашлянул, прикрыл улыбку ладонью, кивнул согласен.

— Товарищи! На время своего отсутствия комиссар передал командование новому члену нашего отряда... — Он помялся, и Олег пришел на помощь:

— Зовут меня Олег.

— Прошу любить и жаловать, — добавил Торопов.

Бойцы переглянулись, зашумели недовольно.

— Почему это ему? — выкрикнул Рытов.

— Товарищи, — повысил голос Торопов. — Приказы, как вам известно, не обсуждают. А я вас никогда не обманывал.

— А комиссар где? — спросил кто-то.

— Комиссар будет ждать у околицы деревни, — Олег говорил подчеркнуто сухо, словно обиженный недоверием. — Приказ комиссара: идти в деревню, занимать круговую оборону, ждать фрицев.

— Куда они делись?

— К отрядной базе подались. А там пусто. Не исключено, что они не пойдут к деревне, вернутся назад. Но мы обязаны предусмотреть все варианты, — Олег поймал себя на том, что невольно повторил слова Торопова.

Если разобраться, ничего особенного Старков Олегу не поручил. Велика задача: провести тридцать человек по лесу в обход гитлеровцев! Они и сами — без командира — прекрасно справились бы с ней. Да и спокойнее было бы: ни возмущений, ни обид, ни ропота. Но своим хитрым распоряжением комиссар показал партизанам, что прищельцам можно верить. Во всяком случае, сам он — комиссар — верит им и подчиненных своих к тому же зовет.

Торопов спросил Олега:

— Что вы собираетесь делать с обозом?

Олег подумал немного, сказал решительно:

— Не тащить же его с собой? Оставим здесь.

— А лошади?

— Может, пригодятся?

— Вряд ли, — не согласился Торопов, — скорее помехой станут. Они у нас смирные, к стрельбе приученные. Надо распрячь их и привязать: пусть пасутся. Фашисты сюда не пойдут.

Лошадей распрягли, предварительно собрав телеги в одно место. Олег предложил закидать обоз ветками, но учитель опять возразил:

— Нет смысла. Пока каратели в лесу, воздушной разведки ждать не приходится. А от земной, пешей такая маскировка не спасет. Да и времени мало. Слышите: начали...

Вдалеке, со стороны партизанской базы, затрещали автоматные очереди. Одна, другая, потом еще, и... вдруг все затихло.

— Прав был Старков, — сказал Торопов, — не будет стрельбы. Надо поторопиться.

Быстрым шагом тронулись к деревне. Олега догнал Димка, спросил на ходу:

— Как это ты в генералы попал?

— Плох тот солдат...— привычно отшутился Олег, не договорил, оборвал себя: — Сам только не знаю. И понять не могу Старкова: то не верил, Севку к нам приставил, то — на тебе, командуй. Или решил, что не стоит бросаться лишними людьми накануне боя, или что-то на уме держит.

Говорил шепотом: сзади шли Торопов и вездесущий Севка, то ли случайно, то ли нет, но пристроившийся как раз за новым временным командиром.

— Как Раф? Не скис?

— Нет вроде,— ответил Димка.— А что?

— Не оставляй его одного. А будет бой — тем более. Усек?

— Слушаюсь,— сказал Димка, поотстал, дождался Рафа, по-прежнему бредущего в хвосте, пошел рядом.

— О чем разговор? — спросил Раф. Будто бы незаинтересованно спросил, лишь бы разговор поддержать. Но Димка отлично знал товарища, поэтому не стал томить его ловко скрываемое любопытство.

— О тебе. Большой начальник велел присматривать за тобой.

— Зачем?

— Чтобы ты не помешал его блестящей военной карьере каким-нибудь глупым поступком,— не хотел, а невольно злорадно вышло, сам понял, сконфузился.

И Раф заметил это, усмехнулся:

— Завидуешь Олегу?

— С чего ты взял?

— Все твои чувства на лице видны. Тебе в покер играть нельзя: любой обдерет. А Олегу ты позавидовал. И сам того застеснялся. Зря позавидовал. Что ты, Олега не знаешь? Его хлебом не корми — дай покомандовать. Призвание: руководитель.

— Чем плохое призвание?

— Разве я осуждаю? Да ни в коем случае! Главное, что получается у Олега такая роль. Ну и пусть руководит. А я с удовольствием подчинюсь. И тебе советую. У него — в отличие от многих руководителей «по призыванию» — голова на плечах имеется. И неплохая, замечу.

— Кто спорит? — сказал Димка.

— Вот и ладушки...— Раф перевел разговор на другую тему: — Что он говорит: будет драка?

Ох уж этот Раф, с его откровенно пацифистской терминологией!

— Не драка, а бой,— назидательно поправил Димка.— Он ничего не сказал. Но, по-моему, ждет он того боя с нетерпением.

— А вот тут он — дурак,— сердито резюмировал Раф, замолчал, обогнал Димку, потопал впереди, и даже сутулая тощая спина его выражала возмущение приятелем милитаристом.

Димка не согласился с Рафом. Он знал, что все милитаристские интересы Олега не идут дальше «военных» автоматов в игровом зале парка культуры и отдыха. Или, в крайнем случае, дальше институтского тира, где Олег — признанный мастер спорта — показывал класс стрельбы на студенческих соревнованиях. И боя он ждет не потому, что хочет пострелять, порезвиться с боевым оружием и живыми мишенями. Нет, Олег, кажется, всерьез задумал «поправить» старковское прошлое, благо существует оно все-таки в ином временном измерении и поправки эти никак не повлияют на то будущее, в которое им предстоит вернуться.

Олег не делился с друзьями своими планами, предпочитал ставить их перед фактом. Что ж, его дело, хотя Димка иначе понимал дружбу. Так то он, а то Олег — разница! Тот же Раф часто ругал Димку: «Вечно ты все разбалтываешь заранее, что на уме — то и на языке». А болтовня любому делу вредит, даже самому простенькому, это Димка на собственном опыте постиг. Постиг, да ничему и не научился. Раф тоже известный молчаливик. Но если Олег держит свои командирские замыслы при себе, потому что не любит, чтобы ему мешали — советами, суетой, запретами, наконец, то Раф просто-напросто суеверен. Сглазить боится. Из двух молчаливых друзей Димка предпочитал реалиста Олега и не судил его за излишнюю скрытность. Тем более что многолетняя дружба позволяла угадывать почти все, что таила в себе эта скрытность.

До околицы деревни дошли через полчаса. Старков уже ждал отряд, беседуя с каким-то средних лет мужиком в фуражке и длиннополом брезентовом плаще, какой, по мнению Димки, носили дореволюционные господа агрономы, разъезжавшие по помещичьим полям на двухосных бричках. Представление это родилось из вечерних бдений у телевизора, где часто «крутят» старые фильмы, поставленные в пятидесятых годах по классическим романам. Фильмам этим еще предстояло родиться, а живой «агро-

ном» совсем несолидно бросился к партизанам, начал по очереди обниматься с каждым, и Димку не пропустил, заключил его в сильные, пахнущие сыростью и резиной объятия.

— У тебя новенькие? — спросил «агроном» у Старкова.

— Похоже на то, — туманно ответил Старков, но «агроном» не стал переспрашивать, удовлетворился ответом, радостно пожал руку Олегу, поинтересовался:

— Офицер?

— Сержант, — ответил Олег.

— Орел! — продолжал радоваться «агроном», но Старков вмешался:

— Потом познакомишься, Стас, времени нет. Разобьемся на тройки и займем оборону вокруг центральной площади. Фашисты идут сюда. Как я и предполагал, они не удовлетворились брошенной базой. Без моего сигнала не стрелять. Сигнал — красная ракета. Полагаю, они не ждут здесь сопротивления, войдут в деревню. Встречать их выйдет Стас. Он — староста, ему сие по чину положено. — Он обернулся к «агроному»: — Потяни переговоры, Стас. Пусть они успокоятся, решат, что в деревне никого, кроме мирных жителей, нет. И жди сигнала. Увидишь ракету — беги, залегай и коси гадов. Твоих здесь сколько?

— Пятеро. Двое ушли с Петровичем. А так — бабы да старики.

— Пусть носа не высовывают. Особенно дети.

— Не высунут. Научены.

— Оружия лишнего не найдешь?

— Есть пара автоматов. А что?

— Да новенькие мои пустые.

— Это мы с удовольствием, вооружим до зубов. Пошли со мной, парни, — он было тронулся, но Старков остановил:

— Погоди. Возьмешь с собой в засаду его, — он кивнул на Олега. — А вы двое, — это относилось к Димке с Рафом, — пойдете с Рытовым. Старший — Рытов.

...Димка получил у Стаса старенький «шмайссер» и две обоймы, а Раф — карабин и пару гранат-лимонок тоже немецкого производства. Рытов ждал их у поваленного плетня «агрономского» дома.

— Вооружились? — неприязненно спросил Рытов. — Вояки на мою голову...



— Не набивались,— обозлился Димка.— Можешь катиться на все четыре, без тебя обойдемся.

— Вы обойдетесь,— хохотнул Рытов, сдвинул кепку на глаза, потер затылок, заросший длинными, вьющимися волосами.— А я вот без вас никак... Комиссар не велел, а он лучше знает.

Комиссар знал лучше. Самостоятельности Олегу было отпущено ровно настолько, насколько эта самостоятельность не могла повредить отряду. От леса до околицы — не дальше. Сейчас за ним Стас присмотрит, человек надежный, партизанский ставленник на должности фашистского старосты. А Димка с Рафом — сошки помельче. Им и Рытова хватит. Хотя Рытов — не из последних в отряде. И старшим его комиссар оставил, когда сам с Олегом и Тороповым к лесной дороге отправился. Так что можно гордиться: какому человеку в подчиненные приданы!

Димка усмехнулся про себя: будем гордиться. Будем подчиняться лучшим людям отряда, однако и о самостоятельности не забудем. Покажем этим лучшим людям, что мы умеем...

Рытов привел их к бревенчатому сараю на площади — прямо напротив дома старосты, распахнул дверь:

— Прошу!

В сарае было тепло. Куча прелого сена в углу, тележные колеса, какие-то слуги, заржавленный плуг. Крохотные оконца почти не пропускали дневной свет, но устроены были, словно нарочно, как бойницы: шесть узких прямоугольников вдоль стены на уровне человеческого роста. На чердак вела приставная лестница.

— Один вниз, двое вверх,— скомандовал Рытов, пошел к лестнице, поманил Димку: — Со мной будешь.

Димка предпочел бы остаться с Рафом вниз, но приказы не обсуждают. Полез по скользким переколадинам за Рытовым. На чердаке тоже лежало сено и тоже тянулось по стене окошки. Крыша протекала.

— Хозяина нет,— подсадовал Рытов, отгреб сено от дыры в кровле, уселся.— Будем ждать, парень. Как звать-то, не спросил?

— Дмитрием.

— Откуда родом?

— Из Москвы.

— А я из Молдавии. Шоферил там на бортовой после школы,— сейчас он не кривлялся, не изображал из себя опереточного цыгана, говорил спокойно, весомо и оттого казался старше своих девятнадцати лет.

— Что не в армии?

— Не успел. Да и не рвался: по мне, в партизанах лучше.

Станный критерий для военного времени: лучше, хуже...

— Ищешь где лучше?

— Как и все. Только ты меня на слове не лови. Я не легче долю ищу, а лучше.

— Какая разница.

— Большая. Здесь не легче, чем в армии, но здесь я — хозяин. В лесу хозяин, в деревне, на большой дороге. Полоснул из-за кустов нежданно-негаданно, гранатами забросал — и бери гадов тепленькими. А в армии ты — винтик.

— Хозяин большой дороги?

— А что? Хорошее прозвище.

Прозвище... Человек должен быть там, где он принесет больше пользы общему делу. Димка совсем не умалял значения партизанского движения в Великой Отечественной войне, но не оно решило ее исход. Димка читал, знал по рассказам знакомых отца, как осаждали военкоматы его ровесники. А этот: «не рвался»... Впрочем, может, он рожден быть партизаном, бесстрашным и осторожным, может, он нужнее именно здесь — кто знает. Не стоит заранее осуждать человека, если тебе его слова не понравились. Не торопись с выводами, Димка, не поддавайся первому впечатлению.

Свесился в люк, оглядел полутемный сарай:

— Как ты там?

— Хорошо,— откликнулся откуда-то из темноты Раф.— Так бы век...

— Ну ты, не очень-то расслабляйся,— подал голос Рытов и вдруг схватил Димку за руку: — Смотри-смотри.

Далеко впереди, у околицы, перед лесом показались зеленые коробки бронетранспортеров. Площадь перед сараем по-прежнему была пустынна. Да и площадью ее можно назвать лишь с помощью великой фантазии. Просто большой квадрат, окруженный редкими избами, невысокими штакетниками. Лужи, грязь. Чей-то недорезанный петух ковыляет вдоль забора. Неширокая улочка

ведет к околице. Канавы-водостоки вдоль улицы, почерневший от воды низкий сруб колодца покосился у ворот. Бронетранспортеры медленно катились по улице, оглушительно ревели в дождливой тишине деревни. Никто не выбегал им навстречу, даже собаки не лаяли из-под заборов. А может, и не было их — собак...

Рытов прижался телом к стене, выглядывал из-за косяка. Димка сжимал внезапно вспотевшими руками холодный автомат, тщетно пытался унять дрожь, молил, чтобы Рытов не заметил. Рытов не обращал на него внимания, всматривался в дождь.

— Сейчас будет... — прошептал он.

Бронетранспортеры и грузовик въехали на площадь, остановились. Водители глушили моторы. Из своей избу вышел «агроном» Стас, побежал к машинам, распахнув руки, будто готовился обнять дорогих гостей, как давеча — на околице. Из кабины бронетранспортера выпрыгнул офицер в кожаном пальто, пошел навстречу Стасу. Остановился, заложив руки за спину. Стас вытянулся перед ним, что-то рапортовал. Димка не слышал слов, но слишком угодливая поза старосты вызвала отвращение. Хорошо: он должен быть актером. Хорошо: он обязан выслуживаться перед фашистами, чтобы ни подозрения не возникло — все лояльны, все преданы новой власти. Но есть же чувство собственного достоинства, наконец! Зачем вытягиваться в струнку перед сволочью?..

Офицер неторопливо поднял руку, наотмашь ударил Стаса по щеке. Сильно ударил, потому что голова старосты дернулась, он даже покачнулся, но продолжал стоять так же по стойке «смирно». Офицер обернулся к машинам, крикнул что-то. Из кузовов выпрыгивали солдаты, строились у бортов — повзводно. Офицер указал Стасу на дом, повелительно махнул рукой. Стас, ссутулившись, пошел к дому, поминутно оглядывался. Офицер смотрел ему вслед, ждал.

И в это время в воздух взлетела красная ракета.

Ударили автоматы со всех сторон. Надломилась черная цепь гитлеровцев, распалась. Офицер зайцем подскочил, метнулся к машине, спрятался за колеса. Его солдаты торопливо лезли обратно в кузова бронетранс-

портеров, отталкивали друг друга, падали, скошенные точными очередями партизанских автоматов. Стас успел добежать до своего забора, перемахнул через него, упал в траву. Димка видел, как он, пригнувшись, пробежал по двору, бросился за поленницу дров. И сразу оттуда вспыхнули язычки пламени: открыл огонь. На площади около машин остались лежать тела убитых эсэсовцев — десять или двенадцать трупов, Димка не считал. Только сейчас он сообразил, что по-прежнему сжимает холодный автомат, так и не выстрелив из него ни разу.

«Трус!» — обругал он себя, взглянул на Рытова. Рытов смотрел в окошко, тихо смеялся.

— Ты что? — спросил Димка, ошалело вытаращив глаза.

— Идиоты, — выдавил сквозь смех Рытов. — Кто же так воюет? Они больно в себе уверены, вот о бдительности и не вспоминают. А мы их как курей...

— Не всех же...

— А может, и всех, — он вытащил из кармана лимонку, выдернул чеку, высунулся в окно, размахнувшись, швырнул гранату. Она шлепнулась около первой машины, взлетел в воздух черно-серый столб земли, воды, дыма, застыл на мгновение гигантским грибом, начал медленно оседать. И тотчас же из кузова забил автомат. Прицельно бил. Пули шелкнули о бревна сарая где-то под Димкой. Он отшатнулся.

— Тикай вниз! — крикнул Рытов. — Счас они пулеметом шуганут.

Метнулся к люку, прыгнул. Димка — за ним. Выскочили из сарая, пригибаясь к земле, рванули к забору. Рытов ударил ногой по планке штакетника, выломал ее, нырнул в дыру. Димка пропустил вперед Василия и Рафа, задержался на секунду. В кузове грузовика на площади полыхнул огонь.

— Ложись, дурило! — Рытов выглянул из дыры в заборе, дернул Димку за полу.

Димка упал на землю, уткнулся лицом в траву. Время. Пулеметная очередь била точно в крышу сарая. Вспыхнула, взлетела к небу дранка, поплыли по воздуху клочки сена. Снова гроыхнуло. От грохота заложило уши.

Как сквозь вату пробился голос Рытова:

— Погибнуть хочешь?

Димка встал на четвереньки, полез в дыру. Рытов под-

хватил его под руку, силком потащил за дом. Димку шатало.

— Оглушило? — лицо Рытова было где-то рядом, качалось у глаз, расплывалось.

— Сейчас-сейчас, — пробормотал Димка, помотал головой, приходил в себя. — Как это я?

— Не ожидал?

— Честно — не очень. Миномет, что ли?

— Граната. Идти можешь?

— Могу, — Димка встал, придерживаясь за стену.

— Давай за дом.

Из-за дома высовывался перепуганный Раф.

— Цел?

— Целехонек, — засмеялся Рытов. — Меняем дислокацию. Они теперь оправились от первого испуга, вспомнили о своей силе.

Бронетранспортеры разворачивались, натужно рыча, шли к горловине улицы, куда уже убрался грузовик с пулеметчиками. Теперь, когда их прикрывали с флангов слепые за закрытыми ставнями избы, фашисты почувствовали себя полгче. По вспышкам выстрелов можно было определить, что партизаны простреливали только деревенскую площадь. Вероятно, это был просчет Старкова. Можно было предположить, что эсэсовцы сумеют отступить в улицу, и встретить их там огнем из засады. Теперь исправлять ошибку поздно. Один из бронетранспортеров перевалил через канаву, врезался в забор, обрушил его, ткнулся носом в дверь дома.

— Там кто-нибудь живет? — спросил Димка.

— Не знаю, — ответил Рытов. — Тут много пустых изб.

Кто-то из кузова пустил очередь по закрытым ставням, по двери. Из дома никто не пытался выскочить.

Раф тронул Рытова за плечо.

— Обойдем их по краю. Подберемся с тыла.

— Верно, — Рытов одобрительно посмотрел на Рафа. — Я и сам хотел...

Он пошел вдоль стены, перебежал двор. Димка уже забыл, что оглушен и что голова все еще кружилась, побежал за ними, за Рафом с Василием, думал, что не такой уж Раф великий пацифист, умеет тактически мыслить, если надо. Вот понадобилось, и — доказал.

Выстрелы стихли. Вероятно, не только рытовская группа меняла расположение. Деревня по-прежнему казалась

начисто вымершей: жители выполняли распоряжение старосты, сидели в погребах. В конце улицы пулеметчики насмех устанавливали свои треноги.

Димка понимал, что положение партизан — не самое лучшее. Фашистов больше, они быстро успели сориентироваться, отойти и занять довольно выгодную позицию. Эффект неожиданности партизаны использовать не сумели. Почему? Мало людей, мало боеприпасов... Может быть, стоило быть посмелее, решительней атаковать карателей, ошеломить их натиском, создать впечатление, что не тридцать — триста человек против них? Может быть, так... Димка усмехнулся: руководи в этом бою партизанами Олег, он бы не раздумывал, повел бы людей в атаку. И — не исключено — потерпел бы поражение. Все-таки взвод — не рота, фашисты — не слепцы и не дураки. Раскусили бы за милую душу. Так что не стоит осуждать Старкова за нерешительность. Его разумная осторожность помогла пока выиграть время. Да и о численности партизан каратели не знают...

Честно говоря, Димка считал, что выиграть бой будет трудно. Вероятно, надо бы отойти, дожидаться карателей на лесной дороге. Нет, нельзя. Тогда они точно сожгут деревню и расстреляют жителей. Да и рация у них наверняка есть. Вызовут подкрепление, зажмут в тиски отряд... Значит, если отходить, то отходить вместе со всеми жителями. Или драться до конца

А как драться?

...Димка прижался спиной к глухой бревенчатой стене сарая, выглянул за угол. Насквозь промокший стог сена, поваленные прясла забора, заросли бурьяна у забора. В зарослях кто-то шевелился.

— Видишь? — Димка обернулся к Рытову.

— Кто-то из наших, — прошептал Рытов, сложил руки лодочкой — крикнул негромко.

Бурьян закачался, выглянула голова. Олег.

Димка даже засмеялся невольно, забыв об опасности: уж больно забавно выглядел взъерошенный и мокрый Олег.

— Ты чего? — удивился Рытов.

Димка не ответил, брякнулся на землю, пополз к бурьяну. Только слышал сзади трудное дыхание товарищей. Добрался до Олега, пристроился рядом, посмотрел на улицу. Эсэсовцев видно не было: попрятались, замаскировались. Только чернели бронетранспортеры в конце

улицы, и — Димка помнил — скрывались за ними пулеметчики.

— Добросишь гранату? — спросил он у Олега.

— Доброшу. Только попозже.

— Почему?

— Пусть остальные подтянутся.

— Где они?

— Старков и еще пятеро — здесь. Вон — за поленницей. Остальные идут по той стороне улицы.

— Будем атаковать? — догадался Раф.

— У нас нет другого выхода.

Откуда-то с улицы послышалось кряканье.

— Все на месте, — удовлетворенно сказал Олег. — А ну, готовьтесь. Бросаю гранату и — в атаку. — И к Рытову: — Крякни-ка в ответ. А то я не умею.

Достал лимонку из кармана, подбросил ее на ладони, почему-то понюхал, улыбнулся:

— Ну, поехали...

Выпрямился во весь рост, сорвал предохранитель, размахнулся — как на институтском стадионе, швырнул гранату, подхватил с земли автомат:

— Впере-о-од!

Перемахнул через прясла, помчался по улице, стреляя на ходу.

Димка бежал следом, оглушенный неожиданно громким взрывом лимонки, потом еще одним, и еще, и еще, кричал что-то и не слышал собственного голоса. Только видел впереди, в сизом мареве взрывов, выскакивающие из-за машины фигурки гитлеровцев. Он нырнул в сорванную с петель калитку и нос к носу столкнулся с карателем. Отскочил, замер в растерянности. Ражий эсэсовец ругнулся, поднял автомат. И вдруг нелепо взмахнул руками, как в замедленной съемке, повернулся вокруг своей оси на ватных ногах, упал. Димка обернулся, Раф сжимал карабин, растерянно смотрел на убитого им фашиста.

Димка не стал благодарить друга, даже не подумал тогда об этом, просто подхватил выпавший у немца автомат, протянул Рафу:

— Бросай свою дуру. И не стой, не стой. Вперед...

Внезапная опасность вдруг обострила чувства. Он стал слышать и крики, и выстрелы, ощутил запах пороха и вкус гари на губах, увидел бегущих рядом партизан, полоснул огнем из «шмайссера» по черным фигурам пуле-

метчиков у грузовика, метнулся к нему, выглянул из-за капота. Вскочил на подножку, вскинул автомат — пулеметчик повалился на бок, потянул за собой оружие.

— Готов! — выкрикнул Димка, рванул дверь кабины, плюхнулся на сиденье.

Ключ зажигания — вправо. Двигатель взревел. Димка выжал сцепление, включил передачу, вдавил газ. Он еще не знал, зачем это делает, просто захвачен был бешеным ритмом боя, не понимал даже его нюансов, действовал по наитию. А откуда оно у него — великое наитие, подсказывающее верный ход? Потом, потом разберемся, некогда сейчас! Двинул трехосную махину грузовика по улице, подмял убитого пулеметчика. Впереди вырос задранный в небо ствол пулемета. Около него — трое. На них, на них, не сворачивать. Треснуло лобовое стекло, побежали по нему лучи-трещины — стреляют? Пригнул голову, больше газа! Машина прыгнула вперед, закачалась, кто-то кричал за окном.

Прямо перед радиатором выросла стена, в ней — полуоткрытая дверь. Димка толкнул плечом дверцу кабины, прыгнул вниз, только успел подумать: автомат в кабине! — и покатился по земле, не чувствуя боли. Вжался в грязь лицом, накрыл ладонями затылок. Оглушило взрывом, жаром полыхнуло. Поднял голову: около дома горел грузовик, выскакивали из двери и из-за дома засевшие там гитлеровцы, бежали куда-то, падали. Поднялся на ноги — шатнуло. Ухватился за стену, задышал часто-часто, посмотрел вверх. Где-то высоко, под облаками, — или показалось? — парил воздушный змей, детский коробчатый змей с планками крест-накрест, с длинным хвостом из мочалы. Кто его запустил?

В глазах потемнело, пополз вниз, хватаясь онемевшими пальцами за бревна стены, потерял сознание. И уже не слышал ни выстрелов, ни взрывов. Была тишина, сонный покой, далекое синее небо, в котором по-прежнему качался на ветру игрушечный неправдоподобный змей, склеенный маленьким Димкой давним летом в Малеевке, в пионерском лагере.

...Димка очнулся оттого, что его кто-то тряс. С трудом разодрал слипшиеся веки, смотрел сквозь ресницы. Над ним нависла огромная черная фигура, страшная фигура, тянула к нему длинные руки. Это было ужасно, и Димка снова закрыл глаза. Однако трясти его не перестали, и, как сквозь вату, он услышал голос Олега:





— Да очнись ты наконец! Живой ведь, симулянт чертов...

«Пожалуй, надо встать,— тяжело ворочались мысли, голова прямо раскалывалась от боли.— Олег в покое не оставит».

Снова открыл глаза, сощурился, встал на четвереньки. Олег подхватил его под мышки, поднял рывком, прислонил к стене. Димка очумело посмотрел на него, спросил хрипло:

— У тебя анальгин есть?

Олег отпустил его, сел на корточки, зашелся смехом. Димка понемногу приходил в себя, удивленно разглядывал истерично всхлипывающего Олега.

— Анальгин,— рыдал Олег,— фталазол, стрептомицин... Сумасшедший. Где ты находишься?

Димка ошалело огляделся. Метрах в двадцати догорал грузовик, ленивые язычки пламени плясали под крышкой капота, выглядывали из кабины. Стена дома обуглилась, но пожара не было: дождь помешал, насквозь промокшие бревна не поддались пламени. Рядом лежали трупы эсэсовцев — как в кино «про войну». От дома к Димке шел черный от копоти Старков, волочил автомат на порванном ремне, улыбался.

Димка наконец сообразил, где находится, испуганно спросил:

— Что случилось? Как наши?

Старков прислонил автомат к стене, сел на траву, потер пальцами глаза — только больше копать размазал.

— Все. Конец.

— А фашисты?

— Нет больше фашистов.

Олег хлопнул Димку по плечу. Тот даже пошатнулся.

— Пожара они испугались,— смеялся Олег.— Когда ты избу протаранил, так бабахнуло, что даже я решил: не иначе — артиллерия подоспела. Их в избе и за ней человек тридцать было. Ну, все — наружу. А тут — мы. Готовенькими их брали.

— А я как же? — Димка шарил руками по телу, искал рану, но тело не отзывалось болью, только гудела по-прежнему голова, и пара таблеток анальгина все-таки была бы кстати.

— Взрывом крышу сорвало. Доски прямо по небу летали. Одна тебя и приложила по темечку. Спасибо, кепка удар смягчила.

Димка ухватился за затылок, вскрикнул, посмотрел на руку:

— Кровь...

— Не беда,— устало улыбнулся Старков.— Ты же физик. Вот и пошел по пути Ньютона. У него яблоко, у тебя кое-что повесомее. Пора закон всемирного тяготения открывать.

— Все бы вам шутки шутить,— мрачно сказал Димка.

Он не терпел крови, боялся даже палец порезать. Ну ладно бы пуля или штык. Благородно и моменту соответствует. А тут доска... Чем вас в бою ранило? Да, знаете, доской пришибло. Даже стыдно. Расскажешь — засмеют.

Олег понял мучения друга, обнял его.

— Ты у нас герой. Как додумался машину пустить?

Димка любил, когда его хвалили. Он таял и гордился собой. Он считал, что похвала — даже за ерунду — очень стимулирует любую деятельность.

— Да вот как-то додумался...— засмутился он, ногой шаркнул, вроде и голова поменьше болеть стала. Но не стал врать, честно признался: — Я не думал о последствиях. Просто вскочил в грузовик и — ходу. А стену я в последний момент заметил: я же не умею водить машину.

— Умел бы — объехал? — восхитился Олег наивной откровенностью Димки.

Димка пожал плечами:

— Не знаю... наверно...

— Ну, ты даешь!..

Старков по-прежнему сидел, привалившись спиной к стене, закрыл глаза, как будто дремал. Услышал реплику Олега, приоткрыл один глаз.

— Он не знал, что делать, а сделал все правильно. Ни одной ошибки. Его незнание помогло нам больше всех наших знаний. Как считаешь?

— О чем разговор? — Олег не был ревнив, и удача друга радовала его не меньше своей.

И великодушным он был, умел признать чье-то преимущество над собой. Что ж, в нынешнем бою Димка сделал больше Олега. Пусть неосознанно, но все же, рискуя жизнью, он выманил под пули партизан три десятка карателей, прочно засевших в надежных стенах избы. Подвиг? Несомненно,— соглашался Олег, считая, что ему самому просто не повезло: не догадался вовремя, не

увидел машины, увлекся боем. Но какая разница, кто сделал? Важно, что сделано. И сделано — будь здоров!

Димка окончательно пришел в себя, хотя и побаливала голова, саднила рана на затылке.

«Ох, и попадет мне от шефа,— думал он.— Было велено: не лезть ни в какие переделки. Легко сказать! Интересно, дорогой шеф: сами вы сумели бы сидеть сложа руки? Не сумели бы, знаем вас. Так что придется смирить гнев...»

— А как наши? — спросил он, вдруг вспомнив о страшном исходе боя в старковском прошлом.

— Севку убили,— помрачнел Олег.

— Севку...— вспомнились веснушки, узкие, с рыжиной глаза.

Только что рядом был, еще злились на него: больно бдительный, и вот — конец. Ох, не игра это, не игра, ребята, настоящая война, которая догнала вас, достала. И не сможете вы уже быть прежними — веселыми и беспечными, неунывающими «орлами» с физфака. Не сможете. Хотя бы потому, что Севку убили...

— А остальные, остальные?

— Да вроде потерь не так уж много...

И опять вмешался Старков:

— Немного? Щедрый ты парень, Олег. Для нас любая потеря — беда. Понял: любая! И если бы только один Севка погиб, я бы считал, что мы потеряли слишком много...

Он рывком поднялся, подхватил автомат, пошел на улицу.

— Комиссар прав,— тихо сказал Димка.— Ты бестактен.

— Не спорю,— согласился Олег.— Ляпнул, не подумав. Только я помню, что у Старкова уцелело одиннадцать бойцов...

— У того Старкова, у нашего.

— Да, этот — другой. И прошлое другое.

— А вдруг наше? Вернемся, а там — куча изменений. А виноваты в них мы.

— Не говори вздора,— обозлился Олег.— Ни в чем мы не виноваты. Ну, я подстрелил человек десять. Ты этих сволочей на божий свет вытащил. Но не мы погоду сделали. Пока ты у стеночки отдыхал после встречи с доской, Рытов с Севкой ворвались вдвоем в соседнюю избу, гранату — на пол и из двух стволов за три минуты двадцать

человек напавал. Хороша арифметика? — он засмеялся. — Потом Рытов спохватился: что-то слышать хуже стал. Хватить за ухо, а его нет.

— Как нет?

— Осколком отрезало. Вместе с серьгой. Он и не заметил.

— Всю красоту испортило, — покачал головой Димка, спохватился: — Где Раф.

— Раненых перевязывает. Он у нас герой, не хуже тебя. — Олег даже присвистнул. — Ну-у, Раф... Он ведь и Торопова спас...

— Как?

— Прикрыл его. Увидел, что в старика целятся, прыгнул на него и повалил. Сам сверху.

— А фашист?

— Какой?

— Который целился.

— А-а, этот... Убили его. Кто-то из наших, — безразлично сказал Олег. — Ну, пошли, — он взял Димку под руку. — Все уже на площади.

## 9

Олег ошибался: на площади никого не было. Партизаны собрались во дворе бывшего сельсовета, где теперь обосновался староста. Кто сидел на ступеньках крыльца, кто прогуливался вдоль до стены, заглядывая в окна, где Раф, Торопов и староста Стас занимались ранеными.

Раненых было семеро. Прошлого физика Старкова значительно отличалось от прошлого, в которое он отправил своих учеников. Только пятеро убитых, среди которых — бдительный Севка, рыжий Севка, веселый и лихой человек. Старков отправил партизан хоронить павших бойцов. На маленьком деревенском погосте они вырыли пять могил, завернули тела в старую мешковину, поставили таблички с фамилиями и двумя датами. Собрались у могил, дали прощальный залп. Всего один: патроны приходилось беречь, хотя и разжились у немцев боеприпасами. Да только понадобятся они еще, впереди — дорога в Черноборье, длинная дорога, мало ли что может на ней случиться...

Необходимо было спешить. Раф, выросший в семье

врачей-хирургов, умело перебинтовал раны, благо — невелики они. У кого — рука прострелена, у кого — бедро. Рытов красовался в повязке, закрывавшей почти всю голову, ходил, чертыхаясь, переживал сильно: несерьезное ранение. Его утешало только, что Димка пострадал еще глупее. Тут все-таки осколок, а у Димки — доска.

Раф не считал всяких там царапин или легких сквозных пулевых ран. Тогда и Димку с его ссадиной пришлось бы зачислить в раненые. Нет, это пустяки, до свадьбы заживет и забудется. Рафа волновало состояние Макарыча, у которого было прострелено легкое. Для невеликих медицинских познаний Рафа это ранение казалось слишком серьезным. Макарыч все время терял сознание, дышал тяжело, со свистом. Термометра в деревне не нашлось, но даже на ощупь чувствовался жар.

— Успеть бы довести старика, — говорил Раф комиссару. — Сколько времени займет переход?

— С таким обозом — суток трое.

— Плохо дело. А быстрее никак нельзя? Или, может, где-нибудь поблизости врач есть?

— Врача нету, — вступил в разговор Стас, — а фельдшерица в соседней деревне проживает. Лучше бы к ней...

— Медикаменты у вашей фельдшерицы есть? — зло спросил Раф.

— Откуда? Травки должны быть.

— Травки... Тут антибиотики нужны, — сказал и поморщился, получив увесистый удар по ноге: Олег напоминал забывшемуся товарищу о том, что антибиотики появились лишь после войны, да и то не сразу.

Однако никто не заметил обмолвки Рафа, не прислушался. Мало ли какие мудреные названия в медицине имеются? Разве нормальный человек все упомнит?

— В отряде есть врачи и лекарства, — сказал Старков.

— Значит, надо вести в отряд. Будем рисковать.

— Зачем рисковать? — удивился Олег. Его удивило то, что никто из присутствующих не видел явного выхода. — Это пешкодралом трое суток. А на машине?

— Ах, черт! — вспомнил Старков, хлопнул себя по лбу. — Действительно. Всю дорогу не осилим, а половину — наверняка. Кто поведет?

— Я, — сказал Олег.

Раф изумленно посмотрел на него.

— Как здоровье?

Часов они с собой не взяли: «Полеты» и «Секунды»

не годились для военного времени. Но и без часов можно было догадаться: срок эксперимента на исходе.

— Который час? — спросил Олег.

Старков полез в карман, вытащил старенький плоский хронометр.

— Половина седьмого, — и добавил не к месту: — Есть хочется.

Олег реплику о еде пропустил мимо ушей, хотя и ему есть хотелось, урчало в животе, а вот поздний час его расстроил. Через полчаса Старков вырубит генератор и придется топтать в избушку, так и не закончив начатого. Олег считал, что это несправедливо. Он хотел довести Макарыча до Черноборья, увидеть настоящее партизанское соединение, с молодым председателем познакомиться — да мало ли что еще! А тут и попрощаться ни с кем нельзя — не поймут. С чего бы это им расставаться? Вся война впереди...

Кончилась война для студентов. Что ж, против уговора не пойдешь. Но надо кое-какие советы оставить...

— Верно говоришь, — скрепя сердце начал врать Олег, — я бронетранспортер не доведу. Опыта нет. Шоферы в отряде есть?

— Есть, — сказал Старков. — Рытов до войны шофером был.

— Он и поведет. Погрузим в машину всех раненых, пулеметы, оружие трофейное и — в путь. А мы — пешочком, не торопясь.

— Стоит поторопиться, — вмешался Стас. — Через несколько часов сюда нагрянут фашисты.

— Сколько человек в деревне? — спросил комиссар.

— Двадцать три со мной. Пятеро мужиков, остальные — бабы с детьми, да стариков трое.

— Все уйдут с нами.

— И я?

— И ты.

— А как же деревня?

— Тебе что дороже: избы или люди?

— Глупый вопрос, — пожал плечами Стас. — Однако людям ведь в избах жить...

— Именно: жить. Собирай людей, староста. Да поживей, поживей.

Вот и еще одно несоответствие с реальным прошлым Старкова: Стас уйдет с партизанами, и все жители деревни тоже уйдут, и никого не обнаружат каратели, когда

примчатся сюда, одержимые жадой отомстить непокорным «бунтовщикам». Но почему Раф упорно называл реальным именно прошлое своего шефа? А это прошлое? Что в нем нереального? Оно существовало и существует сейчас, оно торопит события, спешит сквозь осенние дни сорок второго года к годам семидесятым, когда другой Старков и другие студенты станут собирать свой чудесный генератор времени, чтобы махнуть назад — на тридцать с гаком лет, и махнуть опять-таки в чужое прошлое, в его третий вариант. Или в десятый. Или в сотый. В самый что ни на есть реальный вариант. В котором, может быть, Макарыча не ранят и не погибнет Севка. Или даже не будет этого боя...

...Раненых погрузили на бронетранспортер, который пригнал умелец Рытов. Набросали в кузов сухого сена, постелили брезент, посадили к раненым малых детишек.

— Может, с ними поедешь? — спросил Рафа Старков.

Раф бы поехал, будь его воля...

— Да я там только помехой буду, — сказал он бодро. — Пусть товарищ Торопов едет.

Старков не настаивал. Наказал Рытову не гнать, в случае чего — сворачивать в лес, выжидать, на рожон не лезть.

— С богом, — сказал Старков.

— И без бога справимся, — хохотнул Рытов, тронул машину, высунул из окна: — Догоняйте!

Осторожно повел бронетранспортер, объезжая ямы с водой, скрылся за околицей. Партизаны смотрели ему вслед, молчали.

— И нам пора, — вздохнул Старков, еще раз хлопнул крышкой часов. — Семь без минуты.

— Пора, — подтвердил Олег.

Он знал точность своего Старкова и надеялся только, что старый хронометр спешит вперед, подгоняет время хозяина.

И вправду спешил. Успели построиться, подхватить трофейное оружие, которое не погрузили в машину, вышли за деревню неторопливой колонной — женщины, дети, старики шли в середине. Олег с друзьями намеренно пристроились в хвосте. Вошли в лес, и Олег придержал друзей: вроде бы осмотреться — не ждать ли опасности откуда-нибудь? Опасности не было. Пусто кругом.



И дождь моросить перестал. Виднелись еще деревенские избы, курился дымок над местом недавнего боя, ветер уносил рваные облачка дыма.

И вдруг пропал дымок. А возник совсем в другой стороне. И не робкий он был, а сильный, будто затопил кто-то печку в невидной от леса пустой избе.

— Кто это? — испуганно спросил Димка. — Кто-то остался?

Он обернулся к лесу, куда только что скрылась колонна партизан, прислушался, вдруг рванулся в кусты, обломил ветку, она с треском упала.

— Тише ты! — бросил вслед ему Олег.

А Раф все уже понял, усмехнулся невесело:

— Не от кого таиться.

Вернулся Димка, сказал, ни на кого не глядя:

— Все. Конеч.

Это был конец эксперимента. Пунктуальный Старков отключил поле. Дым над пепелищем исчез, потому что не было пепелища. Печку топили во многих домах — холодная погода, промозглая, — и дым из труб рвался в небо, сливался в мощное серое облако, уходил за деревню.

— Интересно, дойдут они до Черноборья?

Димка задал вопрос без адреса, просто так спросил, чтобы не молчать. И Олег ответил тоже для того:

— Хотелось бы... Теперь и не проверишь: другое прошлое. В нашем вот дошли...

— Дойдут, — убежденно сказал Раф. — Должны дойти.

Он так считал и не верил в иной исход, не мог верить.

— И нам пора?

— Пора.

Пустой обмен словами. Говорить не хотелось, и надо было говорить. Слишком резко оборвалось действие — сразу и навсегда. Слишком многое осталось там, в прошлом. Именно в прошлом: как же иначе назвать? Теперь и у них, у двадцатилетних, тоже было прошлое — далекое и кровное.

— Ты помнишь, где спрятал дублер?

— Помню.

— Надо бы забрать...

— Потом. Успеем.

Машинально вглядывались в мягкую тропу — не осталось ли на ней следов. И другая то была тропа, давно

знакомая, потому что бегали по ней из лесниковой избушки в деревенский магазин: за сахаром и за хлебом. И на танцы в клуб, бывало, заглядывали — по той же тропке.

— Сколько мы отсутствовали?

— Как и договаривались: двенадцать часов.

— А кажется — дольше.

— Кажется...

Уже никогда не вернуть напряженных минут боя, ощущения уверенности в себе, кристальной ясности мыслей, которая возникает именно в момент опасности, в состоянии стресса, и ты поступаешь так, как должен поступить, и никак иначе, и твое решение — самое верное, единственное, и ты силен, и ты бесстрашен, и дело твое правое, и победа конечно же — за тобой...

— Вроде бы дошли...

— Кто?

— Мы, мы дошли. Вон наш дворец...

Последние шаги к избушке. Выбить сапоги о стальную скобу у порога, снять мокрую грязь. Но тише, тише, чтобы не слышали ни шеф, ни председатель: не стоит портить театральный эффект неожиданного появления. Аккуратно приоткрыть дверь — только бы не скрипнула! На цыпочках — в сени. Дверь в комнату — рывком на себя.

— А вот и мы!

## 10

— Наконец-то, — сердито сказал Старков.

Генератор выключен, стрелка — на нуле, рубильник торчал перпендикулярно щиту. Старков пил чай из фаянсовой кружки с петухом, нарочито громко хрустел сахаром, на студентов — никакого внимания.

— В самом деле, — председатель не сумел подыграть Старкову. Он был взволнован, обрадован, все удалось, и живые вернулись. — В самом деле, не могли раньше прийти?

— Хорошо, что я опыт ограничил двенадцатью часами, — проворчал Старков. — А то бы они там до конца войны сидели...

— Неплохая идея, — Олег повесил телогрейку на гвоздь, уселся за стол, придвинул чайник. — Ух, изголодались...

— Не кормили вас там, что ли?

— Некогда было.

Этим «некогда» Олег невинно намекал на информацию — немалую и важную, которую они готовы сообщить заждавшимся руководителям. Но Старков не принял намек, не захотел понять. Он все еще играл роль сердитого воспитателя, не прощающего ослушников, выдерживал характер. Председатель — тот попроще. Ему прямо-таки не терпелось узнать подробности путешествия, он бросал умоляющие взгляды на Старкова, но тот игнорировал его, тянул чай, помалкивал.

Потом не выдержал, спросил Олега:

— Что ты на меня уставился? Давно не видел?

— Давненько,— протянул Олег.— Считайте: тридцать пять лет. Изменились вы здорово...

Старков подался вперед, чуть не опрокинув кружку. Все было мгновенно забыто: и показное равнодушие, нелепое желание убедить всех, да и себя тоже, в том, что важен лишь удачно поставленный эксперимент, само путешествие во времени, а не его содержание. Мол, с таким же успехом можно было переместиться в год тридцатый, пятый, восемьсот девяностый — в какой угодно... В какой угодно? Ох, врешь, Старков, сам с собой душой кривишь! Ждал ты ребят из своего года, мучился, сгорал от нетерпения. Так не ломай комедию — не перед кем.

— Рассказывайте,— почему-то шепотом сказал Старков.

— То-то же... — Олег не собирался долго мучить шефа и председателя. Начал рассказ, к нему присоединились Раф с Димкой, перебивали друг друга, вспоминали подробности, вскакивали, размахивали руками, демонстрируя перипетии боя.

Поймали Димку: тот вырывался, прикрывал руками голову. Подтащили к Старкову, показали след борьбы с «летающей доской». Вопреки Димкиным страхам, Старков не рассердился, только сказал огорченно:

— Вечно тебе не везет. Прошлый раз — пуля. Теперь — деревяшка.

— Почему не везет? — удивился логичный Раф.— Наоборот: все пули, равно как и все доски, мимо него. Жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин.

— Он герой,— заявил Олег.— Он всех спас.

— Я герой,— скромно согласился Димка.

Здесь, в натоленной избушке, в привычной обстановке, в своем времени все пережитое казалось далеким и, по-

жалуй, игрушечным. Даже запекшаяся кровь на затылке вызывала, скорее, приятные воспоминания. Тем более что голова уже не болела. Теперь и пошутить можно, покуражиться, посмеяться над Рафом, который сначала растерялся, увидев живого фашиста, а потом «совершил рекордный прыжок», прикрыв от пули старого учителя. Или вспомнить бдительного Севку, рыжего Севку и его пикировку с «подозрительными типами». Или то, как умелец Димка разобрался за пять минут в партизанской рации. Или вышутить Олега, ставшего командиром отряда всего на... полчаса, когда шли из леса к деревне.

Все-таки это было не их прошлое. Даже не потому, что лежало оно на какой-то иной ветке времени, не совпадало с прошлым Старкова и председателя, вернее, не во всем совпадало. А прежде всего потому, что их прошлое было детсадовским, школьным прошлым веселых игр в «казаки-разбойники», прошлым серьезных фильмов «про войну», которые остались только фильмами, пусть убедительной, но все же иллюзией реальной жизни. И не казалось ли им путешествие таким же фильмом, в котором они сами сыграли прекрасные роли? Вот так: сыграли, а не пережили...

Может быть, может быть. И трудно, думал Старков, их упрекнуть за то, что относятся они к прошедшему эксперименту как к лихой игре, к опасной игре, к серьезной, к увлекательной, но — игре. Хотя действовали они — или играли? — надо признать, умно и по-взрослому. Здорово действовали — не упрекнешь ни в чем.

— А ведь я никак не мог поверить в ваше ветвящееся время, — задумчиво проговорил председатель. — Как это так: мышь вчера убили, а она сегодня жива-здоровехонька? Не укладывалось такое в моем крестьянском сознании.

— Теперь улеглось? — ехидно спросил Раф.

Председатель не заметил ехидства или не захотел замечать.

— Теперь улеглось. Не в моем прошлом вы побывали. Са-авсем в чужом. Вон у вас Макарыча только ранило, хотя и серьезно, а наш Макарыч еще до этого боя убит был. И Стас в вашем прошлом с отрядом ушел. Значит, жив остался, не казнили его... — Помолчал, подумал, сказал убежденно: — Хорошее у вас прошлое, что и говорить.

Так и сказал: «у вас». Он так же, как и студенты, не считал это своим прошлым, своим и старковским. Но раз

и навсегда отдал его самим ребятам: вы воевали, вы все переживали, вам вспоминать. Он уже не смотрел на них как на сосунков неумелых, которые жизни не знают, пороха не нюхали. Они были равны ему, равны далекому Рытову, о котором председатель не слышал с конца войны, равны Старкову, кого партизаны избрали комиссаром отряда прикрытия, несмотря на его тоже несерьезный возраст. И у председателя и у студентов сейчас было прошлое, которым стоило гордиться. И он гордился им, как гордился самими ребятами, хорошими ребятами, смелыми и надежными — так он считал.

А Старков молчал. Он узнал все, что хотел узнать.

— Скажите, профессор,— спросил его Димка.— Почему вы так настаивали именно на сорок втором, на этих местах, на вашем отряде? Ностальгия по былому?

Старков усмехнулся: красиво говорит парень. Может, и вправду ностальгия? Пожалуй, что — так. Но не только она. Надо ли скрывать дальше?

Он встал, подошел к шкафу, стащил с него свой чемодан, старый кожаный чемоданчик, щелкнул замками, порывлся, выбросил на стол толстую тетрадь, по сути — даже не одну, несколько — переплетенных в общий клеенчатый переплет. На переплете синими чернилами значилось: «1941—1944».

— Что это? — спросил Олег.

— Посмотри сам.

Олег протянул было руку, но Димка опередил его. Он сейчас вспомнил полутемную землянку, вспомнил бородатого комиссара, что-то сосредоточенно пишущего при свете коптилки. Схватил тетрадь, быстро перелистал ее, нашел то, что искал, поднял голову:

— Можно прочесть?

Старков кивнул.

— Давай вслух,— нетерпеливо сказал Раф.

Димка начал, запинаясь: почерк неважный, да и карандаш истерся с тех пор, некоторых слов вообще не разберешь.

— «Нас осталось двадцать девять,— читал Димка.— Подождем день-другой и тоже тронемся. В деревне пока тихо. Стас молчит, никого не присылает. Выставил дозоры, следим за дорогой. Сегодня дозор Торопова привел троих. Говорят: из отряда Лескова. Парни молодые, из бывших окруженцев. Принесли весть: отряд Лескова разбит наголову, только они трое и спаслись...»

Димка оторопело посмотрел на Старкова. Тот сидел с закрытыми глазами, улыбался воспоминаниям.

— Как же так? — Димка почему-то осип, говорил хрипло, будто простыл днем: — Выходит, это мы были? Выходит, вы все заранее знали?

Старков встал, подошел к Димке, отобрал дневник, снова сунул в чемодан.

— Ничего я толком не знал. Разве догадывался... — сел за стол, подмигнул Димке. — Давайте ужинать. Самое время.



## **СОДЕРЖАНИЕ**

ВЫШЕ РАДУГИ . . . . .	3
В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ . . . . .	133
ВРЕМЯ ЕГО УЧЕНИКОВ . . . . .	182

ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

*Сергей Александрович Абрамов*

## ВЫШЕ РАДУГИ

ИБ № 5775

Ответственный редактор *Е. К. Махлах*  
Художественный редактор *Л. Д. Бирюков*  
Технический редактор *В. К. Егорова*  
Корректоры  
*Н. Н. Мокина и Н. Г. Худякова*

Сдано в набор 23.06.82. Подписано к печати 14.03.83. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. А03030. Бум. типографская № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 13.44. Усл. кр.-отт. 14,7. Уч.-изд. л. 14,37. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1185. Цена 60 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотоплимерных форм «Целлофот»

**Абрамов С. А.**

**A16**      **Выше Радуги: фантастические повести /Художник В. Брагинский.— М.: Дет. лит., 1983.— 254 с., ил.**

В пер.: 60 к.

«Выше Радуги» — три приключенческо-фантастические повести. В первой рассказывается о том, как юный герой сказки получил волшебный дар — талант, сделавший его выше окружающих, как этот дар был потерян, но зато обретено настоящее умение работать, преодолевать трудности и т. д. Две других — «В лесу прифронтовом» и «Время его учеников» — посвящены работам ученых над возможностью перенесения человека во времени.

**A**      **4803000000—246**  
**M101(03)83**      **500—83**

**P2**



*Скан, OCR, обработка  
Mouisei 2018 г.*







60 коп.

